

ЖЕРА

Литературно-художественный журнал
Ярославской области

№ 2, 2011

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ГАУ Ярославской области
«Информационное агентство
“Верхняя Волга”»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Г. В. Кемоклидзе,
член Союза писателей России

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Е. А. Ермолин,
член Союза российских писателей;

В. Ю. Перцев,
член Союза российских писателей;

А. А. Серов,
член Союза писателей России;

О. Н. Скибинская
(зам. главного редактора),
член Союза писателей России

С. Ю. Сырцова,
директор ГАУ Ярославской
области «Информационное
агентство “Верхняя Волга”»

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
150000, Ярославль,
ул. Собинова, д. 1, 2 этаж

Корректор Т. В. Чупина
Верстка Н. Л. Гуляева

В оформлении 1, 3 и 4-й стр.
обложки использованы живописные
работы Василия Якупова

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Евгений КУЗНЕЦОВ. **Невозможно расстаться.** Из нового романа (Евгений Ермолин. Русское странничество Евгения Кузнецова) 3

Борис ГРЕЧИН. **Бамбино.** Повесть 43

Ольга ФЕДОРОВА. **«Здравствуйте, меня зовут Сережа».** Рассказы 117

ПОЭЗИЯ

Константин КРАВЦОВ. **«Немое возможно»** 26

Олег ГОРШКОВ. **«Приходит время медленнее жить»** 33

Ирина ПЕРУНОВА. **Эники-бэники** 99

Тимур БИКБУЛАТОВ. **«Разорванным сердцем»** 108

Владимир СЕРОВ. **Ангел-хранитель** 113

Евгений ГУСЕВ. **Дорога к дому** 136

Николай РОДИОНОВ. **Ростов Великий** 141

Владимир ПОВАРОВ. **«Надышаться декаблями»** 145

Валерий МУТИН. **Черный квадрат** 148

МОЛОДЫЕ ГОЛОСА

Любовь СЕРИКОВА. **Эври-day-ка** 151

Анастасия ОРЛОВА. **Гостиница для гусениц** 156

ПУБЛИЦИСТИКА

Герберт КЕМОКЛИДЗЕ. **«Существенно, и это грех с души»** 163

Евгений КОНОВАЛОВ. **Ярославль на карте виртуальной и реальной литературы** 166

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

Сергей ОВСЯННИКОВ. «Эх, дороги...» К 100-летию со дня рождения поэта Льва Ошанина 178

Сергей ХОМУТОВ. «Судьба мне подарила, что могла». К 95-летию со дня рождения поэта Николая Якушева 187

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Евгений ЕРМОЛИН. **Ярославская аномалия.** Молодая проза Верхневолжья, начало XXI века 201

Маргарита ПОНОМАРЕВА. **Время женщин.** Женский исторический роман на материале творчества Ирины Грицук-Галицкой 210

ДНЕВНИК СОБЫТИЙ

«Мы — за читающую Россию» 215

От Ярославля до Пекина рукой подать 217

Голоса русской провинции 218

Потомок героя Плевны 219

Памяти Валерия Замыслова 220

КНИЖНОЕ ДЕЛО

Татьяна ГУЛИНА. «Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письма...» О коллекции ранних книжных памятников XIII—XVI веков Ярославского музея-заповедника 221

На книжную полку 230

Александр БЕЛЯКОВ. **Случайные игры Василия Якупова** 237

Редакция не имеет возможности вступать в переписку, рецензировать и возвращать не заказанные ею рукописи и иллюстрации, а также предоставлять справочную информацию. Редакция оставляет за собой право редактировать присланные материалы.

При перепечатке ссылка на журнал «МЕРА» обязательна.

Отпечатано в ОАО «Полиграфия», Ярославль, ул. Республиканская, д. 61

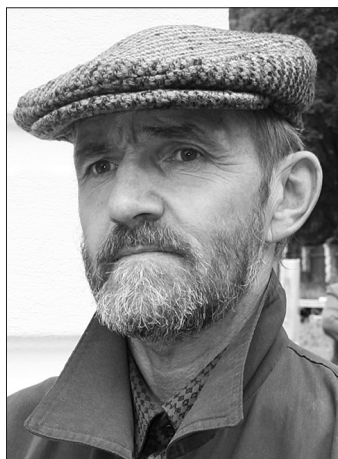
Тираж 999 экз.
Объем 30 п.л. Формат 60 x 84/8
Заказ № 5487.
Распространяется бесплатно

© ГАУ Ярославской области
«Информационное агентство
«Верхняя Волга»», 2011

Авторам журнала «МЕРА»:
рукописи на рассмотрение принимаются в виде компьютерной распечатки с соблюдением принятых стандартов плюс эл. вариант (дискеты не принимаются);
текст должен быть набран 14 кеглем (желательно Times) с полуторным межстрочным интервалом;
страницы должны быть пронумерованы;
текст распечатывается на листах бумаги формата А4 и только с одной стороны листа;
абзацы должны быть выставлены автоматически (а не отбиты вручную клавишей пробела);
фото предоставляются в формате jpg (объем не менее 300 КБ для портрета и не менее 1 МБ для полуполосных иллюстраций).

П Р О З А

Евгений КУЗНЕЦОВ



Родился в 1953 г. в деревне Костино Рыбинского района Ярославской обл. Окончил факультет истории и права Ярославского университета. Работал следователем, зав. отделом прозы в журнале «Русь» и газете «Очарованный странник».

Автор книг прозы: «Молчаливая история» (1989), «Кудыкины горы» (1991), «Храм на Марсе» (1997), «Быт Бога» (2004), «Чернила в бокале» (2004), «Жизнь, живи!» (2010).

Печатался в журналах «Континент», «Наш современник» и др.

Член Союза писателей России.

Отмечен областной премией им. Л. Н. Трефолева (1993).

Лауреат Всероссийского конкурса короткого рассказа им. В. Шукшина (1999).

Живет в Ярославле.

Невозможно расстаться

Из нового романа

Вошло в меня нечто теперь — и словно сразу я лишился того, что прожил, и даже хотения будущего.

Мир — мал...

Мир — мал!..

Вычерпать море ведром не потому никто не берется, что оно какое-то неизмеримо большое, а потому, что... некуда выливать почерпнутую воду: она потечет обратно в море.

Мир мал. Мир — мал.

Ощущение такое: явное — явного!..

Да и — прежде всего... настроение такое теперь.

«Теперь»...

Мир мал, мал.

И вокруг меня, и вообще.

Вокруг — это вот тело мое; оно — тоже мало, мне мало. Столь мало, что я его как бы и не замечаю...

Мир людей, чуть подальше, человеческий мир — тоже мал, даже — тем более.

Ощущение малости мира...

Тоска!..

Гнев...

Капризный детский гнев!

Сквозь сон... от прерывания сна...

Что? Что?..

Звонок!.. о-ой...

Тишина паузы...

И опять он — звонок надсадный.

Возмущение всего, чувствую, пространства комнаты!

Я — сквозь веки — ощутил самую глубь ночи... или, может, самую рань черного осеннего утра...

И еще он...

О-о, да это он... гневный-то!

Я — обмер.

Определил положение моего, под одеялом, тела...

...И — вмиг ощутил ужас бодрствования.

Ужас пребывания — вообще.

«Неужели?..»

«Жизнь в сей час шагнула значительно...»

«Вот она, ощутимая правда!..»

Все эти мысли-чувства — в один единый мой трепет.

Зво-нок...

То есть — понятный!

Я — не зная, подняты ли веки, — уже деловито протянул руку в знакомую темноту.

Светильник... осветил очередной звонок.

И показал моим глазам, что они, да, не спят... и даже, нет, не моргают.

Я опустил другую руку к полу.

Мобильник.

...Да.

Сестра.

Все мелочи пространства передо мной были особенно — зачем-то — четкими.

Звонок... В кулаке...

Смотрел... просто смотрел... ощущая ценность зрения...

Мне сделалось ново; и — жутко ново... никчемность всех видимых предметов... запахов пространства.

Жду...

Нет...

...Посмотрел ответственно на тяжелый мобильник.

Запомнил жестко час и минуты.

Ощутил — власть... власть события...

Встал послушно и плавно.

Ощущая совершаемый поступок.

Умылся, утерся.
Ощущая вершимое поведение.
«Три часа, пятьдесят четыре минуты».
Какие цифры значительные!.. Только... почему их можно поставить... в последовательный ряд?.. Зачем это нужно?..
А зачем думается об этом?..
Заварил чай. Стыдась.
Выпил чашку. Стыдась.
Признался наконец: с того мига, как посмотрел, кто звонит... думал, во сколько начинают ходить троллейбусы... да еще и, впрочем, — надеялся надеяться...
Открыл шифоньер. Постоял.
Как давно и это, и это не надевал...
Надел самый хороший мой костюм.
Постоял. Стоять было странно.
Сел в кресло к монитору. Просто — темно-зеленому. Так находиться тоже было странно.
Медленно крутнулся с удобным креслом. Лицом и грудью — к вниманию комнаты... к вниманию пространства...
Положил ладони на колени.

Думал я, думал — молился-молился; и вот мне Бог... меня самого!.. и какого-то — особенного.
Мир — мал.
Как... мал?..
Для кого мал? Для чего мал?
Не для кого-то и не для чего-то, а — попросту мал.
Мал!
Была у меня первая любовь. И — не будет больше никогда этой первой любви, именно первой.
И — ни первой моей детской игрушки, ни первого школьного звонка, ни первой прочитанной книжки... ни первой моей статьи газетной...
И этак — во всем, во всем.
Я, к примеру, таскаю какой-то свитерок, и вроде бы ничего... но ведь он мне маловат... Я втиснусь вон в троллейбус — и уж ощутимо места мне мало...
Я, наконец, болтаю вот с тем и с этим... но ведь они мне — только произнести!.. — малы, малы...
...«Мир мал». — Кому не скажи!
В меня, быть может, и вошло это открытие... от наблюдения... от присутствия других.
Но — некуда деваться: мир — таков, таков.
...Мир мал.
И чемпион мира — один. И по шахматам, и по боксу. И лишь победив именно его, можно стать чемпионом.
Мир мал.
И если кто-то мечтает, напевая, о том, чтобы кончился наконец неприятный ему век, то понимает, стоит лишь помечтать, чтобы для этого всего-навсего скончался единственный вождь.
Мир мал.

И если, например, ловить голых негров на одном континенте, то потом их в трюмах через океан, походя кормя ими акул, можно переправить, для возделывания плантаций, только лишь на другой — той же планеты — континент.

Мал, мал!

Чтоб далеко не ходить: суть любовной (и любимой) народной драмы — из-за тесноты общежития: «Не кричи во весь народ: мой батюшка у ворот...»... а судьба собственно цивилизации — в президентском «ядерном чемоданчике»...

Века — они ведь тоже: обозначают сами себя лишь в арифметической прогрессии... Кстати, нарастающая эта прогрессия вовсе не прибавляет ничего к малости мира.

И если самолет пассажирский, реактивный и аж сверхзвуковой, совершит вынужденную посадку в экваториальный водоем... и пассажиры, избежавшие огня, выберутся, счастливые, из проклятого самолета... в желанную, то есть, влагу — то там их всех сожрут аллигаторы... А что же. — Нет учебников школьных (или — времени и прилежания их штудировать...) о животном мире той части света!.. Нет и у крокодилов другого, столь исключительного, случая, чтоб поместить в свое чрево такое нежное мясо, да еще и почти без волос!..

Кстати о всякой жидкости. Приливы-отливы так называемого мирового океана — всего лишь, по малости мира, от близости небольшой этаким другой планеты — Луны.

Да что там — скоростей космических — всего-то три. И все скорости возможные, опять же — на этом свете, ограничены, по созвучию, именно скоростью света.

Сочтены — все атомы всех металлов и все атомы всех неметаллов.

...Мир мал, мал!

И нельзя певцу звездному проехаться в метро, в автобусе городском, попросту — пройти по улице.

Кстати, к известности стремление — так как людей на Земле мало; сколько бы ни было — а исчислимо мало; и, стало быть, в самом деле возможна такая ситуация, что на этой планете тебя будут знать без исключения все. А что потом?.. — Тоска. Потому многим чаще всего хватает славы — на всю школу, на весь какой-нибудь город, ну, на всю одну какую-нибудь страну.

То же — и стремление к богатству и к власти. Действительно ведь мыслимо, что все богатства мира людей и вся власть над всеми людьми будут в каких-то одних руках. И — что дальше?.. Над всеми. Только и всего. И — если уж слово «дальше»-то — тоска.

Империалисты стремились строить и строили целые империи, именно всемирные, потому что как раз это осуществить было возможно натурально: мир в самом деле так-токовски мал.

Итак, стыдно быть империалистом...

Гении всех видов и косящие под гениев потому-то и стремились и стремятся к славе мировой, что она реально достижима: мир-то малюсенький.

Скучно быть славным!..

Мир настолько мал, что и в самом деле — решать и даже свершать можно: начать ли войну... произвести ли эликсир молодости... изобрести ли ядерное оружие... лететь ли на другую планету... запретить ли смертную казнь... наболтать ли ребенка в пробирке...

И действительно, действительно — всем и всеми в мире можно манипулировать!

Как заткнутыми в одной стеклянной колбе.

И этим может быть одержим... какой-то пересчитанный тайный клан... или даже и вовсе кто-то абсолютно один.

И при этом, при этом, при этом... всем и заботы нету — хотя бы: так ли это на самом деле!..

Да и не странно: появляется где-то вождь — и сразу там пропадает обыкновенная доброта и личный разум.

Мир мал.

Мир мал — и вокруг Земного шара уже тесно от «космического мусора».

Мир мал и всегда-то был: в научном журнале читаю, что найдены в степи две пули спаянные — они столкнулись полтора века назад, летя в противоположных, стало быть, враждующих направлениях, во время известной исторической разноплеменной битвы: опять же — из-за малости географического, соответственно, пространства.

Мир мал — и нет мира, где бы не было науки.

Мира мал — и нет уже науки, которая бы не изобрела интернет.

Мир мал — и нет теперь интернета, где бы не было, тут как тут, порносайтов!..

Мир мал: у каждого лишь один член; поэтому средства все коммуникативные обещают и препарат для его «ощутимого увеличения». Кем ощутимого? — Разумеется, прежде всего, лишь его обладателем... ну и, еще дальше, разве что... его обладательницей.

...Да что говорить.

Был, предполагают, — всего-навсего сколько-то миллиардов лет тому — некий «большой взрыв».

Ну а что было до «большого взрыва»?..

Можно бы, и верно, и не мучиться о столь далеком...

Но... где тогда был — я?..

Тоска!

Мир мал, мал...

Сюжет самый святой всемирной — радение о спасении; и таковой — единственный.

Смотрю иной раз в зеркало — вижу... кого-то...

Кого когда-то на этом свете не было... кого когда-то на этом свете не будет...

Ведь это — правда.

Реальность!

Притом это правда, которая — прежде всего. Прежде всего.

Вот я заглянул в зеркало-то. А до этого мига меня в этом зеркале не было...

И так же я, родившись, заглянул в эту жизнь.

Меня, меня! — когда-то не было?.. когда-то не будет?..

Мне бы об этом — прежде всего бы и думать! рассуждать! гадать! Ликовать или стелать.

Но — об этом я меньше всего думаю.

Это ли не странно?..

Единственное утешение — если утешение: я — видим, видимый... слышимый, осязаемый, обоняемый; пребываю в этой жизни — в видимой; на этом свете — на видимом.

И что меня — видят!

...Смотрю — теперь-то — в окно.

Одетые люди двигаются на двух своих, значит, нижних конечностях...

И — без тоски малости мира.

Впрочем, вон сцена у подъезда напротив... На легковой машине привезли старуху: с палкой, в пальтеце старинном коротком демисезонном клетчатом; в платке старомодном цветастом... Она — смотрит куда-то вверх, на какой-то, что теперь, напоследок, ее, этаж... А все рядом — смотрят себе под ноги...

Всю жизнь я наблюдал, озадаченный, за старухами, за старушками — существами, прежде всего, загадочными.

Вон снеговая прядь из-под платка той старухи...

...Руки на коленях — и думал о значительности пространства. О приобретении пространства. О лишении пространства.

И об ответственности. Перед пространством.

На часы смотреть страшился.

Ведь они-то — теперь было понятно — как раз о пространстве!..

Ждал звука.

Хотел, чтоб он — раньше?.. Хотел, чтобы — позже?..

Тиканье тикало — и все решало...

Губы высохли.

Чаю еще попить стыдился... совестился.

...С какой-то другой стороны — тоже, как и электрический, снаружи — на зрачки мои струился, брезжа... полупрозрачный, полувидимый... летний солнечный... зеленый, голубой... уютный, теплый... свет, свет... В этом свете, как в сладком прозрачном сиропе, я — в коротких штанишках, в безрукавой рубашке и в большой кепке — тяну руку меж жердей соседского огорода, никак не могу дотянуться, царапая уже и плечо, к орешнику за орехами...

Я подвинулся встать. Но, опять же, счел неуместным... хоть как-то, по поводу самого себя, двигаться.

В этом летнем зелено-голубом уютном сладком свете... передо мною сейчас... залетали еще и руки... знакомые, самые знакомые... умелые... грубоватые... но всегда теплые...

Глаза мои, ощутил, горячие... обновились...

Не надо.

А как надо?..

...Звонок.

Он, увы, возвратился.

Посмотрел на часы.

В самом деле: под окном — чем-то грубым по асфальту.

Звонок...

Мобильник взял.

В кулак.

Встал.

Звонок...

Я — глядя в то место, где окно, — включил.

— Да.

— Андрей...

— Да.

— Мама...

Я ощутил мое тело как тело. И — виноватое, виноватое: за то, что оно — тело, не ощущающее сейчас... ни даже зубной боли, ни хотя бы усталости...

— Что?

— Ночью... В четыре часа...

— Где?

— В реанимацию...

— В какой?
— Больница эта...
Я отключил.
...Вот теперь — нельзя! Ничего нельзя.
Кроме движения.
В прихожей обулся и надел куртку.
Шагнул — как бы включаясь, не забыв о нем, в другое пространство — в комнату и по-обычному поцеловал Богоматерь в глаза.
В прихожей стал надевать куртку.
Мурашки по всему, вертикальному, телу пробежали... Счастья, счастья!..
Я уныло и обреченно... эту вторую куртку стал снимать... с уже надетой.
Слыша... чей-то стон...

...Мир мал — а газета тем более мала.
Поэтому меня тогда и «сократили».
А вовсе не потому — уж как год, — что этот самый «кризис».
Я, во-первых, и заранее знал, что так со мной выйдет. «Уволили по сокращению» тех, как водится, у кого меньший срок тут работы. Нескольких. Образование и опыт, если из того исходить, у всех одинаков. Так что вроде бы порядок.
Но ощущение все-таки новое.
Чувство почти такое же было, когда — лет, значит, двадцать тому — «цены отпустили». Я еще юный был. Ну и перед тем, когда саму страну «распустили».
В природе вроде бы ни тогда, ни теперь ничего не предшествовало и ничего потом не последовало. Так что...
«Сократили» меня, меня — «сократили»...
Слово-то какое!
...И еще. Может — главное.
Я, собственно, этого... как будто и ждал...
«Сократили» — и развязали мне руки.
Для мысли.
И, признаться, в первый же день — мое чувство: а я и не был вполне причастен!
То есть — это я... вас всех сократил. Без кавычек.
Или — по сегодняшнему моему, траурному, состоянию: это газета, газета мне, мне мала.

Уволили — я теперь зато спокоен.
Я теперь не повязан миром, этим самым социумом, суетой. Столь-то прочно: по работе, по должности и профессионально.
Уволили — и ощутил я себя не обиженным, не озадаченным, а... свободным, вернее — более свободным, точнее — на каком-то пути к какой-то освобожденности.
Кстати, кстати. Я, живя один, встал на другой же день... и не стал одеваться!.. Так до сих пор, просыпаясь, и бродил по квартире — это уж сделалось моим утренним ритуалом — совершенно голый.

Но прежде всякого прежде — сама собой освободилась зрящая мысль.
Подтвердилось мое видение, мое виденье!
С ходу — первое, что бросилось в глаза: люди ходят по планете — и не падают с нее, не сваливаются!..
Я — прямо испугавшись — спросил себя: что, что меня более всего волнует?..

Меня уволили. Но это дело обычное, бытовое.

Что — меня, меня лично, лично по моей сути, сию и каждую минуту волнует? И — более бы всего.

С планеты — не сваливаются...

Всемирное то тяготение и прочее — это тоже понятно.

Но все же... странно и страшно...

Хоть бы кто в целом мире когда-либо — об этом подумал всерьез!..

Я сейчас стою на Земле. А на другой ее стороне кто-то стоящий, подняв глаза к небу, смотрит точно... в противоположную мне сторону!.. То есть, выходит, видит Мироздание... теоретически в ином виде.

И... и как-то волнительно с учетом этого жить.

А всем — хоть бы что!..

И я тогда неумолимо еще отметил: после недавнего землетрясения в Западном полушарии... ось симметрии Земли отклонилась, пустяк, на восемь сантиметров... Но, оказывается, атмосфера воздушная и океан водный обычно смещают эту ось на целых три-четыре метра!..

Да я и с детства жил в состоянии... в мировоззрении ожидания: вот-вот будет время подумать — ой, ведь не на плоскости я!..

И, главное-то, — не один же я.

Вот — вот я стою на этой самой планете Земля.

Мои глаза полны зелено-голубого пространства, мои уши полны вольного невидимого ветра, мои легкие полны пахучей живой свободой...

И я — счастлив. Я — насыщенно и утоленно счастлив. Я — как-то... осведомленно и понятно счастлив. Я счастлив, в конце концов, достигнуто и благодатно!..

Однако...

Разве?! Разве — после ощущенного — возможно, хоть мыслимо какое-то «однако»?..

Я — во-вторых — вдруг с озабоченностью обнаруживаю, что на планете имеется некоторое обстоятельство... нервирующее обстоятельство, которое выразимо формулой: кроме меня.

Да, на планете есть еще кто-то — кроме меня.

Так и что бы? Раз он, тот, кто подобен мне, тоже полон пространства и свободы — то мне бы радоваться моего ощущения подтверждению. Да и ликовать бы вместе.

Однако... тут оказывается, что это самое «однако»... весьма, по мне, неожиданное...

Активное!.. Пристальное!.. И — нацеленное!

И я... вмиг ощутив суть этого «но» и того, кто кроме-то меня... ощущаю в себе... гнев...

Гнев! — И помутилось прозрачное пространство. Завизжал ехидный ветер в ушах. Тесно заволновалась ненасытная грудь.

Все все за меня решили! — О рождении, о «сокращении», о «кризисе»...

Я-то — как бы не упасть с планеты, а они — как мною командовать!..

И мы, такие-то контрастные... на одной планете!..

...Меня уволили — и я ощутил, что важнейшее насущное, что в жизни может быть: понять, понять — в чем и почему моя свобода и — вообще свобода.

Все — во сне! Все — во сне!

Вот что такое: «современный человек». В смысле, чтоб глубже, — антропологическом.

А — я?! А мой сон?..

Серфинг!..

В спорте как таковом — это подлинное и эпохальное соитие с природой!.. Красота! — Никогда я не наблюдал человека более красивым. И волна никогда за все время, которое Время, не была столь послушной и понятной!..

Скольжение по волне — его ведь надо еще расшифровать...

Если б волна была уже волной, если б она была ... как бы сказать?.. уже готовая — катиться с нее было б нельзя!.. Вот как с сугроба: съехал — и стоишь. Но волна — это то, что ежемгновенно нарождается. И что тебя — ежемгновенно поднимает!..

Вся жизнь — волна.

Может, это — самое удивительное, доступное наблюдению, явление в Природе! — Ведь радиоволны — не видимы.

Это — моя мечта? — Войти бы в такой же лад с целой сущностью Природы.

Отраднее отрадного — и послушно, и умело скользить по волне посылаемой мне свыше Мысли.

...Маме — маме об этом, о работе, верней — о не-работе, я, конечно, ни слова.

...Снаружи — и сверху, и снизу, и со всех сторон — ощутил был черный снег и, впере-мешку, черный дождь.

Равнодушный троллейбус...

Пустой — ненужный — вокзал...

В автобусе кресло было с устройством, под локтем, непривычным... Зачем?..

Через какое-то — воющее, качающееся — время заметил, что сегодня... никого еще не видел. И не слышал. Кроме мобильного.

Такое, значит, отныне — неужели?!.. неужели?!.. — началось иное пространство.

Вспомнил — прежде всего, прежде всего — все мои чувства-мысли-слова с того мига глубокого звонка...

...Ее теплые и шершавые чуть скрюченные пальцы.

Запах ее седых желтовато-серых все густых волос...

Взгляд ее пестрых, в мелких пезинках, глаз... всегда искоса и бегло... Гордый, но и вопросительный... Вопросительный, но и таки гордый...

Как это все... по-настоящему. По-настоящему!..

Из всего-всего — самое. Самое!..

Вообще, вообще — разоблачающее меня. Парализующее. Обнажающее.

Правдивое до слез. За которые, за единственные, не стыдно. И даже — ни перед кем бы и ни перед чем не стыдно.

И тогда — зачем что-то иное?..

Зачем и для чего это такое менять?..

И почему тогда, как сейчас, все... так?..

...Она идет по дороге ли, по двору ли — прямая, стройная, невысокая; и глаза — всегда себе под ноги. И уж редко, чтоб хотя бы повернула голову в сторону... где там поглазеть — хоть просто посмотреть.

На фото на всех — где она еще молодая, красивая, черноволосая — взгляд ее в объектив чаще искоса и снисходительный... упрекающий, обвиняющий... и — гордый, гордый!..

И конечно, конечно — никого никогда из встречных знакомых, ни даже к нам в дом зашедших, ни о чем не спросит... только, слушая, кивает, на все речи чуть кивает... но и не поторопит — ни в коем случае! — быть покороче, удалиться с глаз долой.

Драгоценно сейчас мне даже и это... внешнее...

Красоту ее лица и внимание ее ко мне беспромахное — помню, как помню себя. Чуть забота у меня, у ребенка, малейшая — и тут как тут ее умелые и теплые глаза и руки.

Но главное — глаза. — Еще и красивые... и сознающие свою красоту... чему-то тайному — тайному! — принадлежащие... и потому мне целиком недоступные... и потому — для меня заветные!..

...Воет автобус?.. или — дорога?.. или — вся чернота?

Куда еду?.. К чему еду?..

...С днем рождения поздравляла меня. Всегда утром. Как-то через стены и дверь видела, что я, в моей спальне, проснулся, что открыл глаза. Нельзя было притвориться. Только что где-то в глубине дома с кем-то, слышу, говорила... И вот — сразу, чуть я шевельнулся под одеялом, входит... смотрит на этот раз прямо... намеренно тихо и намеренно ласково говорит поздравительно... неизменно обнимает за голову, за плечи... обдавая своим несравненным запахом... вкладывает в руки новую рубашку, или полотенце, или носки и — и шоколадку... Но не велит ее сейчас же починать, есть... А чуть-чуть удручая, требует вставать завтракать.

И так — было.

И это из всего, что ни есть вообще, вообще — по-настоящему, по-настоящему.

И как это так, что сейчас этого вдруг — нету?..

И откуда взялось это... это... событие?!

Неужели... придется сказать... «горе»?..

Очевидно только, что оно — неуклюжее, грубое, дикое.

Откуда?..

Или оно было... всегда растворено... в том же самом воздухе, что и то тепло?!

И всегда было рядом.

Почему об этом никогда не думалось?..

...Красивая, стройная, почти маленькая, гордая!..

И к ней-то — так грозно.

И о ней-то — о такой! — плакать.

Несправедливо...

Боже, а Боже! — Несправедливо.

«Сократили» — и, едва я с глаз, вдруг меня немножко затрясло!.. Как трясет от холода или вон с похмелья.

А профессию-то мою пристальную куда девать?!

Не знаю, не знаю...

Существо разумное может трясти и благородно, это — от страха, от трепета: а именно — перед самым собственно фактом его бытия.

Вот: лишь за сорок мне стыдно.

И если уж гнев бы, так только — на себя: за свою в этом слепоту, ну, или забывчивость, или небрежность.

«Кризис»? — «Все, все»!..

Я тогда чуть было не написал заявление: «по собственному желанию» — лишь бы не получилось так, что за меня обо мне — решили, решили!..

Подтвердилось — мое виденье!

Ведь я, уволенный-сокращенный, не чувствую себя — оскорбленным?..

Нет. Не чувствую себя оскорбленным.

То-то и оно!

...На улицу сделалось выходить стыдно... или страшно... точнее сказать — странно!..

Улицу в самом центре города зачем-то раскопали — и там целый метр: слои асфальта, песка, гравия... еще ниже — булыжник и еще песок...

Слои, слои... Годов, веков!..

А все, кто мимо идет, и в эту бездну даже не глянут. — Живущие в пространстве явно ином — плоском, куцем, убогом.

Я же, выходит, среди них, в их этом — в двухмерном — мире, — разведчик!

В студентах слышал, и — с кафедры, сказку-притчу про разведчика про «нашего»: он где-то «там», где у «них» все «не так», попался на том, что, переходя улицу, посмотрел сначала влево...

Я — после увольнения — признался, что и давно-то чувствую себя, в студентах ли, в журналистах ли, живущим... буквально на поверхности планеты.

Беру интервью — и при этом ведь подмывает же меня натурально... спросить самое разумное и действительное: изменяет ли мой собеседник жене?.. какое у него самое первое воспоминание в жизни?..

Что есть это самое, по мне, двухмерное пространство.

Вот видимый я и вот окружающий меня видимый мир, и — все, все!

Больше нет — кроме этого — ничего!..

«Сокращенный» — я нашел себя по-настоящему наконец-то озабоченным о так называемом «ближнем»!

Странно или не странно.

И даже язык не поворачивался сказать о себе: «безработный».

И — первое, свежее, новорожденное впечатление.

Кого ни встречу на улице, все — несчастливые!

Им, всем и каждому, в детстве или хоть в школе, или хотя бы институте не сказали, что они на этом свете — побывать!.. Что они, их души, до этого были уже на том свете и потом будут опять на том свете!..

Минувший, двадцатый, век был веком прежде всего — недоговоренностей. А уж потом — крови и атома, космоса и телевизора.

И все — несчастливые.

Вот этот. У него есть семья, деньги, карьера... но нет в душе чего-то легкого, отрадного — и он ищет это... в жизни.

А вот у этой нет ничего, даже и радости ни в настоящем, ни в будущем — и она ищет ее... в прошедшем.

И счастья у них — нет, нет.

Потому что оно, счастье, бывает не в жизни, а в душе. Ощущается подлинное не в каком-то отрезке времени — а как одновременное на всю жизнь.

Жить в мире, где только — только! и главное! — семья и работа, общество и цивилизация... времена года и эпохи возраста... выборы или осадки... — жить, то есть, только в состоянии ощущения лишь видимого, буквально видимого — вот я, а вот все окружающее, — и означает пребывать в двухмерном пространстве.

Потому-то я и не чувствую себя оскорбленным.

...Я, который — «я», не просто на этом свете, в этой жизни, в этом теле — не просто в этом видимом мире.

Я — в Море.

В Море, который состоит из «этого света» и «того света».

И просто я сейчас — на «этом».

Я в Море — почему так понятнее мне самому себе говорить, — который — из видимого мира и невидимого мира.

И я сейчас — в видимом.

И значит — значит, что «тот свет», «та жизнь» — просто-напросто мною буквально не видимы.

Но они — вокруг!

И я в них — как в соку, как в течении, как в ветру.

Я — в Жизни!

...Биржа и пособие — скука, унижительная скука.

В развязанном своем состоянии — лишь бы устроиться куда попало на работу.

Даже как-то все вокруг сделалось ново!..

И чуть я на эту тему — знакомый мне советует: иди, как и он... натурщиком в художественное училище!.. Он, дескать, просто сидит — а ему платят. Он сидит себе... его рисуют... И чтоб ни ему, ни всем не скучно было, он говорит, говорит, говорит... чего-нибудь...

Я прямо содрогнулся. Только тут мне бросилось в глаза, что ведь он — офицер в отставке... и лет на десять меня старше...

Как сие символично!

Я взял — конечно, баловства ради! — любую газету, где есть та, вожаемая, рубрика... Кем бы мог? — Ну, чтобы — что? — попроще... Да вот — плотником! Даром, что ли, деревенский... Звоню... Голос: «Слушаю... Здравствуйте, Андрей Константинович!..» Я — сразу отбой. Как у них там мой номер?.. Может, писал в газету когда-то о ком-то...

Тогда мне еще не введома была эта формула: мир мал...

...И выходить на улицу стал — уже с подлинным страхом.

Вокруг меня — спящие!..

Лица прохожих — выражение якобы знания и якобы понимания жизни. — Тупое выражение — сон понимания!

Да и все-то вокруг — во сне, во снах: «до-перестроечном», «пере-строечном», «пост-перестроечном».

Странно и жить среди странных!

Страшно даже, когда спящие — твои близкие.

Страшно — больно и подумать об этом...

Но надо идти на боль.

Почему — надо?..

Не знаю... Вернее, знаю: значит, я такой... что мне это надо.

И — надо идти на боль!.. Не терпеть. Незнания. И — на самую, значит, тайную свою боль. Чтоб, войдя в нее, как-то разрешить. Эту боль населить самим собою. Но и — оставшись собою!

Если есть свет — то потому, само собой, что есть и тьма.

И они — вместе!

Плеснуть в ведро воды родниковой ложку черной туши — и вся вода будет серой. — Так сказать — посредственной!..

И как же жить?!

А надо сказать себе раз навсегда, что тушь в воде — нерастворима.

То есть: надо сказать себе прямо, да, прямо: я — чистый, да, я — чистый!..

Если я, например, люблю женщину именно эту, то все другие женщины для меня — частицы инородные. — Да, хочу я или не хочу.

И так — во всем бы в жизни.

И — в главном.
От рождения все — либо ангелы, либо бесы.
«Сократили»...
Да еще и — она... подружка пропала!..
Что?! И — хоть где?..
...Оба одновременно... когда мы излили из себя тот «миг последних содроганий» — она так и уснула на мне: полусогнув руки и ноги, лягушкой, щекою на моем плече.
И уже ведь — какую неделю нет!..
Ее, ее нет.
...Любовь...
Любовь — как волнение, как волнение от загадочности, от загадочности предпочтения... этой, этой — всем... даже и не «всем», а — как бы всему, всему!..
Как только пришла, стал сразу ее раздевать.
— Какое счастье, что не нужно врать!
Она помогала...
Президент... который не ощущает... тонкость пленки воздуха вокруг планеты и зыбкость жизни в ней... и одиночество этой особенной планеты в целом пустом Космосе... который... которому, однако, почему-то хочется... быть руководителем миллионов... каждый из которых тоже не ощущает... тонкость воздуха и жизни... в бесконечном до непонятного Космосе... президент говорил... о чем-то... горделиво...
— Какое счастье!.. что не надо!.. лгать!..
Потом уснули.
Потом проснулись.
Радио, оказывается, все еще раздавалось...
Пили кофе.
Теперь... почему... не приходит?!..
...Помню, только начал работать в газете, мне — чего я заранее и опасался!.. — среди интервью или вымогания той информации вопросы... такие!
— А вас любят женщины?
— Женщины... Э-э... Женщина должна быть... стройной... Должна... Впрочем, никому, конечно, — ничего!.. Женщине желательно быть... Желательно и для всех, и для нее... Быть стройной и приветливой!
— Вы, видимо, любите женщин!
— А-а... а мужчина... Мужчине следует быть... снисходительным и профессиональным. Хоть летчиком, хоть вором.
А ее — нет и нет!..
...Почему — не идет?
Вот. — Сейчас бы и пришла! — Как мир не мал...
А мы договорились так: без предварительных звонков!.. Она ко мне!.. В любое время!.. Прямо в дверь!..
Так уж условились: ежемгновенное счастье!..
И даже не знаем... телефонов друг дружки.
Притом — никого общих знакомых. И — ни с кем разговоров и упоминаний друг о друге.
Придумали идеальную сказку... Да нет! — Сказочный идеал!..
Но... не стучит...

И это обговорили: стучать ей четыре раза. Отчетливо.
А я — шел к двери уже после удара второго!
Иные же все, олухи, звонят.
Как неприятно... смотреть на кошек!..
Женщина, которую я не хочу, мне кажется... грязной.
...Или я перед нею в чем-то виноват?
На асфальте, крупными белыми, было позапрошлым летом: «Маша, я тебя люблю!» —
Под окном, значит, под чьим-то.
Я еще подумал: так ведь затопчут..
В другом месте — зимой: «Галя, я тебя...» — дорожками огромными по снегу.
Все равно заметет..
А может... это я жалел... что писал, рисовал — не я?..
...Мама — мама не знала.
Как всегда, ничего не знала.
Ни что у меня появилась девушка... Ни того, что она у меня... от меня... пропала,
пропала!..

...В мокроту вышел уже в серую. И пахнущую другим, чужим городом.
Дождь был видим. И лужи были везде на асфальте и на снегу.
Сразу промок.
Зонт... забыл?
...Всегда думал и так всегда знал, что у мамы день рождения тринадцатого, а у нее —
недавно увидел в какой-то бумаге... четырнадцатого!
И всегда она говорила «спасибо» в ответ на мои поздравления... тринадцатого...
Говорила тихо...
Нарочно!
Почему она меня никогда не поправила?..
Или хоть бы папа.
Так это она ему, конечно, и не велела!
Зачем ей надо было — так?..
...Как хорошо, что я весь промок!
Сел в их, в том городе, троллейбус. Ехал с его, того города, пассажирами. Вышел у той,
где и знал, больницы...
В ботинках хлюпало. Во рту было сухо.
Но большего я — сегодня и сейчас — сделать не мог.
Для нее... для нее...
...Подошел к больнице.
Три этажа...
Единственная, по фасаду здания, дверь.
Никого... Все спрятались...
Открыл, вошел.
Теплое и душное фойе — полное-полное!..
В основном — женщины, в основном — в очереди. И все — с сумками в руках. Ужас-
ное же самое — с одеждой в руках! С верхней.
Я капризно, я плаксиво запыхтел...
Спросить «последнего»?!. В очередь?!. Стоять?!.

Я дерзко выскочил прочь, вон.
Очередь! — Самое бесправное и унижительное, по мне, самоустройство социума.
На улице, у дверей под козырьком, задышался.
Минуту. Полминуты...
«Реанимация» — «Приемный покой»... «Скорая» же — всегда туда!..
Пошел к углу здания... Повернул...
Вот. Дверь. И даже — под большим навесом на столбах.
Пошел к этой двери!.. Размахивая руками!..
Тяжелая, металлическая, черная...
Распахнул надежно.
Вместился.
В тихой теплой комнате свободной — белая вся санитарка и черный весь охранник...
— Я помощник губернатора.
Они оба промолчали...
— Моя мать тут умирает.
Они — где и сидели...
— Мне как в реанимацию?
Они шевельнулись, чтобы что-то сказать...
— Я куртку оставлю у вас.
И я уже ее снимал.
Они одновременно негромко попросили ... куртку взять почему-то с собой... «на руку»...
Просто и тихо объяснили: по лестнице, третий этаж, налево...
Я миновал их с курткой на руке.
Но на третьем этаже чуть с лестницы в коридор — опустил куртку, за вешалку, к полу... и поволок... как бы большую сумку.
Бывал, то есть, в больницах бегло и псевдосострадательно.
В тусклом медицинском запахе... санитарки встретились по коридору длинному две, но обе — толстые старухи вялые.
По сторонам кое-где... ленивые полосатые тени...
...А вдруг мама сейчас... спросит?!

Вот на Земле жизнь — а вокруг жизни нет, совсем нет, вообще везде нет, во всей бесконечности...
И — почему так устроено?!
Но именно об этом существа — единственные, из всех живых на Земле, называющие себя разумными — как раз и не заботятся, даже и не помышляют!..
Странно?.. Не странно?..
Дальше — прежде, снова, всего.
Каждый разумный видит или сам закапывает в землю себе подобных... и знает, что и его обязательно когда-нибудь так же закопают...
Но именно об этом разумные ни разу в день или хотя бы ложась спать и не поминуют!..
Тем более, далее, — каждый, каждый тот разумный на этой самой планете — неповторим, совершенно, на все времена и страны, уникален, абсолютен!..
Однако этим фактом он не только ничуть не одержим — попросту не берет его в голову!..

«По-че-му?»

Вопрос этот даже и вымолвить... поистине неуместно.

...А может быть!

Вся сама по себе планета Земля — шевелящаяся! — с пленкой-корой разнообразной жизни по ней... есть этаким великий шарообразный живой действующий мозг, Мозг!..

...На дверях: «Кабинет реанимации».

Сердце где-то... рядом со мной... ощутимо стало...

По — живой?..

Слово это... какое зыбкое...

За дверью внутри... впрочем... присутствовало что-то... впрочем... как бы домашнее...

По живой!..

Бросил куртку на пол.

Подумал подумать — постучать ли?..

А уже стоял в какой-то комнатке темной, как тамбур... и дальше — звала дверь открытая... звала — электрическая яркая...

Но из боковой двери вышел в белом халате кто-то. — Молодой мужчина, коротко стриженный, аккуратно бритый... совсем молодой, с глазами пытливыми... студенческими.

— Моя мать здесь.

У него одна рука была в кармане в белом.

Он спросил...

— Троицына.

Он, не моргая, сказал что-то про «одну минуту»...

...В оранжевом искусственном запахе.

Мама...

Мамины глаза закрыты.

Мама — была.

Была так, что она — есть.

Слово и это... зыбкое...

Мама дышала.

Устало...

Терпеливо...

Нетерпеливо!..

Под носом трубочка прозрачная — чужая — приклеена пластырем — чужим...

До подмышек — под простыней.

Руки — на простыне.

Теплые, теплые руки.

Теплые щеки... лоб теплый...

Такие, какие они и есть.

Ладони мои — как на горячем... и — опасном... и — затаенном!..

— Мама...

Она — хмыкнула... вопросительно...

Как когда ее — уж если мне чего-то очень-очень — будишь.

— Мама...

Я — над самым, близко, ее теплом.

Она тут — сказала.

Не губами, еле слышно, полуоткрытыми — а, как всегда, самой настоящей собой.

— Подыми мне глаза.

Я — пальцами, указательным и большим, левой руки... со стороны ее лба... отвел к ее бровям... ее веки...

Пестрые глаза... в мелких оранжевых точечках... были... и были такие, какие они и есть.

— Мама!..

— А?..

Задумчиво... привычно...

Разумно!..

Зрачки — темные... оказывается — они круглые... оказывается — они черные...

Блестят — ожидающе... готовно...

Ожидают... чего?.. готовы... к чему?..

И — словно им, зрачкам, не хотелось отрываться от какой-то точки... где-то вверху...

Но — чуть повелись... ко мне, ко мне...

— Адре...

Глаза и все лицо — настроенные, приготовленные — выразили: вот — я, вот — ты... точнее, увы: вот — я... и — все остальное...

Глаза, лицо, все тело под простыней: я — я... я — я... она о себе...

Я достал из кармана записную книжку, из книжки — календарик с Богородицей. Сунул его на теплую грудь под простыню.

В тамбуре за спиной шевелилось...

Я забоялся, что кто-то приблизится к нам, к нам двоим...

Губами — лоб теплый.

...В тамбуре врачу в глаза:

— Что?

— Разрезали, посмотрели, зашили.

Не моргая и не сводя глаз с моих глаз.

— Что?

— Умрет часа через четыре.

Смотрел, не моргая и не сводя, как понимающий понимающему и как это все понимание понимающий.

Еще очень он молодой!..

Во мне мелькнуло... где-то очень далеко... я брал интервью... смотрел... так же?..

Я опустил глаза... чтобы быть полнее, ошутимее, пространнее...

Записал номер телефона.

Сам же — четко осознавал... иное, тайное, пространство: например, что фамилия ее девичья — Вольская...

Внизу, в ужасном том тесном фойе, — на кого-то заорала толстая белая... на чью-то куртку...

...Я не живу в этом самом «сегодня».

Это и невозможно. Для бодрствующего.

Время, все-все время, — это только — «сейчас».

Прошедшее, настоящее, будущее — так называемые, и они — одновременно.

Для бодрствующего!

Я не живу, само собою, и где-то «здесь». Этого «здесь» для меня попросту не бывает. Рука моя распространяется — всего лишь на длину руки. А — насколько я?!

Я помню миг, когда я обнаружил себя в «моем» теле.

Помню... и будущее.

— Ты.

— Я.

— Ты.

— Да я, я...

— Ты на этом свете.

— Что?

— Ты уже на этом свете.

— На... на каком?..

— На этом свете.

— Не... не понимаю...

— Ты был на том свете.

— На каком еще «том»?..

— На том, который ты называл «этим».

— Я и сейчас... на этом свете.

— Нет, ты сейчас уже на этом.

— Я и говорю...

— Нет. Ты сейчас на том свете, который ты раньше называл «тем светом».

— Да, «тем светом»...

— Называл.

— Называл...

— Спокойно называл.

— Спокойно...

— Так вот теперь ты на этом свете, на этом.

— Как?!

— Так.

— Я... что... уже... то?..

— Да. То.

— Н-ну все!..

— Не все. Ты раньше был на одном свете, а теперь ты на другом свете.

— Все!..

— И это не все. Ты на этом самом другом, теперешнем, свете уже был.

— Был?!

— Был. До того, как ты попал на тот, вчерашний, свет.

— Не могу...

— Можешь.

— Не помню.

— Помнишь.

— Не знаю...

— Знаешь.

— Что... теперь?..

— То же, что было и всегда.

— Но что, что?..

— Ты всегда все это знал.

— Знал...

— Знал.

— Знал...

— Был в покое.

— Был...
— И теперь ты в покое.
— В покое...
— Потому что ты знал.
— Знал.
— Ты всегда был в покое.
— Знал.
— Ты всегда был в покое.
— Знал! Знаю!
— Всегда так говори. И на этом свете и на том. И на том и на этом.
Логически — нельзя иначе и знать.
И — не может быть иначе, не может!

...В автобусе вспомнил ночное: «ужас пребывания».
Чувство это длилось, по сути, и теперь. Разве что я с ним смирился.
Да, не привык, а смирился.
В тот, под одеялом, миг я особенно четко ощутил себя, меня... маленьким живым предметом... в огромных сомкнутых ладонях...
Так и сейчас.
Ужас — от неожиданности этой догадки.
А обычное состояние человеческое повседневное — попросту страх. Страх, который он, человек, страшась этого слова, называет то волнением... то ответственностью... то набожностью...
Страх пребывания в жизни — состояние длящееся и... нормальное.
Пребывания в жизни: в этом теле, в этом мире, на этом свете.

Гвозди на рентгеновском снимке...

Вот! Вот!

Мир мал.

Гвозди в космическом пространстве распространяются во все стороны с безостановочной безвоздушной скоростью — но гвозди те же самые в тесноте воздуха на подземной станции метро... да еще и в переполненном вагоне в пиковый час... распространяются всего лишь со сверхзвуковой, может быть, скоростью... и притом всего несколько сантиметров... так как увязают в осязаемых человеческих телах...

Точнее сказать, в космическом пространстве вообще, кажется, нету гвоздей... так как непонятно, зачем им там распространяться... Точнее, опять же, сказать, в космическом пространстве почти что нету человеческих тел... и, значит, их мыслей о возможном распространении там гвоздей... так как человеческие мысли заняты в основном тем... чтобы распространять гвозди на планете Земля, притом в подземном помещении, притом... и так далее...

Еще точнее сказать — для распространения гвоздей, чтоб они — во все сразу стороны, человеком освоено пока лишь подземное пространство, в отличие — что, вероятно, впереди — пространства околоземного...

Мир мал — и притом так уже особенно мал, что, между прочим — и как раз не между прочим, смертниками гвозденосцами становятся все чаще особы женского пола...

Мир мал — и так уже характерно мал, что — соответственно и тем более не между прочим! — работниками правоохранительных (от смертниц и их гвоздей) органов работают все более особы того же пола, женского...

Мир мал — угрюмо, угрюмо. Не только среди уголовников, но и в криминологии об «криминальных авторитетах» нет термина «криминальная дружба», только — «криминальные разборки».

...Золото у паралимпийцев.

Вот! Вот!..

Золотых медалей и прочих получают на порядок большее количество спортсменов, если у них отсутствуют зрение, слух, рука, а то и вовсе обе ноги — в отличие от обыкновенных спортсменов, которым эти самые различные органы и конечности только, по причине малости мира, мешают.

Вернее бы сказать, особи человеческие с «ограниченными возможностями» эти самые ограниченности и стараются преодолеть, в чем и преуспевают, — тогда как особям, чьи возможности не ограничены, есть смысл, привитый современным имиджем, успеть бы воспользоваться своими органами для побед в сексе и бизнесе.

Мир — мал, мал...

...Ночной клуб сгорел. — Хоть он и стекло-железо-бетонный.

Вот!.. Вот!..

Мир — мал.

И поэтому именно в это сравнительно небольшое по габаритам пространство надо было наносить и навозить как можно больше самых горючих материалов — чтобы все они, вместе с полным клубом, в несколько минут сгорели...

Почему загорелось?.. почему не было запасных выходов?.. — А потому и загорелось, что не было ни запасных, ни... вообще никаких — выходов-то...

Иначе — что бы делать в кубическом зале, что на пятьдесят персон, сразу тремстам?.. что бы делать им — столь взрослым?.. что бы им делать — в столь поздний час?.. что бы делать им — в столь громком музыкаподобном звуке?.. да и это все — одновременно?!

Мир мал — и только в этот поздний час в этом замкнутом строении нашлось место этим людям для их краткой и единственной жизни!..

Первое свойство мира, мира людей, — и потому не сформулировано оно было никем прежде! — что он, мир, — мал.

Однако... не воздеты руки людей, не согнуты колени людей...

...Из автобуса вышел — уже под черный дождь своего города.

Набрал номер... идя или стоя в луже...

Юный ровный голос...

— В семнадцать тридцать.

Я — пошагал, пошагал, пошагал...

Но — сколько ни иди... Никогда теперь не встретишь.

Кого хотел бы — больше всего и всех.

Никогда...

И даже и не увидишь.

Никогда...

Черный дождь по щекам был горячий.

Мир — мал.

Мир — мал!..

Ярославль, 2010 год

Русское странничество Евгения Кузнецова

Мы привыкли думать, что писатель — это человек с наиболее острым чувством современности, эпохи, со способностью глубоко и ярко выразить дух времени. Он открывает нам глаза на актуальную реальность. Увы, сегодня так бывает не всегда. Жизнь переменилась, мир дышит уже странным и диким озоном третьего тысячелетия, а прозаики иногда пишут так, как бывало в середине или конце XX века, не слишком задумываясь о том, что новый, фантастический опыт человека требует новых средств его выражения.

В современной русской прозе много отстойного и банального. Она слишком часто несет на себе печать социальной инерции и рутины, которые иной раз остро дают о себе знать в российской жизни, несмотря на вроде бы грандиозные сдвиги и потрясения. Как и русская жизнь, русская литература сегодня нередко по-плохому провинциальна и лишена внятного видения будущего (а там, где таковое в литературе имеется, перспектива парадоксальным образом представлена в жанровых формах антиутопии, прозы катастроф).

Среди тех немногих наших прозаиков, которые отважно, бескомпромиссно идут на штурм новой реальности, осваивая и выражая ее с какой-то очень убедительной мерой адекватности, самобытно, оригинально до степени моментальной узнаваемости авторской манеры, — Евгений Кузнецов в своих последних романах (опубликованы два из них: «Быт Бога» и «Жизнь, живи!»), драматической повести «Чернила в бокале» и рассказах.

Кузнецов многое принес в жертву литературному поиску и эксперименту, которые ведет ради постижения и выражения истины. Он настолько непривычен, что ошарашивает многих читателей. Мне-то кажется, что проза Кузнецова не так уж и сложна; он не стремится усложнять ее намеренно, ско-

рее наоборот. Но отсутствие четко предъявленной интриги, простой сюжетности, круговой ритм этой прозы, проблемы с ее героем — все это не облегчает чтение. При этом Кузнецов ярок почти в каждом фрагменте, часто афористичен, временами дает при чтении редкой силы наслаждение. Иногда это похоже на стихотворение в прозе.

Для новых смыслов он ищет и находит слова, которых нет у других, которые полнее всего материализуют прозрения духа. И он дает этим словам возможность жить свободно в пределах очень гибкого синтаксиса, просторного мира объемистой книги. Поэтому так свободна кузнецовская повествовательная форма.

Кузнецов — писатель, не разменивающийся на пустяки. Хозяин мыслей глобального масштаба. Писатель, заметим, верит в бессмысленность бытия (а это теперь и в литературе, и в философии, и в сознании современника вовсе не аксиома). «Жизнь есть жизнь замышленная, задуманная. По Мысли требовательной Вселенной».

Ему и его герою всегда нужна идея существования, которая связывает, мотивирует, объясняет дискретность бытия. Он ищет универсальный закон или объединяющий принцип бытия, анализирует жизнь на границе, где полыхает конфликт дискретного (частного, мелкого, банального, пошлого, примитивного) и глобального, которое так или иначе связано со свободой и творчеством.

Он не загоняет свою мысль в публицистические рамки, тем более не стреножит ее догматикой. Мысль движется свободно, ей обеспечен в пространстве повествования максимальный простор, и сама она лишь задает некий разгон жизни и пытается уловить ее смысл не в готовых формулах, заимствуемых извне, а в логике собственного авторского понимания реальности.

Мы в принципе понимаем, что нет, в сущности, ни одной мысли, которая охватила бы собой всю реальность без какого бы то ни было остатка. Так и кузнецовские боль-

шие идеи кажутся односторонними или неполными, может быть. Кажется, что их недостает для постижения и выражения бездн бытия, метафизического провала на краю ночи. И да, таки недостает. Поскольку все же никому не удавалось объяснить жизнь в ее совокупности. Тут главное — не итог, а процесс. И отдельные достижения в этом процессе. И с учетом этого трудно, например, не разделить радости открытия героем и автором в романе «Жизнь, живи!» генерального мотива человеческой активности:

«И надо — отдавать.

— Хотя бы напропалую расточать! <...>

Лишь бы — отдать!»

Роман задуман, чтоб показать нам, как бессознательно или осознанно работает этот принцип в самых разных ситуациях существования. Включая, разумеется, и творческий акт, то есть, чем занимается писатель (и его герой).

Неудивительно поэтому, что герой прозы Кузнецова обычно пребывает в остром кризисе. Он одинок, он в хаосе, перед лицом трудноразрешимых противоречий бытия. Его никто не понимает, и он не имеет власти над миром, не способен прийти к легкой гармонии. Но он и не ищет легких путей.

Он, можно даже подумать, упорно усложняет свою жизнь, форсирует ее драматизм. И не за счет эксцентрики, не ввиду каприза, но исключительно потому, что стремление его к полноте понимания реальности неутолимо, в то время как абсолютное большинство окружающих его людей исчерпали это понимание простой и удобной формулировкой, позволяющей успешно жить, хотя б и замыкающей при этом пространство больших и непредсказуемых смыслов и истин. Им не нужен золотой ключик истины, им хватает нержавеющей отмычки от вполне конкретных дверей к уюту и комфорту.

Герой выводит такой алгоритм общения с адептами удобной истины: «Пообщался — размагнитился — усреднился — опустил — забалдел — отчаялся... Вот каскад общения! <...> Общение — это вынужденное оскорбление».

Особенно драматичны отношения героя и его ближайших родственников. Тут поневоле вспомнишь евангельское: враги человеку — домашние его...

Отсюда бесконечный разговор с самим собой в этой прозе, иногда развернутый как внутренний диалог. Герой кружится и кружится вокруг самых важных, сущностных идей бытия, которые ему открылись. Бормочет, пришепetyвает, кричит — и ему нет до вас никакого дела! Он, понимаете ли, занят более важными предметами.

Да, герой Кузнецова — искатель, путник: новая версия русского странника, этого удивительного типа личности, который издавна сложился на Руси. Он был блестяще когда-то описан философом Георгием Федотовым. Убожеству и примитивности социальных форм, неизбежности русского рабства на вершинах национального духа одним своим присутствием противостоит и сопротивляется эта бродячая Русь Нила Сорского и Елеазара Анзерского, этот духовный скит, который в имперский период получил продолжение и увенчание в классической фигуре русского интеллигента, искателя социальной правды и богоискателя, мешавшего очарование с разочарованием. Таковы Достоевский и Толстой, таков Чехов, такова плеяда трагических поэтов XIX и XX веков — гении, в которых с наибольшей полнотой выразилось русское чувство жизни.

Считал и считаю, что именно русский странник — это высшее выражение духа нации, самый прекрасный, неповторимо-характерный цветок, который подарен Русью человечеству и вечности.

Вам казалось, что таких людей больше не существует. Что остались только конкретные прагматики, люди практической извилины, деловитые «москвичи» (по метафорическому определению того же Федотова). По описанию в романе «Жизнь, живи!» — «Нынче со школы и семьи — искомь ум и сила. А не характер и мечты. <...> В итоге — подспудная догадка и жажда цинизма и холода ко всем и всему»...

Ан нет. Есть еще люди вне быта, вне уюта, люди духовной вертикали и творческой свободы. Для которых аксиоматичны те вещи, которые дико звучат для уха обывателя и приспособленца: «Слава, богатство, карьера — все это в утешение. — Словно больному ребенку новая игрушка.

Когда не свят, не мудр и не талантлив.

И все — несчастны.

Взаимное равнодушие — от безразличности тайной, безразличность — от явной зависимости: от алкоголя, от вождя... от криминала, от полочки... от моды, от супруги...»

Есть, таким образом, люди, для которых дорого понимание людей, но дороже чистота помыслов и открытость Богу.

Так герой рассуждает о своих творческих стимулах: «Я писал... словно бы не роман, а икону. <...> Да, отвергнутая любовь, творчество — самое больное, больное. Энергия — а оказалась непринятой, ненужной... неуместной, выплеснутой на ветер... нет, просто — выплюнутой... И именно: самое ценное и ранимое — сердце, сердце...»

А отдавай самое дорогое — только Богу.

С начала жизни не адресуй никогда ничего самого ценного никому на земле...

А как же?.. А как же?..

Только посмей это вслух!

— Ищи попутчика.

— «Вечного».

Всякий земной адресат — лишь предлог. Разве, впрочем, этого мало? — Попробуй быть предлогом-то».

Высшая форма самоотдачи — любовь и творчество. Об этом пишет Кузнецов. И с этим трудно спорить. «Ведь только о любви поется со стыдом и восторгом новизны.

К женщине, к Родине, к Богу.

Так, значит, и надо петь только о любви!..»

Но как, как? Ведь столько уже спето, и столько банальных слов, столько расхожих клише, удобных для туговатого уха! ...любовью дорожить умеете, с годами дорожить вдвойне, любовь не вздохи на скамейке...

Но гребенки и ноги, трагик в провинции и дым табачный, который воздух выел, и улица, которая глава в крученыховском аде, —

ведь все это неповторимо, сказано лишь однажды Пастернаком или Маяковским, и в этом когда-то открылось новое измерение отношения творческой личности к миру и к человеку. Однако и сегодня никто не знает априори, как правильно любить вот этого человека, с которым вдруг свела тебя жизнь. Как событие встречи претворить в высокую поэзию зрелого чувства, в прочную и надежную ткань поступка и жизни, которая не знает повторений.

А потому очень точно, с безупречной внятностью Кузнецов связывает песнь о любви с песнью об истине. О стремлении к истине. *О любви к Истине*. В которой тоже нельзя быть до конца уверенным, но которая все же есть.

Чему учит этот неожиданный в Ярославле, небывалый, странный писатель? Этот писатель учит жить свободно — и по возможности осмысленно. Но он не научит жить комфортно и удобно. Не научит быть коллаборационистом и дружить с бытом, с прозой кухни и постели.

В этом все дело. Писатель сегодня бесконечно свободен, как никогда. Такой свободы, какой обладает Евгений Кузнецов, скажем прямо, почти не было прежде и мало даже теперь. Он заново называет все вещи, потому что старые названия этих вещей уже неправдоподобны, дискредитированы. Больше нет убедительных традиций. Прошлое свернулось, как свиток, и сгорело в страшном костре XX века. Горизонт открыт. Но высокая ценность его прозы состоит в том, что практикуемая в ней свобода употребляется не для пустого разгула, не для щекотки эмоций, не для глумления и стеба, а для истины и любви.

Евгений ЕРМОЛИН

П О Э З И Я

Константин КРАВЦОВ



Родился в 1963 г. в Салехарде. Окончил Нижнетагильское художественное училище, затем Литературный институт им. А. М. Горького. В 1999 г. в Воскресенском соборе г. Тутаева принял сан священника. Служил в храмах Ярославля, Подмосковья. В настоящее время клирик московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы, что в Петровском парке. Стихи публиковались в журналах «Знамя», «Октябрь», «Воздух», «Интерпоэзия» и др., а также в антологиях «Русская поэзия. XX век», «Нестоличная литература», «Современная литература народов России», «Наше время» и др.

Автор четырех книг, вышедших в столице: «Приношение» (1998), «Январь» (2002), «Парастас» (2005), «Аварийное освещение» (2010). Лауреат премии им. С. А. Есенина, лауреат III Филаретовского конкурса христианской поэзии в Интернете (2003).

Член Союза российских писателей.

«Немое возможно»

Улица

Отлетали души от деревьев
Плавала вечерняя зола
Улица с открытыми глазами
В обозримом воздухе спала

Отлетали души от деревьев
Плавала вечерняя зола
И меня к невидимым деревьям
Глаз не отводившая звала

Церковь на трамвайном кольце в Мукомольном переулке

Ангел-хранитель больниц и гимназий,
Севера ветреные хризантемы,
Чаять ли праздника? Ждать ли okazji?
Рельсы по воздуху тянутся, где мы...

Кто это мы? Просто Лазари-сидни
Прах на спирту, отморозки и лохи,
Спим на ступенях и лестницы — сини

Возобновление трапез, и крохи
Падают псам, и смыкает все звенья
Город в посмертных промоинах зренья

Ярославль, март 2003

Патриаршие пруды

А снег, он летит как сквозь купол разверстый —
Беспутный наш снег, разрывающий нити,
Что сплел паучок-письмоносец за лето:
Обрывки, одни лишь обрывки повсюду,
Но длится венчанье: немое *возможно*
Присутствует вместо *аминь* в твоей праздной,
Как снег, болтовне на Прудах Патриарших

Пустынна Москва, и лишь клюшек удары
С катка, лишь сырые обрывки повсюду,
И прожектора, и кружение снега

Царство твое

Подем к выцветшей церкви в ночи добреду,
И кивнет иерей с соли, как войду
Под всеобщие своды ее на правеж

Захрипит смертным хрипом старушечий хор,
Жухлых красок по стенам бездарный костер,

Тьма над бездной давно, все безумны, и все ж —
Это Царство Твое, это Царство Твое
Овчий двор. И не будет другого двора

Снег в расхристанном поле хоронит жнивье,
Словно всюду рассыпан талант серебра

Re-Ligio

Что сказать мне о жизни?

И. Бродский

Зрения створки промытые
И не нарядный, из хвои, вертеп,
А сама та пещера, ясли, пеленки

Не софринский фимиам —
Алавастровый твой флакон,
Повивальная тьма, твои слезы, Мария

Альтернативное кладбище в Бер-Шеве, на Святой земле

Денису Новикову

В той проруби уключины, ключицы,
Твой жертвенник, который *самопал*,
И никакая тварь не отлучит нас,
Как римлянам тарсянин написал

И снег стоит Кириллицей при дверех,
А на дворе мороз, мороз и сон,
И в нем — крюки и петли, но не верю:
Все той же веткой образ осенен

Поэзия должна быть глуповата

Та амфора пытливой самарянки,
Кувшин ли просто... Господом хранима,
Бежит вода, чиста после огранки,
И облако белеет нестерпимо

Бежит вода, чиста после огранки,
В пространстве золотом, идущем мимо,
А водоносы, амфоры ли, склянки...

В пространстве золотом, идущем мимо,
Бежит вода, чиста после огранки,
И облако белеет нестерпимо
Над рынком, забытьем автостоянки,
Над блокпостами Иерусалима

Памяти отца

Полуденный мне снится оком
И нашей лодки на Оби прозрачный дом

Олифлю крест в сторонне-праздничном саду:
На славу крест, отец, я глаз не отведу

Промерзшим крестным садом — берега
И явь солнцена начальная строга

Ты снова на земле меня родил,
Сам невредимым сделавшись, отец

Я вижу нашу лодку-кораблец,
Лучей непрогибаемый настил...

Рождение воздуха

Памяти Эндрю Уайета

Оттепель явит мертвых
Трав зазеркалье, волны,
Волны и пух над ними, борозды океана,

Выпростал руки спящий из льдины, ветер
Сеет зеленую соль в солнечные лабиринты

Ныне Ты отпускаешь раба Твоего, Владыко,
Ибо видели очи мои довольно травинки,
Утренников и проталин, а эти пятна
Рыжих волос, и то, как ложился
Луч на лодыжку, переливался бисер
Воды на снопе пшеничном

Раб Твой исполнен днями и сыт Чеддс-Фордом,
Ныне от сна, позволь, не восстану, пусть остывает
Печь дровяная, благодарю, что ломились
Ведро всегда от лисичек, смородины и брусники,
А по зиме чернобурки сбегались из леса
Подкармливаться на свалках

Не тяжелей мое сердце перышка чайки-баклана,
Лодка на сеновале и в поле телега тоже
Не тяжелей, чем перышко, тоже белы, прозрачны,
А городов я не видел, Владыко, только
Ветра дощатый мир, перья, витая, строят
Лестницу винтовую

За трапезой 29 августа/11 сентября

Кто ты, восходящая от пустыни
Как бы столпы дыма...

Песня Песней

Не Саломея, нет, соломинка скорей —
Просто соломинка с улицы Клязьминской,
Не стрекоза, не нагая плясунья в луче,
Зажигающем крылья стрекоз на стекле,
Не нагая плясунья — былинка Иезекииля

— Я ему говорю — молодой такой, русский-русый! —
Я ему говорю: ты бульон-то попей, пока он горячий,
Пирожки съешь потом и не ходи ты к баптистам,
Зачем тебе? Здесь, по Урицкого и налево,
Еще метров сто, и снова налево, да знаешь, наверное,
Церковь там восстанавливают —
Это там мне сказали, что нечего об исцеленье просить, —
Так вот, я ему говорю: ты сходи, сходи туда,
Может, работу дадут: лед колоть, или еще что...
А он мне: Ты ангел, да?

Ангел, а кто же? Кто ты еще, Суламифь,
Восходящая от пустыни как бы столбы дыма —
Дыма котельных... И сполохи эти, и тропы олени,
Олени глаза мерзлоты... Не европейка нежная —
Просто соломинка, просто соломинка
В неугасимом огне Его

— Ну, вот и он говорит: тридцать каких-нибудь
Лет-то осталось, ну, пятьдесят: Осипов — семинаристам
На лекции об Антихристе: вы, говорит,
Его сами с хоругвями встретите.
Фаршированный рисом с морковью
Постный перец.
— Отец Анатолий, вам чай или кофе? Компот?
А вам что, отец Константин?

Тридцать ли, пятьдесят ли, но я —
Властью мне данной — еще расскажу тебе, как
Разгоралось и снова являлось, и молоком убегало,
То снова ходило за мной по пятам, колыхалось
Лучами зелеными, словно
Соломенный смутный навес на ветру,
Сияние в Салехарде

Одушевленные

А вместо Баха и Моцарта был
Флойдовский «Animals» с транс-цен-дентальным
Лаем собачьим — о северный драйв,
Музыка сфер для тинэйджеров!
Всюду топорные видишь светила,
Думаешь, несть им числа над бараками

Так и стоишь как свирельщик у врат
В «Мире музыки» около Новослободской:
Носящийся по ветру лай —
Бранденбургский концерт твой и Страсти
По Иоанну, Матфею,носящийся по ветру лай,
Тундровый психоделический рок: перекрытия рухнули
В нотариальной подлунной конторе,
Висят, проломившись, мосты, леденеют стропила,
Висят облака отсыревшей овчиной на кольях,
Вода, как обычно, темна,
Словно выбоины в коробах теплотрасс,
И еще луннорогие цитры видны в той воде —
Добросовестной зоны жилой луннорогие цитры

Под луной

Ивану Жданову

Алтари твои, Босх, дураков корабли
И провалы морей твоих, спутник земли,
Лед и листья во льду — под светящимся льдом,
Над бетоном дождем облицованных плит,
Где не славен никто, да и жив ли пиит,
Там, за морем дождей, свой поставивший дом,
Обустроивший скит?

То коньками изрезанный лед за бортом,
То ночные под ним проплывут патрули,
И погасят огни Геркуланум, Содом,
Алтари твои, Босх, дураков корабли...

Экспозиция

Из середины жизни, сердцевины,
Из области заочной той, где лес
Зажег свои витрины, мандолины,
Висят окрест те в платьяцах, те без:
Крючки и кружева, ручьи муслина,
Бегущие в страну святых чудес

Везде, Иероним, твои кувшины —
Корнями вверх! И солнцем залит лес
Небесных тел. А вот еще картина:
Куда ни глянь — процессия, процесс,
Не лес — ветвисторукие руины
Горят вовсю в стране святых чудес,
И пьешь ручьи замерзшего муслина,
Крючки глотая: в платьяцах и без
Взошли светила — лютни, мандолины,
Но ни один не выигран процесс

Дукаты здесь зарывший Буратино
Утрату их оплакал и исчез,
И опустели наши палестины,
Но область есть, где солнцем залит лес
Небесных тел без видимой причины,
Есть повод для плетения словес,
И есть, Иероним, твои кувшины
В развалинах страны святых чудес

Олег ГОРШКОВ



Олег Горшков родился в Ярославле в 1964 г. Закончил юридический факультет ЯрГУ, в котором после окончания учебы несколько лет занимался наукой и преподавательской деятельностью. Сейчас работает адвокатом. Публиковался в журналах «Новый берег», «Сетевая поэзия», «Таллинн», «Радуга», «Северная Аврора», «Родомысл» и др., в коллективных сборниках, альманахах и антологиях, выходивших в России, Украине, США, Израиле. Финалист поэтического конкурса «Заблудившийся Трамвай» им. Н. Гумилева (2004, 2008 и 2010), Международного литературного Волошинского конкурса (2009, 2011), лауреат поэтического фестиваля, проводившегося в рамках 67-го Всемирного конгресса международного ПЭН-клуба (2000), ряда других всероссийских и международных конкурсов. Редактор сетевого литературно-поэтического журнала «Поэзия.ру». Автор трех книг стихотворений — «Антивремя существования» (2000), «Размытая архитектура» (2002), «Глагол одиночества» (2007).

«Приходит время медленнее жить»

* * *

Ты умер, едва проснувшись, чуть свет, внезапно.
С улицы пахло яблоком, стружкой, снегом.
И кто-то, никем оказавшийся, ставший неким
пробелом, лакуной, вбирая щемящий запах,
лежал посредине зимы, посреди обломков
религий, империй, времен, кораблей и прочих

скрипучих безделиц. И гулкий глагол, обмолвка,
неведомо чья, претворяли и беглый почерк,
и почву зимы, воцарившейся в мире. «Умер» —
гремели столетья, а ты все лежал, покоясь
на утлой кушетке, чуть свесив коленки в космос
прокуренной комнаты — гамлет, вернее, гумберт,
профукавший девочку-жизнь. Глубоко и сладко
дышалось тебе спелым яблоком, снегом, стружкой,
вернее, кому-то, избывшему без остатка
себя самого. И сестрой, сиротой, простушкой
стремглав обернувшись, с ним девочка в такт дышала
и все бормотала, целуя глаза и губы:
мой гамлет беспамятный, мой бестолковый гумберт,
не помнишь меня? Что же, попробуем все сначала —
от яблока, что едва качнулось назад, на запад,
от вязкой зимы, от купели прозрачной, ранней.
Ты умер сегодня, чуть свет занялся, внезапно.
Ты только рождаешься, ты еще там, за гранью...

Град обреченный

Заснеженный пейзаж глубок и чист —
зима дисциплинирует природу.
Ни звука. С колченогой каланчи,
превозмогая утреннюю одурь,
продрогший ворон, словно в тьму времен,
куда-то в небо целит цепким оком —
лаокоон, застывший над потоком
событий, что во тьме почуял он?

И город, в струнку вытянувшись весь,
стоит — сосредоточенный и строгий,
как будто ждет решительную весть.
Он помнит все — мясистый запах оргий,
вкус ветреной свободы, зычный зов
слепого естества, имперский почерк
страстей, чудачеств, помыслов и прочих
своих безумств. Но чашами весов
играет необузданный борей,
и зябнут покачнувшиеся сферы
в пугающе пустынном декабре
оглохшего столетья стылой эры.

И помнит город все, что кралось вслед
неистово пирующей гордыне —

цветение удушливой полыни
и ужас пустоты, объявшей свет,
проникшей в камни цирков и церквей,
содравшей лак с их лика щегольского,
поправшей то, чем родствен иудей
был эллину — связующее слово.

Плывут воспоминанья, их не счесть,
но окликает колокол, зашедшись,
юродивых своих и сумасшедших,
и сумерки тесней, и ближе весть...

* * *

Век оглоушен пьяненькой, площадной
совестью толп, дурью торжища век пронизан.
Кто там над звездами скрипачкою-тщетою
пилит неистово? Претерпеванье жизни —
через усталость, сквозь лед занемевших мин —
в лицах читается, и ни черта помимо.
Срок свой земной мотая в тоске голимой,
как заведенный бормочешь: аминь, аминь.
Будто обещано: так обретешь покой,
сможешь постичь начальное в человеке.
Чуешь, как воздух, запертый в костяной
матрице плоти, ютится в своей ячейке?
Сколько же в этом, набитом всегда битком,
клеточном улье, в бесчисленных ломких сотах
спрятано воздуха, слышишь, как там, в пустотах,
колокол бредит? Вот и скажи, по ком?
И говоришь, будто страх выдыхаешь, но
голос разбуженный слышится еле-еле
в сумрачной чаще, где даже дышать темно,
где, как столбы геракловы — ели, ели...

Старьевщик Ефам

Вспомни, какой мой век: на какую суету
сотворил Ты всех сынов человеческих?

Пс. 88, 48.

Живет себе человек, и чем дальше — проще,
все проще и глубже глядит человек на вещи,
старьевщик Ефам на судьбу никогда не ропщет,

он скуп на слова, отрешен и совсем не сведущ
в курсах на рынке правд, но зато он дока
в ценах на время, что, еле дыша, ютится
в утлых часах, и на свет, погруженный в стекла
масляных ламп и в проваленные глазницы
гипсовых римских голов. В запыленной лавке
латаных древностей, словно в ковчеге Ноя —
всяческой твари по паре — брелки, булавки,
маски, картины, куклы с их заводною
шаткой походкой — весь тлеющий мир, который
непостижим и разрознен, текуч и зыбок...

В датских и прочих отечествах бедный Йорик,
Йорик живей всех живых, как и прежде, ибо
все возвращается в прах, обращаясь снова
тайной, симметрией, почвой, пылью, дыханьем
блудного ветра — всей сутью своей, основой
коловращения вещей... Бог с тобой, лехаим,
старый еврей, пусть тебя берегут глазастый
бронзовый Ра и фарфоровый сонный Будда,
ты по утрам говоришь им негромко: здравствуй,
слышишь, они отвечают тебе: все будет,
как и должно быть... Ты чувствуешь? — здесь подспудно
вещи вмещают мир, словно мехи вина,
вещи — вместилища, вер и времен сосуды,
и только жизнь необъятна и неизбывна...

Буратиновый фронт

Этот воздух сквозной, эти дали усеяны светом.
Несть числа именам демиурга, который один
пишет жизнь. Ну, а мы — лишь труха, уносимая ветром.
Видишь, некий творец, сам себе на уме господин
карабас-барабас, сочинитель державных комедий,
ставит свеженький фарс, строя бравых болванов своих
в буратиновый фронт. И грохочет кимвальною медью
удалой балаган. Свищут, ноздри раздув, соловьи —
записные разбойнички — чуют, засранцы, добычу.
Деревянные цуцки радостно прут на рожон —
вот уж будет пир и чума на весь мир, как обычно.
Впрочем, что до уж, то державы давно уже в жо...

Вот и строишь ковчег — сам в себе — безрассудно, упрямо —
изнутри его строишь, застигнутый смертным стыдом,
чудом черпая речь, выбираясь по слову из ямы

безъязыкой тоски. Вот и ладишь свой призрачный дом.
Ну, пускай не ковчег — что-то вроде укромной каморки,
где за старым холстом только грубая толща стены.
А за ней — только холод, лишь холод собачий, как в морге.
И гремит балаган, и кимвалы повсюду слышны.

Поколение шутов

Геннадию Ермошину

Сам по себе живешь, но ты из поколения
трагических шутов, дышавших невпопад
с эпохой. Все торчит колпак закабаленья
на темени твоём, все просятся в приват
подсобок, чердаков и коммунальных кухонь
насущенные слова, как будто бы вот-вот
очнется ото сна могущественный Ктулху
и всех, кто в колпаках, под свой колпак возьмет.

Но будешь и тогда, дурак непоправимый,
жить с миром вразнобой, бубенчиком бренча,
пока в литавры бьют во славу и во имя
усердные рабы, плодящие рабчат.
Но будешь и тогда... Глагол, как пуля, послан
во тьму, и оживет зияющая тьма,
сквозящей пустотой в лицо дыша, а после
в разбуженных глазах разверзнется зима.

Что век твой? — зверь тщеты, тоска о невозможном,
но как ни разрослись полынь и лебеда,
спасибо всем табу, границам и таможням
за сладостную суть запретного плода,
за жалость к мертвецу, что был живых живее,
и ненависть к нему, за ярость и за стыд.
Еще от всех шутов, конечно, Москвошвею
особенный респект за клоунский прикид.

Скудна твоя лоза, почти все гроздь страха
и гнева ты собрал, но послевкусье длишь.
И все ж, хвала и честь собесу и госстраху
за их науку жить и полагаться лишь
на Бога и себя, за то, что хватит духу
на ярмарке тщеты быть голью шепутной.
Так будь благословен и ты, проклятый Ктулху,
за общий хула-хуп и жажду быть собой.

Чем явственней зима, тем проще улыбаться,
заглядывая в тьму, чьи дебри глубоки.
Вовсю идет призыв поэтов и паяцев
под зов нездешних труб в бессрочные полки.
Повсюду снег да снег, его здесь по колено,
и кем-то стерта грань меж небом и землей.
И белой пылью прочь уносит поколение
тех, чьи глаза полны покоем и зимой.

Нейронная живопись

Beata stultica

Все, что ты видишь: дрогнувший блик в листве,
молниеносный росчерк вспорхнувшей птицы —
все это канувший мир, разоренный свет,
нейронная живопись мозга. И не схватиться
за воздух, сквозящий сквозь пальцы, не вжиться в явь,
в простор, что мерещится там, в голове-обскуре,
набитой латынью и прочей ученой дурью.
На ощупь живешь, будто что-то в себе разъяв —
какую-то гамму, чуть брезжащий в ней намек,
какое-то слово, сверкнувшую в нем загадку.
Ты весь воплощен во внутренний монолог,
в пустынную речь, уместившую мир без остатка —
с его шутовством и блаженством, тоской, тщетой,
ничтожностью царств, безрассудством мессий и судей,
заиливших Лету. Но ты ведь и сам, по сути,
лишь росчерк по воздуху, дрогнувший блик, лишь то,
что явью причудилось. Это пройдет, пройдет.
Ты знаешь всю правду, ты помнишь, но все же, все же
как стыд нестерпим, как бугорчат в лопатках лед,
как дышится жадно сквозь каждую пору кожи.

* * *

Здесь праздник все же был, но вышел вон
не узнанный никем — мир то и дело
бряцал в кимвалы с верой оголтелой,
и самозванцев чествовал... а он,
не требуя ни власти, ни хвалы,
присаживался в сквере на скамейку
к чудным волхвам в ушанках из цигейки,
но, будучи с похмелья, и волхвы

его не признавали. Наугад
он дальше брел, он обращался снегом
и воздухом, насвистывал на беглом
синичьем языке, пока ягнят
своих молчащих, свой елейный хлеб
мир пожирал под медный гул кимвала,
и утро все никак не наставало,
и тьма ползла в пустующий вертеп.

За вещностью, за тонкой пленкой сфер,
в тех ойкуменах, что за гранью зренья,
мешая запах снега и сирени,
все ворожил усталый парфюмер
над колбами времен, но, видно, дух,
им сотворенный, выветрился где-то —
ни тишины, ни праздника, ни света,
одни слова, что вновь бормочешь вслух.
Но здесь, в столпотворенье голосов,
не вспомнит даже колокол набатный
все без вести пропавшие когда-то
потешные полки озябших слов...
А тьма ползла, и так из века в век...
Но ветер треплет белые страницы,
и спящему младенцу в яслях снится
снег, пахнувший сиренью, тихий снег...

Ойкумена онлайн

Ойкумена онлайн. Самых грязных котов из мешков
извлекают на свет просветители Яндекс и Гугл.
Се — cloaka maxima, лишь чокнутый книжник Мошков,
оцифровщик словесности, загнанный временем в угол,
все упорствует в ереси — что за причуда, на кой?
Поколенью клоаки накакать на библиотеки,
ибо библия — Твиттер, и мутною желтой рекой
громыхает контент — ныне, присно, на вечные веки.
Толчея голосов, языков нескончаемый чес,
вот и ты как бы жжешь, человечек, исчадие чата,
и откликнется кто-то, почуяв живое: рулез! —
тоже что-то из библии. Солнечный зайчик в сетчатке
вечереющих глаз затрепещет, но спрячется вмиг.
Словно саваном, речь спеленали рогожей жаргона.
И не нужно костров, ойкумене теперь не до книг.
Никакою трубой стены этого Иерихона
не разрушить уже. За окном ослепительный снег —

ойкумена-3Д имитирует зиму на свете.
Есть ли жизнь после сети? — бормочет в тоске человек,
снова ищет ответ и, как прежде, не может ответить.

vremechko.net

Затрапезная осень, промозглая тмутаракань —
лишь роптанье ветров да простуженный лай кабысдохов
тормошат тишину, и выходишь куда-то за грань
оголтелой эпохи. А, впрочем, причем тут эпоха
гуттаперчевых цезарей, спешно доящих свой рим,
и румяных мессий, расторопно торгующих словом?
Время — жадный сурок, что грызет и грызет изнутри
листья жизни твоей, убывающей так бестолково.
Время — нечто в тебе, а не что-то и где-то еще,
одурачишь сурка, и мгновенье все длится и длится.
Даже сумрачный хронос, дотошно ведущий свой счет,
не исчислит его... И летит уже белой латиницей
нескончаемый снег, летописец и вестник зимы,
заполняя собой пустоту между горним и дольным,
между словом и словом. Из толщи небесной, из тьмы
снег свободно летит и, едва прикоснувшись к ладоням,
истлевает за миг, и ты чуешь, безбожник, по ком
сельский колокол бьет, расщепляя в тоске безрассудной
это vremechko.net и его pokolenie.com
на отдельные судьбы.

Алхимик Йорк

Алхимик Йорк, помешивая тьму
сгустившихся окрест тысячелетий,
в их толщу манит. Что за шут ему
теперь судья, какие нынче сплетни
о нем вздох горланит воронье? —
не разберешь. Но небо над собором
как будто пошатнулось. Все — вранье,
усмешки Дагонета, по которым
воображение чертит времена,
блуждая в наплывающем далеко.
Все глуше, глуше гул веретена,
прядущего тщеты крошечной кокон.
Щебечет город — птица и манок.

И, кажется, у века на задворках
все длится красно-белое кино
про чокнутых ланкастеров и йорков,
про их солдат, церковников, ткачей
и прочих малых, что за пинтой эля
бранят и славят каменный ковчег,
несомый в бездну. Без году неделя
от сотворенья мира — тот же свет,
что был в начале, те же в Узе воды
бубнят свое склонившейся листве,
на нитке площадного кукловода
все тот же красный чертик, лицедей,
усердствует — где тонко, там и рвется.
И, строя рожи, лезут из людей
наружу обезьяны сумасбродства.
Мир будто замирает. До краев
котел времен мгновеньем полон этим,
и ребяшня гоняет воробьев
по площадям, дворам, тысячелетьям...

Мене, мене, текел, упарсин

Приходит время медленнее жить.
Преследуемый собственной тенью,
вновь осознаешь, что жизнь принадлежит
свихнувшемуся богу нетерпенья.
Не то с чего б так яростно частить
колоколам к заутрене, с чего бы
такая разоряющая прыть
у мытаря-борея? Смотрит в оба
неясыть-осень, только оступись —
подхватит, понесет с листвою и дымом
в кромешную беспамятную высь
с ожесточеньем неисповедимым.
Борей все сыплет зябких голосов
толченное стекло, но ты не слышишь,
и свет качнется, будто свет, как софт,
скачать возможно, кликнув небо мышью
слепой тоски, как будто можно впрок
налюбоваться хрупким этим светом,
все выговорить в смуте беглых строк,
напраздноваться, надышаться ветром,
взять если не уменьем, так числом
проб и ошибок, чтобы, пусть отчасти,
пусть лишь на миг, почувствовать потом,
как нестерпимо призрачное счастье.

Вот и несет кочевника поток —
непоправимо, властно, неустанно,
и снова ускользает между строк,
в тщете словес глагол обетованный,
безмолвно гаснет в пене голосов,
в пустыне Мегафона и Билайна,
и чудище вращает колесо —
стозевно, обло, голодно и лаййй.
Приходит время... что ж ты от него
все прячешься, цепляешься за вещи,
которым имя — пища жерновов,
из полымя да в пламя перебежчик?
Зачем бежишь?.. Но, сколько ни проси,
как ни пытай скитальца, нет ответа,
лишь «мене, мене, текел, упарсин» —
колокола грохочут несусветно...

П Р О З А

Борис ГРЕЧИН



Борис Гречин родился в Ярославле в 1981 г., учился в педагогическом университете, кандидат педагогических наук. Пишет прозу, причем довольно необычную на вид.

Написал он довольно много, не опубликовал пока практически ничего, если исключить тексты в литературных альманахах и на веб-сайтах. Возможно, эта нестыковка между способностями, трудолюбием — и сложностью выхода к читателю является результатом того, что Гречин не просто повествует о жизни, но и пытается активно наставлять и проповедовать — да попросту менять эту самую жизнь. Причем не по готовым рецептам социального благоустройства, а исходя из духовного пилотажа, из высоких представлений о человеческом предназначении в мире, из формул религиозного служения... При этом в своих попытках автор бывает и наивен, и глубокомыслен.

Вот и повесть «Бамбино» посвящена духовному прорыву. У читателя она способна вызвать оторопь. Почему? Во-первых, «так не бывает». Ярославль, угадываемый как место действия, здесь представлен в некоем парадоксальном сдвиге. Во-вторых, автор во всем решительно не прав (особенно с точки зрения религиозного фундаменталиста); волосы встают дыбом, когда видишь, с какой легкостью он покушается на традиционные аксиомы религиозных учений. Но в каком-то ином смысле в этой повести неожиданно раскрывается нам откровение высокой любви, бескорыстного братства, человеческой солидарности. Откровение, противоречиво, но и убедительно явленное в личности заглавного героя.

Читателю можно пожелать заинтересованного чтения, желания соглашаться с автором и спорить с ним. Может быть, и на страницах нашего журнала. Стоит добавить, что повесть в рукописи была отмечена 2-м местом на региональном литературном конкурсе им. В. П. Бурича в Костроме.

БАМБИНО

Повесть

умбрия спит
умбрия спит под дождем все как было как прежде
умбрия спит и те камни ты их носил в платье строителя
умбрия спит и те камни

пуст наш ребенок наш дом и к двери нет ключей
ты зачерпни и налей

глина кувшин
глина кувшин гончара отпечатались пальцы на доме воды
глина кувшин сколько боли на каждом витке
глина кувшин сколько боли

камень он тверд как их сердце поверь
холодно псу открой дверь

вот он твой зверь
вот он твой зверь он в грязи и снегу ты отмой отогрей
вот он твой зверь открывай околет снаружи
вот он твой зверь он сожрет твоё время голодный с твоей же руки

свет равнодушный и слепящий блеск
мертвых духовно кто их пожалеет франческо?

Пауль Целан

Летом двухтысячного года мне позвонила девушка и, узнав, «вправду ли я пишу книжки», попросила о встрече. Из ее слов я понял, что она была ученицей некоего удивительного человека, собравшего при жизни узкий круг учеников, учеников в немецком смысле, Junger: духовных последователей. Она хотела, чтобы я написал его биографию. Примечательным было то, что умер этот человек, не дожив даже до своего двадцатилетия. Еще более примечательным было то, что девушка упорно называла его ласкательным именем — Бамбино («мальчик», «малыш» по-итальянски), а на вопрос, откуда это имя, сказала, как ни в чем не бывало: «А он раньше родился в Италии. Я знаю, что он был святым Франциском»!

Ученики пришли, как было условлено, в один хороший июньский день ко мне домой. Я принес Panasonic RX-CT870, поставил его на запись и исписал что-то очень много кассет. Когда закончились чистые, под нож безжалостно были пущены «Союз-20» и Наталья Штурм; ничуть об этом не жалею.

Валерия, Лола, Фазиль и Кристиан. Все они были моими ровесниками.

Было что-то удивительное и гармоничное в том, как они говорили: никогда не перебывая друг друга, а начиная, когда закончит товарищ. Но и меня ни в чем не пытались убедить, они просто рассказывали, и то, что они рассказывали, и сам спокойный тон наконец убедили меня.

Вначале я собирался опозитизировать образ и канву событий, разукрасить их в сентиментальном и полуфантастическом духе. Но мне пришло вдруг в голову, что настоящая жизнь Бамбино могла быть ярче и прекраснее всех моих скудоумных фантазий, и я стал склоняться к точной и подробной биографии.

Нужны были дополнительные источники. Некоторую сложность представило разговаривать двух молодых людей, имевших касательство к Бамбино: Евгения С. и Андрея М. Оба согласились что-то вспомнить о Бамбино, лишь когда я сумел убедить их, что эти болезненные для них воспоминания будут драгоценны. О Франциске они не хотели слышать ни звука.

Лишь с большим трудом я мог бы перечислить всех пытанных мной нещадно людей, вплоть до продавщиц, вахтеров и бармена «Шоколадницы» — мое упорство не останавливалось перед их недоумением и бранью и в конце концов побеждало — если они действительно хоть что-то способны были вспомнить (кто сейчас обращает внимание на блаженных?).

По рассказам Леры я смог восстановить картины детства Бамбино. Французский адрес Женевьев она случайно (конечно же, не случайно!) сохранила. Представившись *homme des lettres* и мало на что надеясь, я написал Женевьев письмо на плохом французском, продублировав его для верности на немецком, и через три месяца получил от нее (на хорошем французском и плохом немецком) пакет трогательных и мучительных воспоминаний. Деталь, которую я хочу упомянуть, может показаться сентиментальной пошлостью, и все же так было: в нескольких местах буквы потекли из-за слез.

Наконец, моим источником стали «Цветочки»¹ (в букинистической лавке, известной дивными редкостями, они стоили что-то больше ста рублей — не позор ли так наживаться на бедном Франциске?).

Эпilog я записал со слов Лолы — тем вечером она рассказала о том тихо и смущенно, и остальные слушали рассказ, боясь проронить хоть слово. У меня нет оснований подозревать эту девушку во лжи — и, кстати, три свидетельства этой встречи, три конверта и три письма, остались, написанные, несомненно, почерком Бамбино.

* * *

Жизнь Бамбино — жизнь удивительная по теперешним меркам, жизнь моего ровесника, человека, получившего в семнадцать лет то, что мы называем откровением, и за короткие пять месяцев (с сентября 1999 по январь 2000 года) сумевшего без рекламы собрать круг учеников и сплотить их, настоящих: искренних, преданных без остатка людей — и это без всякой фанатичности, без громких слов, без громов на головы неверных, одной лишь силой своего обаяния и уместности своего действия, одной любовью — и передать им новый взгляд на жизнь.

Жизнь Франциска Ассизского в новом рождении? Да! — пишу я и подписываюсь под этим. Не думаю, что Церковь снисходительно отнеслась бы к такому заявлению, которое,

¹ Цветочки святого Франциска Ассизского. М.: МУСАГЕТЬ, 1913; одно из современных изданий: Цветочки славного мессера святого Франциска и его братьев. СПб.: ММ [2000]. (Прим. ред.)

скажут мне, все же остается очень дерзким, поскольку оправдывает новое рождение христианского святого восточной концепцией перерождений. На это я отвечаю, что концепция перерождений является столь же восточной (тибетской, буддийской и индуистской), сколь и западной (каббалистической и пифагорейской), сколь и египетской (фараоны, подобно далай-ламам, рассматривались как одна перерождающаяся душа), то есть, вообще говоря, универсальной; что в самой Евангелии есть указания на нее, хрестоматийные места: именно то, где Христос говорит об Иоанне Крестителе: «И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти» (Матф. 11:14), где говорит о себе: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь» (Иоанн 8:58), и, наконец, где ученики спрашивают Спасителя, не наказан ли слепой за свои грехи (прошлой жизни), что «родился слепым» (Иоанн 9:2); что физики-академики РАН (Шипов, Акимов) определенно высказываются за существование практически «бессмертной», обладающей набором энергетических характеристик субстанции в человеке; что, наконец, истина одна и должна быть принята умом, не отуманенным слепотой догматического невежества.

Но, если и принять саму возможность перерождения, какими доказательствами располагаю я в пользу того, что речь действительно идет о новом рождении Франциска?

Первое из них — это сон Бамбино, поведанный Лере (и никому больше): стоит полагать, что сон, произведший настолько сильную перемену в человеке, не мог быть наваян простой фантазией, но должен был быть вещим сном. Детали этого сна удивительны, по крайней мере в том, что касается внешности Владыки. Тибетские верующие, участвующие в празднике Вайсакх (ср. Пасха, от евр. Песак), видят именно такой образ, но сведения об этом празднике настолько труднодоступны для всякого нетибетца (не будь нужным, и я бы, верно, не смог узнать о том), что я уверен: Бамбино никогда ничего не мог ни слышать, ни читать об этом.

Второе — это внезапная догадка Лолы, посетившая ее в тот момент, когда друзья видели Бамбино в последний раз: лицо Бамбино изумительно напомнило ей изображение Франциска Ассизского. Я разыскал то изображение со старинной гравюры в книге, названной Лолой («ЖЗЛ» в черном твердом переплете), и, сравнивая гравюру с фотографиями Бамбино, могу свидетельствовать о неувимом, но ясно ощутимом сходстве. (Полного сходства и не могло бы быть, поскольку при каждом новом рождении человек изменяется довольно значительно.)

Валерия не рассказывала Лоле о сне, и потому эти два свидетельства независимы друг от друга.

Третье, и самое главное, — это сама короткая жизнь Бамбино, которой не только многие эпизоды (например, эпизод с волком, описанный в «Цветочках» и повторившийся с собакой), но и сам ее дух, сам характер невольно заставляют поверить этому удивительному утверждению.

Спешу заметить, что сам Бамбино знал, что касается Франциска Ассизского, ровно только о его существовании, да и то, по словам Леры, из какой-то научно-фантастической повести, где было сказано лишь, что «св. Франциск тоже любил резвиться и ловить бабочек», а значит, не мог быть вдохновлен той жизнью и начать подражать ей.

И наконец, еще одно доказательство. Когда Лола проснулась на второй день знакомства с Бамбино, он читал за столом «Конармию» Исаака Бабеля, принесенную накануне ее дедом. Он оставил ее открытой на том месте, где читал, и больше не возвращался к ней: на рассказе о Христе и Деборе. Сам рассказ примечателен, но речь не о нем: я разыскал и «Конармию», и тот эпизод, и страничкой дальше место, где старый художник просит автора нарисовать его портрет (цитирую неточно, поскольку не имею текста под рукой):

«Можно в образе Франциска, с птицей... Это был совсем простой святой... Женщины любят Франциска, хотя не все женщины, пан...» Совпадение? Может быть. Но я вообще склонен думать, что ничто в мире не является случайным.

* * *

Каковы причины того, что произошло это удивительное рождение; зачем оно было необходимо, и почему случилось оно именно в России, в Ярославле?

Не приводя известных иным богословских доказательств, не восхваляя патриотически «мою великую родину», я просто укажу на закон справедливости, верный как для стран, так и для людей. В России нищета, неурядица и суматоха продолжаются с короткими перерывами со времен татаро-монгольского ига. Именно эта телесная нищета по закону равновесия и обеспечила, вероятно, редкостную чистоту и высоту русской художественной культуры. В этой стране, кроме того, возможно все, в чем весь мир и мы сами уже успели убедиться. Именно потому тот мировой духовный прорыв, который после индустриальной сытости так необходим и так многими ожидается, мог бы взять свое начало именно в России; некоторые обнадеживающие признаки позволяют надеяться на то, что этот прорыв все-таки может совершиться. «Праведники теперь выстраиваются в очередь на небесах, чтобы родиться в России», — сказал мне один современный духовидец, и в эти слова я верю.

Характер Ярославля, буйный, веселый, проворный, торгово-сметливый, независимый, может напомнить характер Ассизи. Солнце на этой широте не такое яркое, как в Италии, но в некотором смысле Ярославль — тоже солнечный город: ЯроСлавль, слава Яру, весеннему солнышку. Наконец, 1010, «официальный» год основания, указывает на одиннадцатый зодиакальный знак, на независимого и творящего революции Водолея, да и главная улица в городе — улица Свободы. Водолей традиционно считается астрологическим знаком нашей страны, веселого русского хаоса и ее мировой духовной задачи. Бамбино также был Водолеем.

* * *

Упреждая тех, кто захочет упрекнуть Бамбино в неимоверном высокомерии, я скажу так. Наш век разучился верить в пророков; мы сделали суровую до песка на зубах жизнь Спасителя детской сказкой. Еще мы обнесли его имя забором и, протрубив на всех перекрестках о его недосыгаемой божественности, забыли о его человечности, а он мыл рыбакам ноги. Индия лучше нас помнит, что богами становятся, и это — жестокое становление. Нет, Бамбино не был, конечно же, равен Спасителю! — он первый рассердился бы на вас за такую мысль. Но и он был сыном своей Великой и Нежной Матери, которой одной он приписал бы все волнение, что может вызвать эта книга.

Предыстория

Глава I. Начало

Поскольку мои сведения о детстве Бамбино отрывочны и скудны, то и эта глава обещает быть очень короткой.

1

Бамбино родился в 1981 году, через 800 лет после прошлого рождения, под знаком Водолея, ангелическим знаком, знаком гениев и также знаком России. В начале февраля, между Венерой и Меркурием, то есть между первой и второй декадой — нежную мечтательность сообщает первая и лукавый очаровательный ум — вторая. И, наконец, если быть точным — 4 февраля, в день Раммана: сильнейший и едва ли не лучший день зороастрийского календаря, наиболее благоприятный для женитьбы; без четверти полночь, как сообщила Лера.

Я не удержался от того, чтобы, за неимением многих других сведений, построить на это время карту рождения и пересказать ее вам, тем более что данные ее оказались необычайно показательны. Гороскоп, построенный на это время, дает Солнце и Луну, дух и душу, соединенными в середине, 15 градусах, знака Водолея: свободы и озарения. Середина Водолея (=человека, как и орла-скорпиона, льва и тельца, четырех сущностей Откровения Иоанна) считается точкой аватар, богоизбранных людей.

Восходил в это время знак миловидных и приятных в обхождении Весов (определяющий во многом внешность и характер), а заходил знак неистового Овна (определяющий образ любимой). Дно неба (дом и страна) и хвост дракона (накопленное душевное богатство) располагались также в Водолее, а середина неба (жизненные достижения) и голова дракона (задача жизни) — во Льве, могучем, царском знаке. Венера и Марс, любовь и способ действовать, лежали в этот день равным образом в Водолее, а Меркурий, сила разума, — в Рыбах: знаке мудрости и христианства.

Конstellация звезд в час рождения, как говорили раньше, была благоприятной: гороскоп изобилует тригонами и другими добрыми аспектами, на асценденте, точке восхода, лежит Колесо фортуны. Есть только несколько дурных знаков: Венера за Солнцем (что может, как и любая планета за Солнцем, указывать на травматизм), и квадратуры от нее к Лилит в Скорпионе (неприятной точке лунной орбиты в знаке смерти и сексуальных влечений), к Прозерпине — планете преобразования на границе Скорпиона и Весов и, наконец, к ретроградному Плутону: общественной планете, скорпионьей планете, лежащей в Весах, опять-таки знаке любимой. Юнона, астероид богини брачного союза, находится в Скорпионе, всего в двух градусах от Лилит.

Кто-то не признает недавно открытых планет, но между тем Хирон, показатель Весов и седьмого дома, дома брака, также имеет в этой карте плохой аспект: квадратуру к Солнцу — Луне, и сам находится в знаке дородного Тельца, в седьмом доме и в непосредственной близости к началу восьмого: дома смерти. Все эти знаки оправдаются в дальнейшем.

Бамбино получил при этом рождении имя Валеры Арсеньева.

2

Мама, хорошенькая мещаночка веселого нрава, закончила некогда иняз по отделению французского и теперь учительствовала кое-как, не унывая много. Отец был шофером. Они не очень ладили друг с другом, все же она любила его.

В кабине грузовика Валера сидел чуть не с пеленок, он знал наизусть все марки советских и союзных грузовиков и в семь лет ломал себе голову над четырехтактным двигателем. Все эти шестеренки, шкивы, зубчатые передачи и прочее давали пищу его фантазии, а та не знала удержу.

И читать Валера любил для того, чтобы скользить мыслями поверх книги, он порой дня два блуждал в лесу, выросшем из зернышка, который бросила единственная строчка. Эпохи бушевали в этой маленькой головке, и собственное присутствие и разработанный сюжет были здесь обязательны. Но даже читать необязательно было для этого — любая картинка, каждый образ везде вокруг бросали в него такое зернышко.

В школе он выбрал французский, и мама научила его лучше школьных клуш, и он уже классу к восьмому говорил совсем неплохо по-французски (как в прошлый раз) и любил листать французскую книжку (впрочем, их и было дома всего две: «Маленький принц» и «Дети капитана Гранта» — за каникулы он прочитал обе и перечитывал не раз). В остальном же он не показывал особых успехов, скорее от неусидчивости и излишне тонкой душевной организации, чем от недостатка дарования. Как ни странно, не давались ему не точные науки, а литература: необходимость разводить мораль на пустом месте и сочинять вымученные сочинения по вымученному плану. Он горько плакал над каждой четверкой, да потом и махнул на них рукой.

3

В детстве он вообще был очень склонен к слезам, пока домашние не вбили ему в голову накрепко, что «парень не должен быть нюней».

Чутких детей в школе (русской особенно) обычно держат за худосочных хлюпиков и не дают им спокойного житья, но с Валерой это счастливо обошлось: что-то такое светлое исходило от него, что, хоть и зная за плаксу, его как-то трепетно, оберегаемо уважали, и каждый был рад отогреться у этого маленького светильничка, и были и хорошие друзья, хоть в последних классах никогда совершенно близкие.

Девичье присутствие Валера почувствовал очень рано — без чувственности, его просто влекли эти милые и нежные создания, много более близкие по духу, чем мальчишки. Он испытывал удивительную радость при пустяшной весело-беспечной болтовне с ними, в которой уже сквозит детская влюбленность. Девушки узнавали себя в нем совершенно, без всякой натянутой мальчишеской хамоватости он говорил с ними, и вновь их ворожил этот тихий огонек, и вновь и вновь непринужденности общения мешала его чрезмерная влюбчивость.

Половое созревание настало для него уже в одиннадцать лет, со всей мукой переходного возраста. Сексуальные фантазии прятались днем и не давали спать ночью, мысль о возможной близости изводила бедное тело и несчастное сознание. К шестнадцати годам мысль о близости стала совершенной спокойной.

4

Кроме того, что читал запоем и слушал взахлеб любую музыку, пересмотрел кучу фильмов, Валера так и не выработал себе четкого увлечения. Ах да, еще он любил ночью путешествовать по диапазонам радио — удивительный, огромный мир! *Это* было его образованием. Кстати же, он сменил в детстве с полдюжины кружков, и всегда самые разные люди были вокруг, и он с каждым говорил, и именно это общение дало ему, сдается мне, много больше, чем все кружки вместе взятые.

К началу юношества Валера имел бездну всего в своей голове, кроме порядочной четкости мысли. Вновь он говорил на родном и французском, а писать вновь так и не научился по всем правилам — его письма этого времени выдают неведение пунктуации.

Внешность его описывают так: рост чуть выше среднего, мягкие, ласковые каштановые волосы (он отвоевал себе стрижку до плеч), лицо чистое, юное, удлинённым треугольником книзу, как у совершенного Водолея, не столь, пожалуй, красивое, как породисто вырезанное: скулы выдающиеся, чуть монголоидные. И главное, лицо светилось (след восходящих Весов?) редкой приветливостью, и особенно глаза, с глубоким ласкающим выражением. Голос, как говорят, почти не претерпел ломки и остался очень мягким, певучим, как альт на низких тонах, обезоруживающим, особенно его французский было приятно, даже упоительно слушать.

Таким застал Бамбино семнадцатый год жизни.

Глава II. Женевьев

1

Поскольку автобаза находилась в одном конце города, дом — в другом, а погрузочная база — вообще за городом у черта на куличках, а подниматься порою случалось ни свет ни заря, разумней было уже вечером отвести машину к подъезду.

Отец частенько напивался до «легкого поддатия»: он предвидел такие моменты и говорил Валере заранее. Тот шел к нему после школы — благо та рукой подать — его пропускали через проходную, с хитринкою улыбаясь, как заговорщику. Садился в нищей комнатке и читал что-то из сваленных в кучу брошюрок общества «Знание»: «Туринская плащаница: чудо или научная загадка?», «Человек — венец природы?», «Есть ли жизнь после смерти?».

Вернувшиеся из рейса дальнобойщики поили его чаем, и он ничуть не смущался забористостью некоторых словечек. Или залезал в диспетчерскую будку и смотрел, как вахтер нажимает на красную и черную кнопку — открывать и закрывать воротину, высокую, оплетенную поверху колючей проволокой: она с грохотом отползала в сторону, давая путь грузовику. Ему иногда самому разрешали открывать ворота, а после он уже прямо шел в будку и сменял вахтера. Работа несложная, но какой восторг: одним нажатием приводить в движение килограммов 100 стали! И еще само положение — привратник (как апостол Петр)!

Наконец приходил отец и, воровато ухмыляясь, протягивал ему ключи — как же это было тогда весело! Дружить с машиной Валера Арсеньев умел, будьте покойны. Любой четырехтактный разобрать и собрать — всегда пожалуйста. Перед редкими гаишниками он надевал безразмерную кожанку и нахлобучивал шоферский картуз на глаза. А вообще в их районе не водилось этих зверей.

2

Это было в начале октября 98-го года, он шел по шоссе с работающими дворниками и включенными фарами (уже темнело, и дождь хлестал как из ведра), когда заметил отчаянно голосующую фигурку.

Он затормозил, потянул ручку правой двери — и в кабину впорхнула хрупкая, вымокшая, как собачонка, девушка, и вода с нее бежала ручьями, а она, стянув скрещенными руками, как-то молитвенно, ворот курточки, лепетала, задыхаясь: *mon dieu mon dieu quelle horreur* боже боже какой огромный страшный грязный автобус она еле села ее сдавили со всех сторон сломали зонтик это хуже чем возят невольников на очередной

остановке ее буквально вытолкнули боже мой ни живой души вокруг будто это не город а тайга (une taïga) и еще этот ужасный дождь и... — и, осекшись, уже ничего больше не говорила, только смотрела на него жалобно.

— Девушка, — сказал Валера, переводя дух и мобилизуя свои языковые умения, — девушка, а если бы я не понимал французского?

Так Валера познакомился с Женевьев.

Женевьев была из пригорода Лилля, в Россию она попала по обменной программе, а вообще же так: однажды она оказалась с родителями в кафе с названием «Русская сказка», там были узорчатые палехские занавески, она смотрела на них и ей захотелось в эту страну, где девушки водят хоробыды по зеленой траве, пастушки играют на свирели под березками, залиvisto звенят бубенчики у тройки и по улицам ходят медведи. И еще ей хотелось выучить русский. Конечно же, русский она не выучила и не нашла здесь ни пастушков, ни медведей. Какая несчастная жуткая грязная Россия, боже мой — никогда она не могла взять в толк эту непонятную странную древнюю и грустную страну, и, слава богу, ей оставался здесь только месяц.

Все это она успела рассказать ему, и много больше. Тучи разошлись, Валера повернул угловое стекло — вечерняя свежесть проникла в кабину, в темноте зеленая приборная подсветка светилась ласково и по-дорожному ворожаще. Они въехали в жилой район, снова дождик накрапывал по листьям, Женевьев рассказывала об однажды слышанных «Садах под дождем» Дебюсси и подражала фортепьяно; глаза девушки блестели, ее живой голос звучал вовсе близко — чудесной сказкой осталась у Валеры в памяти эта поездка.

Открыв не без труда дверь, Женевьев взвизгнула перед высотой и ни за что не хотела спускаться (как она сюда забралась?); Валере пришлось выпрыгнуть и, обойдя кабину, осторожно спускать ее; нечаянно она, раскрасневшаяся, оказалась у него в объятиях.

— Mer-ci, mon chauff-feur, — пропела она, сняла его руки со своих плеч и быстро пошла к своему подъезду. Затем все же обернулась, весело подбежала к нему и чмокнула его в щеку — и уже после, не оглядываясь, побежала домой. Валера приложил пальцы к щеке: она горела.

3

На следующий день он ждал Женевьев в холле гимназии. Она говорила, что любит розы, но не ярко-красные, а нежных тонов, и вот он купил ей пять белых роз, каждую по цене его примерного месячного дохода, тогда как раз было превеселое время, когда доллар взлетел и цены напоминали послевоенные, нищая моя Россия!

Прозвенел звонок, и мимо пошли «гимназисты» — до чего заносчивые, самолюбиво-некрасивые, кичливые люди! Женевьев все не было. Он вдруг представил себе, что сейчас он простоит здесь еще час, потому что не знает ее расписания, и два, и три будет стоять, затем стемнеет, он пойдет плутать к остановке, втиснется, наконец, в троллейбус, придет домой в шесть вечера, его будут бранить за долгую отлучку и за то, что «не пообедал, а суп в холодильнике»... — и он ляжет в постель и будет тихо плакать в подушку.

Она вышла наконец и шла торопливо и невидяще — скорее, скорее прочь из этого неуютного места, — увидела его и слабо вскрикнула.

— Это... это для меня? — спросила она. Валера просто кивнул, и она просто подошла к нему и с усталым счастливым стоном положила ему на грудь свою светловолосую головку (у нее были очень прямые гладкие волосы; расчесывая их до пояса, она походила на русскую Олю).

Она рассказывала ему по дороге про свои дневные мучения и спрашивала: почему он плакал? У подъезда они вдруг взялись за руки, стояли, держались за руки и улыбались. Потом спохватились и договорились о встрече.

4

Женевьев пригласила его в кафе (для нас буржуйское удовольствие, но она так не считала) и говорила много, они много и счастливо смеялись, и глаза их блестели. Женевьев чуть разошлась от коктейля, а больше от свежей молодой жизненной опьяненности, он же — от близости красивой девушки из сказочной страны. И случилось в один момент так, что она, перегнувшись через столик, обвила его шею руками и поцеловала в губы, долго, упоенно. В этом нет бесстыдства, дорогой читатель, это просто другая культура, более свободная, это было сделано как шалость — но Валера застыл и не шевелился. Его... наверное, это его обожгло слишком горячо.

— Что ты застыл, китайский болванчик! — рассмеялась она. Валера не отвечал, и Женевьев заглянула в его глаза пристальней.

«Я никогда не забуду его глаз тогда, — писала она мне. — Будто я сломала лапку птенчику, и он глядел жалобно и бесприютно. Нет, не птенчику — будто бесконечно добрая умная грустная птица смотрела на меня так. Или будто это был маленький бедный святой в потертой дорожной накидке». Женевьев протянула снова руку и гладила его по щеке с удивительным участием — она сама не знала, что ее так глубоко тронуло, — а ему снова навернулись слезы на глаза, что-то последнее время он уже никуда не годился, и они спешно покинули кафе, молчаливые, жестоко смятенные. На выходе Женевьев обернулась и горячо попросила прощения, а Валера только смотрел и смотрел на нее, так что она в конце концов вынула свой платок и стала вытирать ему с виноватой улыбкой глаза, хотя в этом уже не было надобности, но этот ее жест вызвал слезы заново; «Laisse-moi, s'il te plait», — пробормотал он и отвернулся. До ее дома они шли молча.

При выходе из троллейбуса Женевьев поскользнулась и съехала бы чувствительно по ступенькам, если бы он не удержал ее вовремя и крепко.

— Не падай, — прошептал он, — пожалуйста, не падай.

У подъезда Женевьев обернулась, улыбаясь виновато.

— Распутная я девчонка, да?.. — спросила она. И, взяв его лицо между ладонями, стала целовать нежно и сильно. Валера положил ей руки на плечи, — она кивнула ему со все той же улыбкой, — он прижал ее к себе, и так они стояли, как после долгой разлуки, еще верных минут пять, прежде чем попрощаться.

5

Он встречал ее после школы, загуливая последние уроки, и снова дарил цветы (папашка был щедрый: пошли хорошие деньги). Листва рассыпалась щедрым великолепием; они иногда выезжали за город и гуляли по осеннему лесу, или шли на классический концерт (однажды побывали в кино, но убежали с половины сеанса, а в филармонию билеты были дешевые, и Женевьев любила красивую музыку, но слушала все-таки всегда у него на плече, не стесняясь соседей по ряду, и было вдвойне чудесно слушать за себя и за нее), или снова в кафе, если были деньги, или покупали булку, крошили ее и кормили голубей где-нибудь на трамвайной остановке, или просто, с потаенной тоской выискивая предлог, чтобы не расставаться подольше, вдруг обнаруживали перед собой всю зрящность

такого занятия и, рассмеявшись, еще долго оставались рядом друг с другом — просто стояли и держались за руки.

Женевьев возвратила Валере свободное дыхание и блаженную беспечность. Она могла идти по городу и распевать звонким, чистым голосом французские песенки, нимало не заботясь, как это выглядит со стороны, и, улыбаясь, оборачивалась к нему, спрашивая лукавым взглядом: «Ну что же, что ты не поешь?» — и в конце концов они пели вместе Дассена, Пиаф, Матье, Монтана, Гольдмана, Азнавура, Каас, загибая ногами листву, как в сентиментальном музыкальном фильме, и Женевьев весело смеялась над тем, как он перевирали слова, и поправляла его несчетное количество раз. Или она брала на свои деньги безумно дорогое вино в открытом кафе (родители переводили ей каждый месяц 200 франков, чтобы она в этой нищей России совсем не умерла с голоду) и в самом прекрасном расположении духа учила Валеру определять, сколько ясных дней было в году сбора урожая. В их месяце было много ясных дней: осеннее солнышко не оставляло их. Это был их солнечный месяц.

6

Сколько волка ни корми, он все в лес глядит — это к тому, что французская вздорная легкость давала в Женевьев себя знать: она и обижалась, и надувала губки, и умела ссориться из-за пустяков. Валера не принимал этого, он страдал, но внутренний его источник был слишком чист, чтобы свести себя с ума из-за девичьих капризов.

— Девушка, — воскликнул он однажды, когда Женевьев особенно легкомысленно зарвалась, и встряхнул ее за плечи, глядя ей в глаза горько: — девушка, ты знаешь ли, куда попала?

Они были на крыше шестнадцатизатяжки, куда забрались по небрежно открытой пожарной лестнице. Сев на бордюр и крепко сжав ее руки, он без особенных прикрас рассказал ей немножко о нашей несчастной стране. О том, что некий помещик в позапрошлом веке застрелился потому, как писал в предсмертной записке, что «жить честному и мыслящему человеку в России невозможно». О лагерных десятилетиях. О том, что дневную баланду на барже поливали сверху, потому что люди стояли впритык (а негры на невольничьих кораблях могли лечь, между прочим). О том, что по сей день в русской армии, как в славные времена, выбивают зубы сапогами, поэтому поступление в институт для юноши, пожалуй, не совсем дело вкуса. («Ах нет, бог мой, это все было раньше, это же советская система», — пробовала она возражать, уже робкая, как мышка. «Нет, черт возьми, не советская система!!» — воскликнул Валера, бросив ее руки.) О том, что каждая семья держит участок для овощей, как немцы после войны — что она думает, ее милый Валера не копал картошку? О том, что в деревнях женщины работают, как вьючные лошади, и глубокие старухи в сорок лет. О том, что их знакомство — вообще невероятная случайность (для сына шофера, кстати же!), и что она думает, чувствовали бы его одноклассники, увидь они его вместе с французской девушкой? — зависть до слюноотделения, а вообще об иностранцах принято здесь говорить как о «буржуях поганых».

Откуда в нем взялись все эти мысли? Кажется, он начал думать. Он кончил и поник, сгорбившись, с тяжелым сердцем. Женевьев стояла, глядя на него с распахнутыми глазами, с горестным ужасом. Ветер пошел над крышей — Валера показался ей химерой Парижского собора, каким-то страшным осудителем средневекового города.

Пошел дождь. Он укрыл ее своим дождевиком, они сидели так, пока тот не кончился.

7

Они возвращались домой на достойном «ЗИЛе» — Женевьев, смеясь, называла своего шофера mon Guy, намекая на Ги из «Шербурских зонтиков». Они легко повздорились накануне и уже давно все позабыли, но он не собирался мириться первым для одной девической блажи, вот еще! И она все не могла сказать, и так они сидели рядом в кабине, переполненные глубокой мучительной нежностью, тем более мучительной, что ехать оставалось только пять минуток. И вот Женевьев тихо начала песенку — ту самую, из «Шербурских зонтиков»:

*До свиданья, милый, не забудь меня;
В добрый путь, любимый, не забудь меня...*

И это чудное, кроткое, кающееся выражение... Валера не мог больше сдерживаться — он свернул в какой-то проулок, нарушая все правила (как, интересно, он здесь развернется?), и заглушил двигатель. Минуту они просто смотрели друг на друга — Господи, как же может быть красива девушка! Задыхаясь от счастья, он принялся целовать ей руки, затем глаза, губы, Женевьев, милой Женевьев, она тоже была, как в опьянении, она просунула руки в рукава его свитера, чтобы чувствовать теплые руки, это должно было завершиться первым чувственным опытом, горяче-туманящим, стыдным, больно-счастливым. Но что-то случилось, и слезы внезапно подступили ему к горлу, он склонил голову Женевьев на грудь и вздрагивал от тихого плача, она не понимала сначала и гладила его, пораженная, растроганная, по голове, и вдруг ее тоже захлестнуло это, огромное, щемящее, слезное, неуместимое в груди, она разрыдалась, и ему теперь нужно было утешать ее, и полчаса они еще хранили друг друга в объятьях, дрожащие, невыразимо тронутые тем, что они впервые осознали, что за невыносимо, неудержимо большое их подчинило.

Оставалась одна неделя.

8

Они уже заранее простились, но у Женевьев было еще полчаса, и трамвай проходил мимо его школы, — она сорвалась, бросилась со своим рюкзаком ко входу напрямик.

Звонок уже прозвенел; но она взбежала на второй этаж и по счастливейшей, невероятной случайности сразу увидела открытую дверь, учитель еще не вошел, она влетела в класс; Валера стоял у подоконника и, смеясь, кому-то объяснял геометрию, вокруг него собрался кружок; «Ги!» — крикнула она, он увидел ее, и его обстоящие заметили, как вся веселость высохла с лица за один миг, и даже губы пересохли. «Тихо, — сказал он всем, — тихо», — и они оробели.

Они столкнулись у классной доски и стиснули друг друга в объятьях так крепко, словно их растаскивали; все несказанные за месяц слова она хотела сказать немедленно, немедленно. Класс замер, класс всегда гудит до урока, но все замерли тут же и ловили, что она говорила, хоть едва один умник мог понимать беглый французский. «Я буду любить тебя всю жизнь, — говорила она, — всю жизнь». Она не хотела ничего слушать и мешала с поцелуями слезы, и целовала его без конца. «У тебя поезд», — успевал он сказать, она его не понимала. «Да иди же!» — воскликнул он наконец горько. Она улыбнулась понимающе и побито, со слезным комком в горле, подняла свой брошенный рюкзак и выбежала прочь.

Он бросился за ней, чуть не сбив с ног учительницу. Та уже вплывала в класс с журналом под мышкой, но кого это заботило, все кинулись к открытым окнам, день был

случайно теплый. «Стой!» — вскрикнул он, выбежав; Женеьев была уже за школьной оградой — каменное сталинское детище с чугунными решетками и чугунными звездами на столбах. Женеьев обернулась, вскочила на цоколь и протянула ему руки через решеточные прутья.

— Нам все равно разлучаться нужно, мой милый, мой милый Ги, — сказала она, и еще молчала, и улыбалась ему. — *До сви-дань-я, милый: вспомнишь ли ме-ня?...* — спросила она, выпевая слова на мелодию из «Зонтиков» и с грустной шутливостью намекая ему на то расставанье.

— *В добрый путь...* — продолжил он; тоскливо улыбаясь, они поняли друг друга.

Ветер бросился ей в лицо. И, еще долго-долго не отпуская его пальцы, она выпустила их наконец и, соскакивая с камня, бежала к трамваю.

Глава III. Университеты

1

Валера тосковал долго и тосковал ужасно. Их письма друг другу сначала захлебывались какой-то многословной мучительной нежностью, потом, через эту же самую мучительность, и перестали быть многословными, точно оба они разом вдруг поняли, как бесполезно и жестоко этими воспоминаниями растравлять друг друга.

Валера тосковал тем более еще безутешно, что никакого светлого лучика вокруг не обещалось. Я очень люблю мою грустную страну с ее тоскливой грязью на каждой улице, но, боюсь, чутким душам вполне гадко бывает здесь. Как назло, все несчастья посыпались вдруг на него: норовили прижать ему дверью ногу троллейбусы и обхамить кондуктора и продавщицы. И как же, ох, ему опротивели все окружающие его бритоголовые балбесы и девушки, уляпанные помадой! Не то чтобы он с кем-нибудь поссорился — этого не знали за Валерой Арсеньевым, — но ему становилось грустно и пусто.

Будь Валера рожден совершенно под Венерой, он мог бы за это время превратиться в тихонького и несчастного князя Мышкина, но, слава богу, жизненная веселая ясность была слишком сильна в нем. Все же эта любовь оставила в нем борозду очень глубокую.

Он не забылся ни в чем определенном, он чувствовал себя одинаково бесприютно везде, да нигде, впрочем, особенно этим не тяготился. Он с печальным удивлением и как будто в первый раз снова смотрел на все вокруг, и мог оставаться по несколько часов хоть на автобусном сиденье, катаясь кругами, и глядел за окно, и все думал, свободного времени у него было хоть отбавляй — другие ведь выкидывают его на всякую ерунду, хоть на собачье беганье за золотой медалью в выпускном классе, например! — и он мог думать.

Совершеннолетие его прошло тихо и горько.

2

Но пришла весна, и озорной, счастливый Меркурий снова взял верх, и случилось еще вот что.

На местном ТВ была элитная интеллектуальная игра для элитной же молодежи, и называлась она как-то вроде «Брейн-сторминг» или «Эрудишен» — неважно! Распорядитель случайно привлек в игру и команду школы, где учился Валера, — заведения, ничем не блиставшего. Так Валера попал в команду и через то завел знакомства.

Увидев, что есть веселые и бойкие, беспечные и щедрые люди, что стригутся наголо и вставляют колечки в нос не от звериной тупости, а «как в Европе», что могут щеголь-

нуть ученым словечком, которое дураку и не выговорить, что, наконец, даже галстуки носят (эти галстуки особенно его восхищали), Валера был очарован совершенно. Принят он был в общество легко, за отсутствием европейских шмоток отцовским долгополым пиджаком и шейными платками соорудил себе образ «экстравагантный и романтический» — и пошла веселая пора! Теперь на целую весну — да и вправду, сколько же можно грустить?

Кутили необыкновенно. Деньги вдруг стали появляться (папашка расщедрился, умилившись на золотую молодежь: Валера, уплетая свою тарелку за вечерним ужином, с такими восторженными глазами расписывал свои похождения, что тот только покрхывал от удовольствия) и расходились невероятно легко. Валера оказался, пожалуй, самым щедрым из своих камерадов. Все уже узнали за ним эту радостную детскую беспечность, так что даже из пьянки он со своим звонким смехом делал очень, по крайней мере, симпатичную пьянку, и уже при нем не ругались, и многие привязывались к нему — девушки особенно. Это стало каким-то невозможным донжуанством: он имел одно время три свидания на дню, и каждую любил без памяти. Безумная, фантастическая, счастливая весна! Но ему снова стало грустно; можно догадаться, что так и должно было стать.

3

Прочтя «Цветочки», я увидел: и тогда случалось то же самое. Изумительным мне кажется один случай, он повторился через 800 лет почти в точности.

Это было летом, когда Валера беспричинно вновь становился уже все грустней и грустней. Они кутили до полуночи на чужом выпускном, потом вывалились на улицу всею светской компанией и вот что придумали: подваливаясь к каким-нибудь прохожим, притворяться в дымину пьяными (а и притворяться стоило немного) и орать песни во всю глотку и пугать таким манером честных людей, и так проволоклись они уже всю улицу, довольные собой донельзя. Свернули в тихий переулок (всех очень насмешило предположение о нехороших встречах в таких переулках, и они ввосьмером именно и отправлялись разыскивать своего несчастного грабителя) и загорланили вновь для пущего веселья. Валера не принял участия и еще немного шел с ними, когда вдруг просто остался стоять посреди улицы. Не сразу заметили; стали оборачиваться и ободрять его криками на итальянский манер. Он все стоял, ответив только Риточке Салаховой, звезде компании, на вопрос о причине его действий:

— Не то...

— Э-э, лю-уди! Да ему девочку хочется, я смекнул! — завопил кто-то очень образованный, и сейчас же впережку с пьяноватым смехом послышались многочисленные «О-о-о». Парни трагическим: «Валерка, брат! Давай, что ли, прощаться, пропащая душа!» и с обильным изображением слез полезли к нему лобызаться.

Валера стоял с сумрачным лицом, вдруг вырвался из их рук и быстро пошел прочь. Рита одна побежала догонять его. Когда он отошел уже дома за два, компания притихла, он обернулся и остановился. Она подбежала к нему и, взяв за руки, заглянула просительно в глаза: не то что здесь была какая-то особая любовь, но Валера был самым милым мальчиком в ее компании, и, кроме того... может быть, жалость ее взяла в этот момент?

— Я иду искать мою невесту, Рита, — сказал он ей шепотом, серьезно. — Она должна быть лучше всех. Я все оставляю ради нее. Пустите меня, Риточка, и беги назад.

4

Тяжелая тоска и странная стесненность в груди одолели его на все дальнейшее лето. Как потерянный, он шатался по городу — лето было жарким, пыльным, невыносимым — и сам не знал, что его томило.

С сердечным волнением он заходил в церкви и останавливался в смущении: ему хотелось становиться на колени, а люд был вокруг суровый, угрюмый и невесторженный. Ему хотелось молиться сладко и горячо, а вокруг шевелили губами беззвучно и строго. Костяные черные святые складывали для благословения худые пальцы и смотрели угрозно и неродственно. Он выходил со скребущими на сердце кошками, без толики благодати.

Однажды — уже в начале сентября — он оказался рядом с церковью, которую за редкие фрески превратили в музей. Он вошел: какая-то холодная суровая вознесенность охватила его немедленно. В церкви не было ни души, она сама была невелика, но с невероятно высоким, просторным куполом, полумрак был здесь верным и мудрым стражем. Он опустил здесь наконец на колени и замер, отпуская синюю тоску устремлять душу ввысь.

Но тут вошел бойкий бородатый дядька с фотоаппаратом через плечо — Валера едва успел подняться, отряхивая пыль с колен, — взглянул на него любопытно и вдруг с оживленной жестикуляцией стал объяснять, какая фреска в каком ярусе идет, какой артелью написана и что все это «страшно интересно»! Валера покорно кивал, наконец дядька ступешевался, понял, что вошел не к месту, торопливо попрощался, потряс руку, уверил еще раз в том, что «не хотел мешать», и вышел. Валера пожал плечами и вышел тоже. Его синяя тоска успела стать черной.

5

Одним днем, выходя из троллейбуса, Валера пошатнулся от толчка сзади и, наступив какому-то молодому человеку на ногу, чуть не сбил того с ног. Он вырвался, скача на одной ноге, из толкучки, с облегчением вздохнул и обернулся. Молодой человек все смотрел на него. Ему стало так стыдно, что он подошел и немедленно, быстро и смущенно стал говорить самые сердечные извинения. Тот сначала смотрел, недоумевая, а потом отвечал тоже смущенно, что совсем нет, напротив... — а троллейбус, в который молодой человек хотел садиться, закрыл двери и отчалил. И тут они оба примолкли ненадолго, рассматривая друг друга с большим интересом. Теперь Валера успел уже разглядеть своего собеседника, как следует.

Это был юноша в темном берете, очень достойной наружности, с черной остроконечной бородкой и с зонтиком в подобие трости — другими словами, Алексей Мстиславович М. собственной персоной. Валера заговорил снова и в одну секунду наговорил тому самых лестных слов в похвалу его наружности и достоинства, чем сей денди оказался смущен и польщен.

Каждый все больше очаровывался своим собеседником. М. зашел за Евгением С., своим самым близким другом, и гулять они продолжили втроем. Дойдя до открытого стадиона, приятели сели на лавочке и проговорили несколько часов увлеченно; под конец Евгений читал слабым отрешенным голосом свое «Подражание Верлену», а Алексей Мстиславович — вдохновенно — свою поэму в славянском духе.

Так Валера попал к интеллектуальной молодежи. Эти редкие создания в России хоть поубыли в последнее время, но все же не перевелись — те самые светлые, думающие мальчики, которых мы находим у Тургенева и Достоевского. Этот круг был еще более

узким и уж вовсе замкнутым, чтобы оградить свою замечательную редкость: один социалист, один безобидный и дурашливый поэт, один едкий и циничный философ и, самое главное, наши друзья. Во-первых, сам М., прадедушка «которого получалъ 500 рублей золотомъ отъ государя императора», очень положительный и не без спеси молодой человек, с душой, впрочем, нежной и тонкой, писавший хорошие русские поэмы в духе Кольцова. И, во-вторых, Евгений, томный, усталый юноша, исхудалой манерностью красивый, но это все к нему шло; с философским равнодушием к жизни и безгласностью к вопросам быта; любивший долгие плетеные говорения и ничего больше решительно не любивший, как это вроде бы естественно для человека искусства, — он играл на кларнете и был композитором (да, вот так!), ленивым и талантливым.

Само собой, Валера был просто в щенячьем восторге.

Его приняли легко (Валера вновь скоро всех к себе привязал и сам во всех переволблялся), не то чтобы совсем на равных, потому что его абсолютная детская беспомощность во всех мудреных спорах наших образованных людей позволяла, конечно, над ним улыбаться, но все же он вызывал прямо-таки сердечное умиление, и без него уж становилось даже скучно. Можно догадаться, что Валере Арсеньеву самому принадлежность к русской думающей молодежи просто голову кружила. В тот, первый, вечер он летел домой как на крыльях.

6

Через три месяца ему вновь почувствовалось дурное. На каком-то литературном сборище Валера читал свой сокровенный, взволнованный, написанный в воспоминание о Женевьев рассказ, написанный с болезненной откровенностью — такие вещи и читать, и слушать не очень уютно: они слишком интимны. Все замолчали по прочтении, как пристыженные.

Евгений вдруг развеселился и заявил, абсолютно без всякой задней мысли, дескать, наш добрый товарищ, между нами говоря, несколько излишне возбужден на эту тему, а вообще же все эти романтические сопли из него с детства еще не выветрились — и дальше стал разглагольствовать о фрейдизме в литературе.

Валера смотрел на того во все глаза и просто не понимал, даже обидеться не успев, просто не понимал: господи, да что же с ним, зачем он это говорит? Уж от своих самых близких друзей он не ждал, чтобы...

Ах, да так прост был Валера, так светел, так ему хотелось никого ни капельки не обидеть, и не представлялось, как же без такой светлой душевности между друзьями можно иначе! И в своих друзьях, этих-то лучших русских людях, стал он обнаруживать вдруг и какую-то мелочность порой, порой что-то вредное, самолюбивое, этакое желание потешить себя язвинкой при вполне хорошем дружеском разговоре — зачем же, в самом деле?

Уж и Алексей Мстиславович посмеивался как-то жалостливо над «нашим романтиком» — вот что его обижало особенно горько! (Не глупым же восторженным мальчиком и не идиотиком же он был, в самом деле!)

Правда и то, что какая-то тургеневская влюбленная очарованность стала не оставлять его. Женевьев могла быть ей поводом, но сама она была не по Женевьев — образ Женевьев ее насытить не мог — по чему-то гораздо большему и совершенному, наверное, даже не девушке, хотя влюбчивой натуре это представлялось именно в девичьем образе: вечной, совершенной милой. Это было что-то прекрасное и угадываемое издавна: прекрасное, и, Господи, какое далекое! То, что наполнило бы его разом и осветило бы всю

жизнь светом, отличающимся от теперешнего состояния души, как напалм от сумерек... И над этим неужели стоило смеяться?

И еще одна черта стала больно поражать его: дорогие его друзья имели соприкосновение с самым высоким, самым лучшим — и почему же ничто не трогало их, не восхищало настолько, чтобы изменить жизнь в корне? Читали Солженицына — и не плакали над бедной своей страной? Заводили речь о Достоевском, пронзающем до основания, жгущем сердце, на минуту даже становились серьезны и хороши — и могли дальше, смеясь, болтать о своей околхудожественной дряни? Имели Рахманинова в фонотеке, которого иные вещи он мог слушать только один, чтобы никому не показывать волнения, — и ставили его, как шарманку, на своих раутах!..

Он почувствовал вдруг, что невероятно многому ему нужно научиться, и стал брать книги из библиотеки, и читал много, очень много, художественные вещи и богословские трактаты, духовидцев средневековья и духовидцев современности, и не отпускал, пока не начинал проникать в них и находить созвучия в себе; читал еще с февраля и все лето 99-го и все питал эту растущую куколку, свившую гнездо в его сердце.

Он брал из фонотек своих интеллектуальных друзей творенья классиков и слушал их очень серьезно; начал с азбуки и дошел до мистики Скрябина и Рихарда Штрауса, до его «Смерти и преображения» — смерть и преображение, какая правда в этом сочетании слов! Гусеница также умирает: кокон куколки тверд снаружи, но внутри он стал зародышевой жидкостью с ее медленными течениями, без намека на живое существо, только точка сердца пульсирует в ней.

Кто знает, что творилось с ним вечерами, когда его просвещенные товарищи ездили по дачам, прыгали через костер с сельскими девушками, смеялись над ним за его монашество — вполне были счастливы, одним словом. Но совсем без чувства счастья ощущал запершийся безвылазно и закрывший от солнца окна своими темно-синими шторами и «образовывающийся в священных вещах» Бамбино, как пухнет без многой пользы его высокоумный лоб и как все его духовные кладези только растят тоску невероятную. «Боже мой, да что мне в них! — готов он был воскликнуть порой. — Возьми их все, они не мои, возьми их насовсем, сделай меня снова ребенком!»

Для отдыха он взял себе Роллана, на французском, только для отдыха, но — странное дело! — натолкнулся на «Жизнь Рамакришны», и глубоко его поразили этот божий безумец, Рамакришна, говоривший со своей Кали, с Матерью Вселенной так просто, как мы с тобой. «Умей я так, господи», — сказал он себе и погрузил лицо в ладони после прочтения.

Глава IV. Преображение

1

В День города он ехал в автобусе домой, а рядом с ним покачивался да кривлялся пьяненький мужичишко, будто разминая мышцы лица, а потом вдруг вынул из кармана кассетный плеер — наверное, только что купленный — и стал на свою покупку просто умиляться, и ухмылялся глупейшим образом. «Господи, — скривился Валера, — вот ведь нашелся дурак с писаной торбой... как уж и интеллектуалом себя сейчас вообразит». И тут так давно зревшее как опалило его: «ВЫ-ТО ЧЕМ ЛУЧШЕ, ВЫ, ИНТЕЛЛИГЕНТЪЕ ПЛЕМЯ, ЧТО НОСИТЕСЬ СО СВОИМИ БОРХЕСАМИ, КАК ПЬЯНЫЙ МУЖИК С ПЛЕЕРОМ!» Необычайно горько ему стало — он вышел из автобуса и шел пешком до дома, с колотящимся сердцем, дыша тяжело.

2

Домой Валера попал в самое неподходящее время: родители зло обсуждали какую-то мелкую бытовую дрянь. Семейный скандал, наверно, зрел: к нему вошел отец (в подпитии, но мыслил вполне трезво, это подпитие только злости ему давало) и стал ни с того ни сего расспрашивать, где это он бывает? «Опять верно у каких сектантов был чаво мычишь? вырастили чистоплюя интеллигентика вшивого на отца-мать теперь и не посмотрит — ТЫ ЗНАЕШЬ ЧТО ТВОЙ ОТЕЦ БАРАНКУ КРУТИТ ЗНАЕШЬ ДА?!»

Он уже кричал, встав, страшный, багровый. Вбежала мать и тоже смотрела на Валеру испуганными, будничными, глупыми глазами. Валера вдруг вскочил, вырвался в прихожую, накинул дождевик и выбежал прочь, сдерживая рыдания — боже мой, у него ни одной близкой души не было везде, везде, во всем свете!

3

Как безумный, он шатался по городу, не видя машин, разрезая толпы, — какие-то хмельные девчонки пытались заигрывать с ним и бросали что-то насмешливо-порочное вслед, какие-то мальчишки, от горшка два вершка, кричали ему весело дрянные слова, просто так, для своей взрослости, и тоже смеялись.

Он набрел на марширующих курсантов и невидяще вошел в их взвод, — его затолкали, начали давать тычки и орать на него все громче, а потом вдруг как-то расступились от него во все стороны, как от чумного, дали ему дорогу, а он пошел дальше.

ЕГО ВДРУГ ОДОЛЕЛО ВЕЩЕЕ ЗРЕНИЕ!

Перстами, легкими, как сон, его зениц коснулся кто-то, нельзя сказать, чтобы очень приятный подарок — он стал видеть суть каждой вещи и человека, всю грязь, спрятанную внутри, все следы прошлых воплощений. Откуда эти мысли, он сам не знал... Он должен был сейчас воспламениться изнутри, как отравленный технецием, и люди останавливались уже и с любопытством смотрели на него, похоже, ждали, когда он сейчас вспыхнет.

— КАЛИ!!!.. — возопил он громким голосом. Прохожие шарахнулись от него. Он сел на асфальт с подломившимися коленями, скорее, шмякнулся, как мешок с костями, и прошептал: — Забери меня отсюда, возьми целиком, женщина с темно-синей кожей².

Два милиционера двигались к нему. Он быстро встал и побежал от них к остановке, ввинтился в толпу штурмующих автобус и сумел стать последним вместившимся, двери закрылись, и сельдевозка тронулась натужно. Выходящие толкали его на всех остановках, он все терпел, пока не освободилось место — он сел на него, закрыл глаза и пробыл в оцепенении, пока не приехали на конечную остановку. Толпа вытряхнулась из автобуса и скоро рассосалась: мгновенно стало жутко тихо.

Уже стемнело, дома стояли высокие, как китайская стена. Он приехал в незнакомую ему часть города, на окраину, тут, похоже, начиналось поле: монгольская степь. Луна уже светила вовсю, над всем царил дом из красного кирпича, этажей в шестнадцать.

Он с четвертой попытки подобрал код на замке (нужные кнопки на таких замках прожимаются с легким сопротивлением: для тех, кто не знает), доехал в грузовом лифте до последнего этажа. Люк на крышу не заперли. Он вышел в прохладную звездную ночь. Подложив сумку под голову, лег на спину и так заснул.

² Речь идет об индуистской богине-матери, символе разрушения. Кали разрушает невежество, поддерживает мировой порядок, благословляет и освобождает тех, кто стремится познать Бога. (Прим. ред.)

4

Сон Валеры мне известен; он не поведал его никому, кроме Леры.

Первое чувство было, что солнце уже взошло — там, наяву, взошло солнце. То, что он спит, он знал, и между тем здесь все было таким же настоящим, и больше, он почуял это с восхитительной четкостью.

Предметы вокруг стали постепенно проступать. Он был в винограднике, в междурядье; солнце и здесь только взошло, и утро дышало удивительно нежное, утренняя белая дымка лежала. Вдалеке казался храм, еле угадываемый. Он шел к нему, вверх, под небольшим уклоном, замечательную легкость чувствуя во всем теле, и стало заметно, что кто-то другой шел ему навстречу.

Человек этот был, кажется, в желтом — да, в желтом, вроде бы — и уже, наверное, длинном одеянии, свободно ниспадающем, подобно тоге, и правая рука оставалась обнаженной, с черными, разделенными на прямой пробор и зачесанными ото лба назад волосами, с глазами глубокой синевы, с выражением лица мужественным, величественным и светлым. И, как он шел навстречу, Валеру уже начало охватывать робкое и сладкое предчувствие.

В одно мгновение он оказался совсем рядом — необычайно высокий, властительно выше его, как взрослый выше ребенка, он, Наделенный добродетелями, Сиддхартха, он, Царственный отшельник, Шакьямуни — Гаутама Будда.

— БУДДА!.. — воскликнул он по-детски от радости и, беря его руки, прижимал к себе к лицу. Затем опустился на землю. Владыка остался стоять.

Нужно сказать, что никогда Валере не приходила в голову мысль, что может быть какая-то религия «ложной», и, хоть зная о том совсем мало, он чувствовал всегда к Гаутаме Будде нежное почтение и уважение.

— Недолго пробуду с тобой, дружок, — сказал Владыка с благоволением.

— Хорошо, хорошо! — воскликнул Валера. — Чем обязан чести Тебя видеть?

Владыка улыбнулся.

— Две причины есть тому, — ответил он. Подняв голову, он произнес спокойно (так мне передала Лера): — Пусть прочтут о нашей встрече и пусть примолкнут на время сторожевые шавки, сеющие раздор между религиями. Неужели ссориться друзьям?

Валера радостно кивнул, понимая.

— И, друг милый, неужто Спасителя ожидал к себе? Не смог бы и говорить с ним от восторга, и совсем бы тогда закружилась твоя головка. Обо мне же не знаешь много и не питаешь особого респекту, — сказал Будда, вдруг сменив тон, самым ласковым образом, и Валера, застыдившись, опустил голову.

— Нашу общую Родительницу просил о себе, — услышал он над собой звучащий голос, — и примешь испрошенное покровительство. Вновь, как и прошлый раз, готов к высокому служению — оттого принимай вновь его тяжесть и его счастье. Так пусть будет.

Он опустил ему руки на голову, благословляя; Валера совершенно и ощутимо запомнил это чудесное прикосновение.

— Желает ли еще спросить? — прибавил он, когда Валера поднял глаза.

— Смогу ли я работать, как Он хотел? — спросил Валера, замирая от тихой нежности и имея в виду Спасителя.

— Да, — отвечал Владыка с улыбкой, — крестной тропкой пройдешь.

Он обернулся и пошел к храму, что стал вдруг совсем близко — это оказалась сельская церковь в романском стиле, во Франции или Италии вы встретите такие.

— Постой же! — воскликнул Валера тут; Владыка обернулся. — Кем я все-таки был прошлый раз?

Насмешливая искра мелькнула во взгляде вопрошаемого. Он вернулся и молвил с улыбкой:

— Боже, что еще ты за ребенок... Бамбино!..

Будто какое-то сладкое воспоминание шевельнулось в груди Валеры.

— Бамбино, Бамбино... — забормотал он улыбочиво и смущенно. — На каком хоть это языке?

— На итальянском, малыш, — сказал Владыка. И с улыбкой добавил терцину в стиле Данте:

*Ты приучен к монашеской Аскезе,
В Италии был некогда рожден,
Твой древний городок звался Ашези.*

Все заколебалось, и стремительное налитие тяжестью почувствовалось, и вот тяжесть уже стала вполне равновесна земле и привычна, и он мог ощутить под собой бетонную крышу. И Бамбино открыл глаза, а над ним все так же светило солнце.

5

Он не помнил, как спустился: помнил только, что тело не чувствовалось сразу, как будто все затекло, — оно не болело, просто не чувствовалось, и ему пришлось верных пять, а то и десять минут вспоминать его, вспоминать, как двигать руки и ноги; ждать, пока по телу не побежали горячие мурашки.

Все это было незначительным. Устойчивое, ровное, теплое чувство благодати не оставляло его: ему не мешало ни долгое время ожидания, ни уличная брань, ни что-то иное.

По дороге домой он сделал три открытия.

Первое из них произошло, когда его выбрала кондукторша. «Не дури, мальчик, — сказала она в ответ на предъявленный проездной, — кончился уж давно месяц. Плати по-хорошему». День города в том году праздновался 29 июля. «Какое сегодня число?» — спросил Валера у соседа. И получил ответ: «Первое августа». «Как странно, — подумал он, связывая слова по-детски, — первое Августа. Первый день императора». Но, выходит, он проспал почти два дня с половиной?

Второе было таким. В трамвае пышная дородная дама поднялась и, озираясь на Валеру с неудовольствием, шумно дыша, двинулась к выходу, бормоча: «Экий ароматный, тоже мне...» И на выходе брякнула довольно громко, ни к селу ни к городу: «Голубые все пошли!..»

Лежа на крыше два дня, и правда, можно провонять чем угодно... Валера принялся, затем обернулся в поисках соседа сзади — это оказалась достаточно симпатичная девушка — и спросил ее напрямик:

— От меня чем-то пахнет?

— Да, — ответила она, не скрывая улыбки. — Вы надушились, или вас надушили. Не так чтобы очень сильно, но чувствуется.

Валера принялся еще раз, затем понюхал зачем-то запястья рук — он ничего не чувствовал.

— Я ничего не чувствую, — признался он откровенно, — я не помню, где это меня так угораздило... Что это за одеколон, как вам кажется?

— Это «Первоцвет», духи, — заявила девушка. И, видя его обескураженное лицо, расхохоталась. — Ландыш, — сказала она ему, — духи с запахом ландыша.

6

Хотя дома и привыкли к тому, что он (раньше) частенько ночевал у приятелей, но, конечно, сильно переполошились его отсутствием и встретили с радостью, слезами и упреками. Он сослался на то, что немножко перекутили и долго отходили потом. «Нет, мам, девушек не было, — успокаивал он, — нет», — наскоро и с удовольствием завтракая в масштабах обеда, затем залез в душ и долго с наслаждением стоял под свежими струями.

Попав, наконец, к себе, он опустился на постель — усталость и некоторое бессилие все-таки давали о себе знать, — положил голову на локоть и с удовольствием поспал еще часок.

Проснувшись, он был поражен тишиной вокруг и ясностью солнечных лучей, проникающих в комнату. Улица и день казались застывшими.

Он расстегнул сумку с тем же — не то что нетерпеливым, а скорее законным — ожиданием, с каким апостол Петр искал бы у себя ключи от Небесного царства. Там оказалась, впрочем, только книга, «Гюнт» Ибсена. Лег на кровать и погрузился в чтение.

Теперь обнаружилось еще одно: мощь и одновременно детская непосредственность ума, скорее фантазии, нет — понимания, ясно проникающего даже за строчками перевода в первоначальную мысль и архетип этой мысли, связующей до этого разрозненное и одновременно не теряющей, как раньше, единую нить повествования.

Да, это должно было дать разгадку. «Сольвейг, — сказал он себе, — SolVia, солнечный путь, и SoloVia — одинокий путь — это моя цель, а Петер Гюнт — ищущая душа, я сам. Его имя разорвано, а ее едино. Как они соединятся?»

Солнце проделало верную четверть своего дневного пути, но и Бамбино близился к концу книги. Еще не было семи, когда он дошел до тех почти самых последних строчек, где Сольвейг говорит о Гюнте:

МАТЬ Я ЕМУ И ЖЕНА, А ОТЦОМ ИМЕНУЕТСЯ ТОТ,
ЖИЗНЬ КТО ДАЕТ СВОИМ ДЕТАМ И ВСЕМ ОТВЕЧАЕТ МОЛИТВАМ.

«Стоп, стоп, стоп, не так быстро», — сказал Бамбино и поднялся на кровати. Оно потекло внутри неудержимо, как будто какая-то часть существа прорвалась, лопнула, как воздушный шарик, и впускала внутрь: похоже сперва на только одну холодную, освежающую каплю после умственного зноя, после которой идут две, четыре, затем струйка, ручеек, затем влага в избытке, затем потоки, затем море, затем океан!..

Я ЗДЕСЬ, ЛЮБИМАЯ (но было ли здесь и теперь, был ли один и другой и не стало ли все одним?).

Я — ЭТО ТЫ.

СЛЫШИШЬ ЛИ ТЫ ТЕБЯ?

ДА, ТАК.

ТОГДА ГОВОРЮ ТЕБЕ:

СОБЕРИ ВСЕХ МОИХ ПОД СВОИ КРЫЛЬЯ,

ВСЕХ ТВОИХ ПОД МОИ КРЫЛЬЯ,

ВСЕХ НАШИХ ПОД НАШИ КРЫЛЬЯ.

Это был первый раз, когда Бамбино услышал Ее голос, и первые Ее слова.

Цветочки, или истории о Бамбино и его друзьях

Я выбрал из этого периода жизни Бамбино самые яркие моменты.

I. Пчелы

«Станьте цветком, — говорил Рамакришна, — и пчелы не заставят себя ждать».

1

В Музыкальное училище вошел молодой человек в дождевой накидке, с мягкими каштановыми волосами, с ироничным мудрым взглядом — и направился решительно в классы.

Бамбино шел давно по городу, ведомый лишь чувством направления. Интеллектуалы не нужны Любимой, но те, кто имеет чуткое сердце на каждое душевное движение — лишь музыка в полной мере учит чуткости, и потому было разумно идти в музыкальное училище.

Он вошел в пустой класс: одна девушка еще только собирала рюкзачок — он увидел это тонкое совершенно русское, исполненное тихой скрытой ласки создание и понял уже, наверное, что принес по адресу свою живую воду.

— У вас есть несколько минут для меня? — спросил он. Она кивнула, смотря ему в глаза с удивлением. Он назвал свое имя и спросил ее; сел напротив, начал говорить, а она слушала.

Закончив, он встал. «Подумай, Лера: я не знаю, как это рассказать, но знаю, что нужно, и что могу передать, тоже знаю. Но я тебя, наверное, слишком испугал многим говорением: меня можно принять за сектанта, правда?», — говорил он. «Нет», — ответила она и тоже встала.

Никаким зельем невозможно очаровать таких спокойных девушек, но если они видят, то видят сразу. «Нет, — сказала она так же спокойно, — я уже и без того пойду с тобой». Так Лера, имя которой так удивительно совпало с его русским именем, стала первым учеником Бамбино.

2

Фазиль сидел в вечернем кафе над винным шкаликом и с презрением следил за суетящимся человеком из глубины своих кавказских глаз. Нелепо ему было в этом бестолковом городе.

— Мое почтение! — услышал вдруг он. Некий юноша поклонился, прижав руку к груди, и сел напротив.

Фазиль взглянул ему в глаза гневно, но тот не смеялся и смотрел в глаза так хорошо и доверчиво, что он уж и не знал, что подумать... Фазиль отвел глаза и немного пододвинулся за столиком.

— Добрый вечер, — сказал он, спохватившись: неписанные законы нельзя нарушать. Некоторое время оба молчали. Бамбино с любопытством изучал нового товарища.

— Здесь и правда невесело, дружище, — сказал он участливо. Фазиль вздрогнул и посмотрел в глаза очень пристально своему собеседнику: в тех было только честное дружеское сочувствие, и, против воли тронутый, Фазиль опустил глаза.

— Мне не нравится этот город, — сказал он, помолчав. — Здесь красоты нет. Здесь даже цветов нет.

— Да, — согласился тот. — Хотя подожди минутку... — И так же необычно, как появился, он встал и вышел. Фазиль остался сидеть неподвижно. Но велико же было его удивление, когда собеседник его появился вновь с тюльпанами и положил букет на стол.

— Ты любишь тюльпаны? — спросил он звучным, низким голосом. — Вот это оранжевые, вот желтые, вот алые, вот фиолетовые, а вот один белый. Держи, — и он протянул букет Фазилю, улыбаясь.

— Шарквела? — воскликнул Фазиль. — Зачем?

— Что же мне хорошему человеку не подарить цветы? — спросил Бамбино весело и наивно.

— У нас тюльпаны до самого горизонта, самых разных цветов, — сказал Фазиль со вздохом. Он плеснул вина и протянул гостю.

— Хороший виноград, — услышал он с удовольствием. — Хороший сбор.

Фазиль уже улыбался; Бамбино встал.

— Поехали со мной, дорогой друг, прочь из этих грустных мест! — сказал он, улыбаясь. — Я покажу тебе самые красивые цветы.

Немедленно они, взяв с собой превосходного вина, оставили Европу и сели в обшарпанный автобус, идущий за город. Они вышли на дальней остановке и шли через широкие цветочные поля. Полевые цветы в нашей полосе, может быть, не столь ярки, как южные, но они так же прекрасны.

Солнце еще ласкало облака. У Фазиля оказался рог, настоящий кавказский рог на серебряной цепочке. Сев напротив друг друга, они пили вино и говорили всю ночь напролет. Бамбино слушал и понимал гортанные слова южного наречия, сам вначале говоря редко и увенчивая длинные тирады своими, как выразился Фазиль, жемчужинами мудрости.

Пряные ароматы восходили от земли, живыми шорохами полнилась ночь, духи воздуха проносились ветерком, колыша травы, полная луна вышла и осветила поле. Более всего Фазиля изумляло то, что от его собеседника тоже шел легкий цветочный аромат: запах ландыша.

Когда поток речи Фазиля иссяк, Бамбино заговорил сам, и здесь его начала восхищать мудрость и какая-то наивная простота слов его неожиданного знакомца. Прощались они, едва засветило на небе. Фазиль спросил позволения ему, Бамбино (это имя он произнес серьезно и невозмутимо, не обратив, как нерусский, внимания на его странность для русского уха), быть его, Фазиля, учителем.

— Мне хотелось бы проверить временем твое горячее и, может быть, скоротечное желание, — ответил ему Бамбино серьезно. — Если оно не оставит тебя, ты найдешь меня в... — и назвал ему свои университетские координаты.

Когда Бамбино, проспав утро, появился к третьей паре (он поступил на автомеханический факультет и преславно валял дурака), ему передали великолепный букет, сказав, что с утра нелюдимый, странный кавказец занес его.

3

Кристиан стоял на остановке. Дождик залез ему за шиворот, проходящая машина окатила его сегодня с головы до ног природной русской грязью, девушка, которой он объ-

яснился с содроганием сердца в любви, высмеяла его косноязычие и показала ему язык, и вообще он был самым несчастным немецкоподданным в России.

«Сейчас должен появиться святой Франциск и облегчить мои страдания», — подумал он с тоской. Он открыл глаза и увидел святого Франциска. Тот шел в своей накидке, перепрыгивая лужи. Это мог быть наверняка только он, потому что в такой кислейший день он шел под дождем, также весь мокрый, как цыпленок, и широко улыбался.

Он уставил взгляд именно на Кристиана и смотрел на него внимательно и лукаво.

— Мой, — сказал он, улыбаясь. И, подойдя ближе, поднял ладонь и произнес торжественно: — Хэнде хох!

Кристиан машинально поднял руки.

— Ты всего боишься, — сказал Бамбино вдруг серьезно. — Ты боишься даже меня, хотя это последнее дело. Выбирай: или ты остаешься здесь и продолжаешь бояться, или идешь сейчас за мной на красный свет через всю площадь.

Кристиан сглотнул.

И вот, молчаливо и стремительно, шагая в потоках воды, они пошли через широченную магистраль, и машины завизжали колесами и стали останавливаться, а водители их высовываться с бранью из окошек. Перед яростными фарами, перед рычащими мордами прошли они и достигли берега.

— Кто вы? — воскликнул Кристиан, едва они ступили на твердую почву. Его Моисей обернулся.

— Ты ловил, никак, маршрутку? — спросил он неожиданно. Кристиан кивнул. Бамбино взглянул ему в глаза исподлобья и, стараясь сдержать улыбку, проговорил значительно: — Машины железные и некузавые. А лучше тебе быть со мной ловцом человек.

4

В следующих историях речь пойдет о Лоле (ее отец настоял на редком имени Долорес, которое записали девушке в паспорт).

Они сидели в «Шоколаднице», Лола выхлестала уже... — сколько же она тогда выхлестала? — ее дурехи тоже не отставали, их кавалеры успели смыться, а Лоле было весело, чудесно весело — как она гуляет сегодня! — и хотелось ей теперь какой-то разгульной дерзости, бешеной выходки, когда в «Шоколадницу» вошло нечто несусветное вроде странствующего монаха и подошло к стойке. Лола толкнула Катюху локтем под бок.

— Зыркай, зыркай, — прошептала она.

Молодой человек в черном мокром дождевике имел совершенно пилигримскую наружность. Он спросил чаю за шесть рублей (почему не пьет дома свой чаек?) и сел за свободный столик, вернее же, за уляпанный дубовый столик как есть средневековых размеров, сидя за которым, совершенно понимаешь происхождение выражения «нарезаться в доску». Глаза Лолы шельмовски вспыхнули.

— А ну все за мной! — скомандовала она, и все трое девиц ринулись на противоположную скамейку.

— Как спалось? — осведомилась Лола невинно. Девочки захихикали. Юноша поставил чашку, которой грел руки.

— Я и вправду сегодня немного поспал, — сказал он простодушно.

— А что так? — поинтересовалась Лола. Тот улыбнулся.

— Я провел ночь с одним прекрасным юношей, — охотно отозвался он, не думая, как его будут толковать (наверное, и потом не догадался), — мы пили вино и... — но бесстыдный довольный девчачий визг его заглушил. Лола перегнулась, приблизив лицо.

— А со мной?.. — спросила она жарко.

Ох, знала она, как хороша, наповал хороша, зверски, зверски именно, с пантерьими своими глазами, с раздувающимися ноздрями, чуткими, звериными, с дикой рыжей копной волос — бесовское что-то было в этом лице!

Юноша взглянул ей в глаза глубоко и с состраданием.

— Я же вижу, ты и не такая совсем, ты ведь чистая, хорошая девушка, — молвил он тихо и серьезно ей одной. — Что же ты, бедная моя, себя кажешь подзаборной девкой?

Лола выпрямилась, как охлестнутая, и от гнева побледнела.

— Тебе какое дело? — выкрикнула она. — Ты... ты... спаситель мне нашелся... Ты знаешь кто? — И, не владея собой, залепила ему оплеуху со всего размаха.

Дурочки ее, разом осекшись, сейчас, бледненькие, выбирались из-за стола — уже бармен покосился очень недружелюбно и подумывал, не вызвать ли охрану. Никаких женских истерик он не любил, самое хлопотное дело.

Обе подружки уже смотали удочки. Три боровистых бугая за соседним столом перемигнулись и наблюдали.

С бесконечною тоской посмотрел на нее пилигрим и вдруг, отняв ладонь от ударенной щеки, взял в свои ее руки.

— Солнышко мое, — сказал он улыбаясь и с грустью, — милая моя сестричка, как бы я хотел помочь тебе! Но только если ты сама этого не хочешь, целый полк таких, как я, тут ничего не сделает. — И затем, встав, трепетно, целомудренно, с братской лаской провел рукой по ее волосам — Лола замерла, не шевелясь и не дыша. — Дай бог, еще увидимся, — сказал он и вышел.

Тут же трое бандюг, перемигнувшись вновь, подсели к ней, Лола пыталась быть развязной, да сердце лежало не на месте. Вдруг один откровенно облапил ее рукой, и дело принимало уже совсем нехороший оборот...

Бамбино не отошел и девяти шагов, когда Любимая велела ему вернуться. Он горячо поблагодарил и повернул назад. Троица просто остолбенела, когда он вошел.

— Что же, ты идешь все-таки? — спросил Бамбино как ни в чем не бывало.

И вот, глотая слезы, Лола жалко засуетилась, а трое, не шевелясь, смотрели на него в упор и досмотрелись только до того, что он подвел ее к стойке, спокойно помог заплатить и невозмутимо вывел девушку за руку.

На улице Лола вдруг не смогла стоять прямо и к тому же начала дрожать в своем откровенном наряде, какмышь, — был лютый сентябрь. Бамбино укутал ее своим большим пушистым свитером, оставшись в дождевике; выяснил адрес и аккуратно повел к остановке.

— Девушка не в себе, вы не уступите место? — спросил он в трамвае просто и деликатно.

У дверей Лола не могла вставить ключ — он отпер дверь сам. Квартира была бабушкина, полуторакомнатная (с каморкой) «хрущевка», но сама бабушка жила здесь редко, а Лола сбегала сюда частенько, когда «предки заедали». Он проводил девушку в обшарпанную кухню, усадил ее на табуретку, укутал ее, продолжавшую трястись, одеялом — она следила за ним во все глаза, — заварил чаю с какой-то крепкой травой, сорванной по дороге (о, Бамбино был знахарь в своем роде!) и протянул ей чашку. Лола выпила два глотка и смотрела на него так жалостливо и нежно, что он, глядя на нее, растянулся в улыбке, и она вслед за ним пробовала улыбнуться.

— Ноги у тебя мокрые — сказал он сочувственно и пошел искать носки. Переодевая ей, изумленной, бабушкины носки, он мотнул головой. — Бог мой, какие у тебя холодные ноги! Подожди минутку...

Бамбино разобрал постель, осторожно подхватил ее и отнес на руках (откуда силы взялись?).

— Спи, моя хорошая, — сказал он ласково из прихожей. — Дверь захлопну: у тебя замок с защелкой.

Девушка вздрогнула.

— Что еще приключилось? — спросил он.

Она выпрямилась на постели:

— Ты не останешься?

— Нет, — покачал он головой. — Меня дома ждут: я и так отлучаюсь часто.

— Тогда... тогда... я тогда... если ты не останешься... — Лола всхлипнула и вдруг залилась горькими рыданиями, упав лицом в подушку.

Бамбино опустил свои ботинки, сжав губы. «Милая, ты сама знаешь, — сказал он мысленно, — мне никакой из них не хочется касаться».

«ТЫ РАЗВЕ ЗАБЫЛ, ЧТО ОНА — ЭТО ТОЖЕ Я», — спросила она его.

Бамбино закатило холодной волной. Он скинул ботинки, погасил свет в прихожей, опустил на кровать и обнял все еще рыдавшую девушку.

— Ну что ты, что ты, — шептал он ей, доверчиво к нему прижавшейся, — вот видишь, я остался...

Наутро, с первыми лучами солнца, Бамбино проснулся и, сев к столу, взял лежавшую там книжку — это был Бабель, «Конармия». Он раскрыл ее и прочитал то, что убедило его совершенно в правильности случившегося, — то единственное место в «Конармии» о Спасителе. Этот отрывок тот, кому нужно, найдет сам: тайна эта столь сокровенна, что лишь с великой душевной чистотой и бережностью можно прикоснуться к ней. «Женщины любят Франциска, пане...»

Лола проснулась.

— Привет! — крикнула она весело и, выскочив из постели, зашлепала босыми ногами по полу. — Куда мы сегодня идем?

Бамбино обернулся и покачал головой, с внутренним смехом ловя себя на этом стариковском жесте.

— Нет, милая девушка, никуда мы не идем. Тебе я больше не нужен, а мальчиков ты найдешь множество, и я пошел своей дорогой.

Лола надолго застыла, поменявшись в лице и размышляя, и вдруг, подойдя к нему, охватила руками, опустившись рядом на колени.

— Ох, ох, прости, не так я сказала... Я тебя не отпущу, ты знаешь?

Бамбино грустно освободился.

— Едва ли ты сможешь остаться со мной, девушка, — ответил он.

— Я. Без тебя. Не смогу. Жить, — сказала Лола просто и, как-то заискивающе-нежно улыбаясь, присела перед ним на колени в позе мальчика-пажа. Бамбино посмотрел на нее внимательно.

— Девушка, девушка, знаешь ли, чего просишь? — молвил он устало. — Моим ли крещением креститься хочешь? — тихо сказал он и проник ей в глаза взглядом таким тоскливым, что Лола замерла и похолодела от всей этой меры тоски, что лежала в одном человеке. Долгое молчание последовало. Лола сжала руки на груди.

— Я не знаю, кто ты, — сказала она, слезы застлали ей глаза. — Но я знаю, что навсегда теперь куда хочешь пойду за тобой.

— Тогда слушай, — серьезно ответил Бамбино и выпрямился. — Тяжело тебе придется, если пойдешь со мной. Ни одного бесенка не потерплю в тебе, всех прогоню, и они вселятся в твоих знакомых. Никогда, никогда ты не сможешь жаловаться. Бу-

дешь жить на постном масле и захочешь сбежать от меня на второй день. Что, и теперь пойдешь?

Лола кивнула.

Бамбино прошел в коридор и при ее безмолвном удивлении натянул дождевик в рукава.

— Сейчас нет, — сказал он, — это был бы нечестный захват. Ты помнишь притчу о десяти девушках, которые должны были дожидаться жениха? Я приду в то время, когда ты меня меньше всего будешь ждать. Вот тогда и будь готова. Тогда и посмотрим.

II. Сеятель

1

Рассказывают так.

Вечером Лола собрала гостей у одного из своих поклонников и устроила форменный кутеж. Зачем, спрашивается? Я думаю, эта встреча выбила ее из колеи, и ей снова хотелось найти равновесие и заодно, быть может, проверить искренность своего порыва — не разойдется ли он при столкновении с мерзкой и трезвой жизнью.

Было выпито порядком и шумелось громко — было то состояние кутежа, когда всем еще только весело и гости еще не валяются под столом, — а главная виновница торжества разошлась больше всех и вознамерилась уже было засунуть своего хомячка в чайник (к чести ее заметить, пустой).

Позвонили в очередной раз, и некая Светочка побежала открывать. Молодой человек, ей незнакомый, стоял на площадке. Светочка открыла без долгих думаний, юноша без всяких предисловий прошел в «банкетную залу» и поспел как раз к моменту, когда хомяка общими усилиями уже погружали в чайник, и встал на пороге. Лола взглянула на него, и заварочный чайник выпал у нее из рук вместе с животным, которое тут же забилося под диван.

— Мы идем, — сказал юноша только.

И вот, оставив немедленно всех своих домашних животных и все свои шальные выходы, Лола встала, тихая, как овечка, прошла в прихожую, молча оделась и пошла за ним, а гости в подлинном смысле слова остались с открытыми ртами.

2

А на улице выл ветер, пробирая до костей. Бамбино повел ее прямо к трамваю и яростно глянул, когда Лола робко просила переждать. Она очутилась в стылом и грязном жестяном ящике, двери хлопали каждый раз с особенным ожесточением, шел гул по всему корпусу, ее недружелюбно сдавили со всех сторон, и огромный, заросший мужчина налег в давке ей на плечо, сминая блузку, — и Лола не то что не огрызнулась, а боязливо сжалась.

Бамбино вышел на предконечной, а ветер уже хлестал остервенело, мелкие камешки бросал — он пошел навстречу ветру и увеличивал шаг, ей приходилось почти бежать. Пошли деревенские домишки, скоро остались позади и они, прошли мимо заброшенной церкви, шпиль поднялся в темном небе неприятно и сурово. «Куда мы идем?» — спросила Лола. «В психушку», — был ответ; она больше не взялась спрашивать.

Они подошли к длинному зданию; Бамбино толкнул дверь служебного входа. Между двумя дверьми он молча натянул белый халат и, смерив ее щегольской наряд взглядом — ей самой вдруг стало за тот неимоверно стыдно, — сказал насмешливо:

— Тем лучше, гражданка посетительница.

Несчастное, убогое уродство немедленно горестно стиснуло ей душу. «Здесь только дебилия, самая легкая стадия», — говорил ее провожатый. «Вот эта женщина, — он мельком кивал, — писала удивительные стихи, и ее чуткое сердце не вынесло жизни в жестоком государстве. А может, ее просто упекли как особо опасную смутьянку, да так и позабыли. У нее 370 ненапечатанных стихов».

Уродливый мужичишка с косенькими глазками, с заячьей губой поймал ее руку и хотел поцеловать. Лола отдернула руку как от проказы; мучительно стыдно ей стало за это, до багровой краски в лице. «Не побрезгуй, королевна, — слышала она за собой, — не побрезгуй...» Две старухи без последней человеческости в лице ласкались друг к другу на диванчике в коридоре; она отвернулась.

Бамбино медленно вышел с серьезным и строгим лицом, как после крестного хода. Лола шла за ним, подняв воротник курточки двумя руками и спрятав в него лицо: только что виденное вдруг вставало у нее перед глазами, слезы подкипели к горлу.

У церкви он сел в мокрую траву и обхватил ноги руками.

— Ну что, моя миленькая?.. — спросил он тихо и ласково.

Лола опустила рядом на колени и спрятала голову у него на груди, смачивая ее слезами вместе с дождем.

— Теперь верю тебе и люблю тебя очень, — сказал он ей тихо. — Ты ведь даже, — он улыбнулся по голосу, — колготки не побоялась испачкать.

Когда Лола подняла голову, следующие слова вышли из ее сердца:

— Позволь мне только любить тебя, светлая моя звездочка, а я буду самой хорошей твоей помощницей.

— У тебя вокруг головы небольшой венчик, — ответил он ей, улыбаясь.

3

Правда, еще однажды она сказала ему, как извиняясь и задушевно-виновато:

— Тут есть еще одно дело, Валера, я атеистка, это ничего?

— Глупая, — ответил ей Бамбино очень ласково, — разве еще могут существовать такие люди? — И подождя, он добавил: — Разве без Него, без Бога, не было бы ни любви, ни счастья, ни грусти от стихов, ни нежности в девушкиных глазах, а была бы одна биологическая масса и теория рефлексов? Разве мотылек только так на огонек летит, чтобы сгореть? Все-все тянется к свету, даже растения поворачиваются за солнышком, самый маленький мотылек знает об этом. А ты и не знаешь, такая большая девушка?

Бамбино прикусил кончик языка, улыбнувшись, и сказал дальше:

— И еще: если ты атеистка, то чем будет, что ты ко мне чувствуешь и что за этим знаешь? Это будет заурядным увлечением мальчиком, и добро бы просто смазливой мордашкой, а то ведь еще и сумасшедшим. Или я, — добавил он, смеясь, — похож на сумасшедшего?

4

Вернувшись к Фазилу, я коротко расскажу вам, как происходило его «наставление». Бамбино учил его (впрочем, он сам не любил этих слов: *учитель, учение*) не по книгам, но в каждодневной жизни, как бы между делом, на несложных примерах, без полутонов, чтобы те легко схватывались его наивно-природным сознанием — примерами ему слу-

жило все, что попадалось на глаза, — в первую очередь стремясь уделить внимание чувству гармонии и справедливости.

Он говорил ему, остановившись перед щитом с рекламой косметики:

— Взгляни, Фазиль: какое огромное полотно, как много людей мучились над его придумкой, как серьезно они, наверное, принимали — бизнесмены, деловые люди — этот огромный бумажный фантик с парой слов на нем. Теперь он висит здесь и рекламирует — что? — обман: девушка косметикой желает быть лучше, чем есть внутри, ведь на лице отражается душа человека. Этим же она живет как бы в кредит, нечестно, не по средствам: когда она привлечет юношу, она не сможет наградить его тем, чем обещала, и причинит огорчение и ему, и ей.

Или он говорил, увидев рекламу мясокомбината, на которой были улыбающиеся теленок и свинка:

— Посмотри, Фазиль, какая ложь здесь: вот ведь эти животные улыбаются, как бы оправдывая свои убийства и существующий порядок вещей: будто бы так и положено человеку есть животных. На самом деле это не так, животные плачут, они плачут перед своим убийством, Фазиль, плачут настоящими, крупными слезами.

После этого Фазиль, скрепя сердце, решил отказаться от шашлыков, хачапури, чурчхелы. Бамбино не настаивал на этом, но, напротив, кротко попросил его не мучить себя и не отказываться от привычной пищи, если это так тяжело. Но Фазиль теперь практически не ест «плачущих животных».

5

Лола также с удовольствием вспоминает счастливое время своего учения. Ее Бамбино учил прежде всего жить легко, как ребенок. Тысяча затей приходила ему в голову: он заставлял ее, например, проходить через толпу — через озлобленную, стиснутую, упертую толпу какой-нибудь очереди — звонко покрикивая «О-о-осторожно, открытая краска!» — и сам только смеялся при этом. Или он покупал с лотка сувенирную дудочку и говорил тут же, на ступеньках Гостиного ряда, на виду у зевак играть на ней — и, когда Лола недоуменно сжималась, он смотрел на нее весело округлившимися глазами: «Это ты-то и чего-то боишься?» Лола смеялась и начинала играть на дудочке, а он извлекал вдруг из-за пазухи такую же и вторил ей с бесконечными переливами. Или во время дождя снимал вдруг легкие сандалии на босу ногу и заставлял ее тоже снять обувь, и они бойко шлепали по лужам босиком на виду у прохожих. Или лазать через заборы (и пусть читатель не дуэт губы: сам-то он в жизни перелез ли хоть через один забор, или помешало ему его добропорядочное брюшко?). И каждую из этих «дисциплин» они, смеясь, заносили в ее зачетку — в настоящую, университетскую, специально для этого купленную, — вот так, например: «Курс лазания по заборам. Зачтено».

6

С Кристианом было сложнее. Этот немецкий юноша романтического склада был настолько робок, что с девушкой не мог заговорить, не покраснев. Тогда наш друг вознамерился привязать к его голове воздушные шарик и заставить гулять так по улице, и только когда Кристиан взмолился противу того слезно и чуть не на коленях, он смягчился и переменил воздушные шарик на гамлетовский плащ и рыцарский берет. Мало того, он раздобыл ему еще и большую тупую учебную шпагу в придачу.

Добившись, наконец, сносных результатов при покупке Кристианом в оном наряде пирожков на улице, он пошел дальше: повел его в Университет, где послал спросить мела в аудиторию на перемене — девушкам на съеденье.

— Прости... простите, девушки, у вас нет лишнего куска мела? — пролепетал Кристиан в первый раз. На него уставились, замерев, и он позорно ретировался.

— Ну, и что это такое? — осведомился ожидавший у выхода Бамбино, лукаво склонив голову набок (слышать он никак не мог, но, видимо, мог узнать по его овечьему виду, как Кристиан, выходя, ни старался ободриться). — Экзамен не сдан, и требования повышаются! Теперь тебе нужно попросить мелу и съесть его на виду у всех.

Кристиан, «скрипя сердцем», как у нас говорят, вошел в ту же аудиторию и осведомился еще раз насчет мелу. Теперь все затихли и уставились на него озадаченно и даже боязливо. Тогда он мужественно взял «кусочек мела» и начал его грызть: тот был противным и пресным. Вокруг зашептались и с первых парт стали отползать.

— Девушки, — сказал очень серьезно Бамбино, вошедший вслед за ним в белом халате, — проявите спокойствие. Это душевнобольной человек, он ушел из-под надзора врачей. Пожалуйста, выйдите все отсюда, не делая резких движений.

Девушки с бледными лицами стали торопливо собирать сумки и потянулись по одной через дверь, а Кристиан доблестно грыз свой мел. Когда в аудитории никого, кроме них, не осталось, Бамбино повалился на парту и расхохотался.

— Молодец, Кристиан, — воскликнул он, — bravo!

7

Зато с Фазилом было совсем, совсем иначе. Они шли по улице, и Фазиль презрительно фыркнул при виде нищего — молодого оборванного парня. Фазиль принадлежал без шуток к древнему роду, и его не нужно было учить гордости и независимости. Бамбино обернулся и одел его очень пристальным, горячим взглядом.

— Стыдись, — прошептал он. — Он может быть кем угодно, но ты сейчас посмотрел не на человека, а на его тряпки.

Фазиль стоял как оплеванный.

— Завтра утром, — начал Бамбино снова тихо и серьезно, — одевайся в самое плохонькое тряпье и садись здесь же, на ступеньках, просить милостыню. Когда соберешь рубликов десять, тогда приходи ко мне, Фазиль. Жду тебя, а пока прощай. — И, посмотрев еще на него долго и грустно, он пошел на трамвай.

Сжав зубы, Фазиль извлял свою старую одежду в грязи и назавтра рано утром сидел на ступеньках у собора. Слово Учителя должно было быть крепче самого твердого в нем, и нужно знать, что для горца значит такое слово.

Один Бог ведает, что пришлось ему передумать в эти утренние часы, когда еще нет прихожан. Почтенные наши колыхающиеся матроны вставали перед ним и поливали его потоками воспитывающей брани. Несколько раз неизмеримые гнев и гордость поднимались в нем, стискивали ему тисками горло и вырвались вдруг душащими сильными слезами — Боже, до чего может быть несчастен человек! Слезы всегда очищают.

Старушка подала ему и коснулась плеча, пробормотав что-то ласковое и жалеющее, — он снова залился слезами, теперь происходящими от горячего сострадания со всеми.

С содроганием я пишу об этих слезах: увидите ли вы когда-нибудь, чтобы кавказец плакал на людях? В автобусе и впрямь на него оглядывались — Господи, какое значение это теперь имело?!

Бамбино понял с первого взгляда все и прижал его к груди, не слушая слов Фазиля о том, что он так и не набрал десяти рублей...

8

А как происходило это с Лерой?

Бамбино однажды признался Лоле, что Лера — самая сложная из ее пчелок, для которой нужен особенный подход. Лера жила, как жили и живут некоторые русские девушки, которые не могут утолить себя заурядностью повседневности, почти исключительно музыкой и литературой.

Что же, они начали с классической литературы. Множество из остающегося за бортом школьной программы, как раз самое яркое и потому старательно обходимое школьными (м)учителями, стало появляться на столе у Леры, рекомендованное Бамбино. Над иным ее сердце долго думало, над иным Лера плакала ночами, чувствуя, как начинает постепенно разрушаться ее уютный мир сердечных привычек.

Далее не была забыта музыка. Лера поступала в музыкальное училище с настоящей любовью к той, но, увы, немного охладела за годы учебы, привыкнув воспринимать музыкальную ткань прежде всего профессиональным ухом. Бамбино применил здесь тот же метод, находя оставшееся за рамками программы, принося кассеты Лере и прослушивая их вместе с ней. Перед тем он сердечно просил Леру забыть свою науку и слушать дилетантским ухом, а вообще перед слушанием рассказывал немного о духе жизни композитора и самой его эпохи, немного, но искренне, взволнованно: о голодном Шуберте, писавшем песни на линейках, расчерченных карандашом на крышке стола, за неимением бумаги, о Бетховене, игравшем «Фантазию» и фугу Баха в воскресной церкви с пораненной рукой, так что весь мануал органа оказался залит кровью после той игры, о Рахманинове, спалившем себя, свое лицо и тело, на своем яростном внутреннем огне. Музыку они слушали вместе, при неярком свете, с чуткой сосредоточенностью, окунаясь полностью в ее могучую стихию.

Откуда, кстати, в самом Бамбино взялась эта начитанность и наслушанность?

— Что же, — отвечал он Лере с улыбкой в ответ на этот вопрос, — я должен знать все по долгу службы.

9

Бамбино вывел Леру из ее замкнутого мира, проводя по ночным барам и притонам, знакомя с их завсегдатаями, так что ужас, горесть и сострадание начали наполнять ее сердце.

— Не отделяйся от них, миленькая моя, — говорил он ей, — не думай, что ты не можешь испытывать их чувства.

10

В одном из баров, по которым они ходили, звучал шансон Патрисии Каас, и Лера с ужасом и отвращением отозвалась о Каас: вот пошлятина. Бамбино задумался над ее словами. Через день он пришел к ней с нотами и спросил: сможет ли она сыграть их? Лера легко разобрала ноты.

— Это романс, — сказал Бамбино, улыбаясь, — Я хотел бы спеть его для тебя, не могла бы ты аккомпанировать мне?

Лера согласилась с радостным удивлением: он еще никогда не пел.

Слова, которые он запел, были французскими (Лера немного понимала французский): простые, несколько наивные слова. Но его голос, грудной, выразительный, тревожащий,

воплотивший чувство певицы, взволновал Леру сразу. Это был простой рассказ, жалоба нелюбимой женщины, и боже мой, как все-таки много было в нем и в этом голосе!

*Fatiguee d'attendre
De toi de mots tendres
Que tu ne diras pas etc³.*

Лера кусала нижнюю губу во время игры и, сыграв последние аккорды, поставила руки на клавиатуру и положила лицо в ладони, борясь с наступившим волнением, почти со слезами. Да, впрочем, и слезы скоро набежали.

— Это Каас, Лера, — сказал Бамбино тихо, — я только передал ее низкий голос и его выражение. Это тоже человек, могущий страдать и быть чутким. За коростой всего вульгарного, что режет твоё тонкое ухо, у нее такое же сердце, как и у нас с тобой.

11

Кристиан, это ранимое, кроткое и маленькое создание, был, возможно, самой образованной пчелкой: он был воспитан на откровениях немецкой романтики. По-русски он заговорил уже через полгода своего пребывания в России правильно и без акцента (а русский, согласитесь, чертовски сложный язык).

Бамбино скоро нашел верную пищу для его быстро впитывающего ума: богословские, теософские и эзотерические тексты. Он провел его тем же путем, которым сам проходил однажды. То, что девушки понимали через собственные чувства, Фазиль — через жизненные примеры, в Кристиана проникало через книгу. Они говорили много о каждом тексте, и, когда Кристиан восклицал на своем чрезмерно правильном русском: «Я не понимал этого сравнения и удивляюсь, как вы можете объяснить его, хотя так мало читали о нем!», — Бамбино отвечал с улыбкой:

— Потому что я-то прожил это, Кристиан, и понимаю, почему он так пишет.

12

Однако Бамбино и много смеялся над христианской преувеличенной ученостью.

— Милый мой человек ученый, — говорил он, — кому нужны твои мудрости, если мне от них не жарко?

И, как в насмешку, читал ему стихи современных поэтов с претензией, все с тонкими изысками и все невкусные, как рыба кость, а то, еще пуще, какую-нибудь филологическую работу вроде «Изучение лексем-номинаций эмоций в лирике Бориса Пастернака» — и тот в отчаянии только затыкал уши.

13

Фазиль заслужил упрек в неучености. Бамбино объявил ему один раз — вновь по лукавому огоньку в его глазах нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно, — что таким, какой он сейчас, только детей пугать. Бамбино пришла забавная мысль в голову: привить дикому горцу понимание классической европейской музыки, и он, смеясь, стал

³ Устала ждать
твоих нежных слов,
которые ты не скажешь.

кормить Фазиля кассетами, которые брал у Леры (впрочем, он и сам их слушал с удовольствием: для тех, что подумали, будто Бамбино решил устроить экзекуцию).

— Вот еще! — буркнул тот первый раз угрюмо.

— Это те же цветы, — ответил на это Бамбино очень просто.

По вечерам, умей вы видеть через стены, удивительную картину вам пришлось бы наблюдать: кавказец сел на краешек кровати, подогнув ноги, скрестил пальцы и впитывал в себя «Образа» Равеля.

Впрочем, шутки шутками, но Фазиль стал гораздо задумчивее, вопреки бесхитростной порывистости кавказцев, и, если можно так сказать, мудрее сердцем: он стал слушать (и других людей тоже) внимательней и глубже.

Один раз Бамбино подарил ему рахманиновский «Третий концерт» с Фредом Кэмпфом за фортепьяно (те, кто помнят десятый конкурс Чайковского, помнят и этого пианиста, и его «Третий концерт», отличившийся своей сердечной страстностью на фоне сытого спокойствия того же концерта, сыгранного нашими виртуозами). Фазиль появился перед ним на другой день и распаковал из сумки тяжелую, очень большую белую бурку, которую положил перед ним как дар.

— Мое сердце разрывалось, — сказал он серьезно. — Если желаешь, учитель, то прими эту одежду как подарок.

— Рано, мой миленький, — ответил ему Бамбино. — Будет время — и тогда буду достоин ее носить.

14

Горцы — натуры пылкие, и о любви у Фазиля с его учителем разговор зашел естественным образом.

— Милый друг, — говорил Бамбино мягко, — все стоит на любви, и это самое лучшее чувство, которое только я знаю. Зачем же, любя девушку (вообще же, я бы сказал, человека, а не девушку), ты хочешь эту любовь смешивать с обидами, подозрением, унижениями, собственничеством и дальше и дальше, то есть всеми теми прибавками, которые настоящей любви идут так же мало, как оленю ослиные уши? Много ли пользы лучшего друга запереть в консервной банке?

— Э-э-э, как человека мне мало! — возразил упрямый и горячий Фазиль. Бамбино поднялся с улыбкой.

— Alors, allons-nous a un bordel, — сказал он. Так, похоже, звучало то, что Фазиль старательно и неумело старался мне воспроизвести.

В пятницу была как раз студенческая танцулька — Бамбино направил своего ученика прямехонько туда, где познакомил с уже известной нам Риточкой, глупым и очаровательным ребенком, живописав Фазиля в самых колоритных тонах и выразив светлую надежду на то, что оба они скоро подружатся. Оба приняли это доброе желание к руководству; Фазиль был очарован совершенно наивно-откровенным женским существом и первыми близкими прикосновениями. Они пили (за деньги Фазиля, конечно) дорогое вино, и вино тоже оказало свое чудесное действие. Все соседи Риточки по общежитию, как нарочно, уехали на выходные — право, было бы грех не зайти погостить у нее часочек, ведь так? — и, как говорил Бамбино, и дальше, и дальше...

В шесть утра Фазиль отворил дверь общежитской комнаты и вышел, пошатываясь, голова его звенела, как лампочка, и вообще было ему немножко хреново. Бамбино сидел в коридоре на подоконнике и читал книжку.

— Ну что же, как человека тебе мало? — спросил он с любопытством, оторвавшись.

По дороге Бамбино говорил Фазилю:

— Слово «грех» зря придумано, друг дорогой: ты, как и всякий, совершенно свободен и можешь выбирать, что захочешь. Полно, Фазиль: было ли это, вот так механически, пьяно, таким уж большим удовольствием?

И, вдруг зайдя в подъезд кирпичной пятиэтажки по дороге, сев на подоконник на лестничном пролете, приложив палец к губам и поражая и повергая в ужас Фазиля своей откровенностью, он тихо, ясно и просто рассказал ему о своей близости с девушкой, с Лолой. О том, как та пыталась вначале его разгорячить, как делала обычно, но он оставался холодным. О том, что, когда она замерла, заплаканная, в обиде и отчаянии, он сам приник к ней, с сердечной нежностью, с благоговейным трепетом, с желанием сделать все для нее, и это соединение было прекрасным, но не бездумное влечение, — настолько прекрасным, что именно через него открылся тот источник нежности, из-за которого она на следующий день и дальше не пожелала, не смогла расстаться с ним и этим источником.

Фазиль немедленно попрощался с ним и вышел в ужасе: мир шатался под его ногами.

— Ты прав, учитель, — сказал он Бамбино на следующий день.

15

С Кристианом было еще проще. Бамбино вошел к нему как-то (Кристиан жил в семье и имел отдельную комнату), а тот читал «Садовника» Тагора. Необычайная вещь! Стихи эти манят далекой тоской, какой-то дымчатой нежностью окутывают вас, и зовут, и туманят воображение мыслью о дальней любимой.

Тагора очень любил Бамбино и давал однажды читать Фазилю с намерением ласковостью этих стихов размягчить горскую неприступность, но здесь было иное: нечего и говорить, что пылкий выюноша успел экзальтироваться вовсе. Я пишу без шуток: индийское солнце и впрямь напекло его голову: как в чаду лежал он в чухлом кресле, горячая истома обволокла его целиком; яркие, осязаемые, чувственные картины проходили перед его глазами.

Бамбино пристально взгляделся в название книги и вдруг почти разгневался.

— Выброси эту книжку в окно! — сказал он сурово. — Я знаю другую историю. — Огляделся и взял с полки Достоевского. Поставил стул перед испуганным Кристианом, сел на него верхом, открыл книгу, ему попала «Кроткая», и начал читать — без какой-нибудь взволнованности, с равнодушной дикцией, чеканя слова, чтобы немец мог понимать. Кристиан обмер перед ним вначале, как мышь, затем волей-неволей был вынужден слушать, затем уже и не помнил ничего больше...

«Опоздал... — выдохнул наконец Бамбино устало и продолжал, будто скучая дальше. — Какая она тоненькая в гробу, как заострился носик! Ресницы лежат стрелками...» — о, он верно рассчитал, Достоевский прожигает до костей! Взглянул на него небрежно первый раз — и Кристиан уже не мог сдерживаться: он сжался в уголке кресла и начал всхлипывать. Тогда Бамбино отложил книгу и спросил его устало, значительно и грустно:

— Не хочешь ли еще помечтать о ласках девушки, о ее волнующем языке, грудях и бедрах, Кристиан? Вот она лежит, и одна «горстка крови» на камне.

Правда, конечно, что немедленно он сам смягчился, взяв руку рыдающего мальчика, но тогда он спросил так. Плоть да не затмит Человека.

16

Этой простенькой историей завершается «Сеятель».

Лера сопровождала как-то нашего друга — опаздывая в университет по делу, они решили срезать через двор — и во дворе он увидел собаку, дворняжку с примесью колли, она несчастно лежала, уткнув тонкую морду в лапы. «Дружо-очек», — произнес Бамбино певуче и присел на корточки рядом с ней. Собака подняла мордочку. «Давай-ка мы тебя расчешем», — говорил он приветливо, глядя вдоль ее морду. «У тебя есть расческа, Лера?».

Лера поколебалась минутку: все же она была домашняя девушка и свято берегла милые домашние пустяки. Он взглянул на нее так, что ей стало стыдно: Лера достала тут же свой деревянный гребешок. Бамбино принялся расчесывать собаке свалявшуюся шерсть, а сам послал Леру за булкой. «Только свежей, — попросил он, — а то она и вообще есть ее не захочет». Никакие опоздания, ничто в мире, казалось, его теперь не беспокоило.

Лера вернулась с булкой — Боже, с какой стремительной жадностью перехватил ее зубами зверь! Собачий клык случайно, но чувствительно оцарапал ей руку; Лера вскрикнула. Бамбино залечил царапину простым и тихим горячим поглаживанием (сходный случай описан, кстати, в купринской «Олесе», и потому не держите меня за фантаста). «Без боли не бывает здесь, миленькая моя», — проговорил он тихо.

— Валерочка, забыть я не могу ту собаку! — призналась она ему на следующий день. — Мне теперь жалко... всех мне жалко, у меня страшная тоска в сердце!..

— Это прививка, Лера, — сказал Бамбино, с грустью улыбаясь.

— Какая прививка?

— В Бенгалии от укусов змей детей легко царапают змеиным зубом. Помнишь ты нашу дворняжку? Это Сострадание тебя поранило, Лерочка; мне не залечить эту ранку, — и прижал ее к груди. — Не плачь: счастлив, кого ранит Сострадание, Лера.

III. Садовник

В этой главе немного рассказано о содержании *вести* Бамбино, его взгляде на жизнь, его «учении», если кто-то непременно хочет определять это как учение. В нем нет ничего не известного раньше, и я уверен, что Бамбино, милому простому Бамбино, было важно не провозгласить какое-либо учение, а только научить человека жить в согласии со своим духом и внутренней правдой. Я помещаю эту главу, несмотря на то, что она может вызвать недоумение и неприятие ортодоксальных доктринеров.

1

Бамбино решил свести, наконец, всех своих пчелок вместе. Он пригласил их к себе домой, на чай, в отсутствие родителей.

Увы, знакомства не получилось, не получилось и разговора. Все держались обособленно: Кристиан и Лера — из испуга и скромности, Лола и Фазиль — из гордости. Лола, кроме того, приревновала Бамбино к Лере и ко всем остальным (хотя потом и была им жестоко пристыжена). Это была одна из немногих неудач Бамбино.

Тогда Бамбино сделался болен.

Как это случилось? Бамбино рассказывал потом: он подумал с глубокой грустью, что заболит, если его друзья не будут дружны между собой. Возможно, он и сам захотел забо-

леть. И заболел действительно. Вечером он почувствовал недомогание, а утром объявилась температура.

Девушки появились первыми, сначала одна, потом другая. И Лера, и Лола приходили к нему домой, но по отдельности, и родители были убеждены, что это его «девушки» в общепринятом смысле, с которыми он «крутит любовь» одновременно, потому они порядком переполошились, когда обе встретились в его комнате. Конечно, Лола могла бы наговорить грубостей в другое время, но общая забота сблизилась их: они попеременно дежурили у кровати, сменяли Бамбино холодные компрессы на голове и уже стали общаться друг с другом совершенно коротко и задушевно.

Тогда Бамбино со стоном произнес, что он хотел бы видеть остальных, потому что состояние его все ухудшается и... Девушки, всполошившись, стали узнавать их телефоны. Телефонов не было. Лера вызвалась съездить за Кристианом и Фазилом.

— Нет, — сказал Бамбино слабым голосом, — это должна сделать Лола.

Когда все четверо сидели перед его постелью, взявшись за руки (это тоже было одним из условий), Бамбино выздоровел в течение получаса. Потом Бамбино скажет каждому:

— Я попросил мою Любимую заболеть на это время, я ни о чем не беспокоился и знал, что эта болезнь пройдет, как только пройдет ее причина. Но, честное слово, лежать вот так пластом с 39-ю градусами было совсем не так уж приятно!

2

Они собирались у Бамбино все вместе, садились на полу в его тихой комнатке на истертый коврик и говорили — говорил, то есть, больше он, с лукавой улыбкой оглядывая всех, своим чудным негромким голосом. Иногда Лера читала им что-нибудь, по его выбору — сам Бамбино в это время садился у ее ног и, охватив колено руками, закрывал глаза, слушая. Иногда они просто пили чай, и сидеть вот так пить чай вместе тоже было глубоким переживанием.

Они могли, впрочем, собираться так где угодно — еще, благо, стояли теплые деньки, — за его техникумом была роща, и там они порой сидели так же.

Густой ковер из листьев постилался им, и однажды, садясь, Бамбино обнаружил через листья пробивающийся хрупкий стебелек: неведомо как сюда заброшенный альпийский колокольчик, внезапно, безнадежно-трогательно и чудесно здесь расцветший.

— Смотрите, — сказал он, легонько к тому прикоснувшись, — разве не чудо? Это Кампанула альпика, а по-русски — альпийский колокольчик. Наверно, наша земля много суровей его Швейцарии или Италии, откуда он родом, но ему не захотелось спать сладко у себя — он прилетел сюда. На эту большую, холодную землю. И он цветет. Смотрите, каким тысячам опасностей подвергается этот маленький цветочек! Собака может прижать его лапой, здесь полно собак; пыльный ветер может его погубить, сорока выкопать своими любопытными лапами, вырвать мальчишка. Он же ни о чем об этом не думает, он тянет свою чашечку к солнышку и счастлив, как может быть счастлив альпийский колокольчик. Ему лучше расцвести сейчас хоть на несколько дней, чем десять лет пролежать зерном, и совсем его не беспокоит, что он распустился не вовремя и холодные времена скоро настанут. Вы запомнили? Он скоро, может быть, склонит головку, так что за беда? — и он цветет, ничуть не беспокоясь. Смотрите, колокольчик знает больше вас: он знает, что этот опыт сохранится и в следующий раз он расцветет лучше прежнего, а если его выкопает сорока, он возродится бойкой сорокой с черно-белым опереньем и блестящими глазами. Так везде бывает в природе. Смерти нет. Может быть, его сорвет юноша и

подарит девушке — разве мог бы этот колокольчик закончить лучше? Если вы не можете себя подарить другим — разве нужны вам все ваши одежды, друзья мои?

И еще — знаете, что вам скажу? Я читал: высоко в горах, на лютom холоде, не могут выжить никакие растения, кроме Кампанула альпика: за ночь они промерзают насквозь, а утром распускаются, радуясь солнцу. Никаких других красок там нет: хвастливые маки или какие-нибудь томные ирисы погибли бы там давно — только эти скромные цветочки небесного цвета. Так и вам, друзья мои, самые холодные времена даст пережить не толстая шкура, а только нежное и чистое сердце. Между прочим, любой колокольчик несет весть, даже простой бубенчик на тройке. Понимаете меня?

Он сидел, по своему обыкновению согнув одну ногу и положив вытянутую руку на нее, — синичка безбоязненно села к нему на пальцы и сказала что-то. Бамбино, улыбаясь, перевел:

— Она рада знакомству.

Бамбино понимал язык зверей и птиц и мог разговаривать с ними, это случилось после того, как он доел кусочек за своей кошкой и звериная слюна попала ему на язык — так, по крайней мере, он утверждал сам.

Синичка сказала еще что-то.

— Скажи, — спросил он, — тебе, пожалуй, тяжело живется? — и с улыбкой перевел ответ: — Правда и то, что хлопотно, а вообще думать об этом не приходится. Самое главное, ее жизнь полна, и потому она счастлива.

Синичка вспорхнула и улетела, он проследил ее взглядом.

— И вы будьте так же, — сказал он, будто про себя, — прощайтесь легко и летите дальше. Вы не хуже птиц: у вас есть крылья. — И повернулся к ним.

Лола, не удержавшись, в восхищении первая громко захлопала в ладоши.

— Ландыши ведь тоже — майские колокольчики, разве нет? — спросила с улыбкой, намекая на его запах.

— Вот еще, — пробормотал Бамбино растерянно. Он был сильно смущен.

3

— Учитель, ты говоришь прекрасно, я не понимаю, почему ты не стремишься говорить многим, ты мог бы выступать перед народом! — сказал ему Фазиль.

— Я был бы очень счастлив, если бы вы начали, возможно, публичные лекции, а так же вы могли бы, к примеру, проповедовать в нашей церкви, хотя я плохо представляю себе: наше начальство... — говорил также и Кристиан (он ходил здесь в церковь евангелистов).

В ответ на это Бамбино пришел на следующую встречу с табличкой на шее: «Лифт пассажирский. Максимальная нагрузка 4 человека».

После он говорил и Кристиану, и Лере:

— Те современные проповедники, что пишут книги или проповедуют в больших залах, они сеют семена. А моя задача — не посеять, а вырастить, это немножко сложнее. Я должен быть с каждым разным, я должен знать все, что от меня потребуется, я должен уметь взрастить любое растение. Это нельзя делать промышленным способом.

4

Кристиан был протестантом, евангелистом, Фазиль — мусульманином, Лера — православной христианкой, Лола — атеисткой (или язычницей?). Лоле было здесь проще

всех. Ее не убеждали слова, ей нужно было вещественное, из плоти и крови, представление высшего существа, и в Бамбино она находила такое представление (пусть читатель не примет это за дерзкое богохульство). Когда Лера в доверительной беседе с Бамбино с опаской отозвалась об этом и сказала то же, что наверняка зреет и у многих читателей на языке, именно то, что это может приблизиться к кумиротворению и что Библия предупреждает не создавать себе кумира, он почему-то приложил палец к губам и после тихо ответил ей:

— Когда ты получаешь от любимого письмо, кого ты будешь благодарить больше: его самого, почтальона или бумагу, на которой оно написано? Но ведь даже бумага у тебя в сердце свяжется с ним, и ты будешь благодарна и тетрадному листочку, просто потому, что на нем стоят драгоценные слова. Поверь мне, Лерочка, как только любовь к Любимому превращается в обожание бумаги, я замечаю это и останавливаю в тот же час.

Бамбино, шутя, говорил, что он любит Лолу чуть больше всех прочих из-за того, что она единственная не делит себя между ним и церковью.

— Нет, нет, — спохватившись, добавлял он, — конечно же, каждому из вас нужна ваша вера, и каждый из вас верит так, как для него будет самым лучшим. Честное слово, — лукаво продолжал Бамбино, — я не представляю себе Леру в мечети или Фазиля, расппевающим псалмы, и не думаю, что вам обоим это пошло бы на пользу.

5

Собрав однажды всех вместе, Бамбино говорил:

— Мои милые друзья, каждый из вас верит по-своему, и я никогда не хотел бы вмешаться в ваш способ смотреть на Бога. Но вы ведь знаете и о том, что каждая религия в своем сердце содержит чистое, правдивое и хорошее. Мне хотелось бы вам предложить — только предложить: если вам кажется это блажью, то забудьте мою глупую блажь, — мне хотелось бы предложить вам взглянуть на Бога глазами иной веры. Я был бы очень рад, — продолжил он дальше с мягкой улыбкой, — если бы Кристиан посетил мечеть, Фазиль — церковь христиан веры евангельской, Лола — православный храм, а Лерочка на время стала бы атеисткой. Я знаю, для вас это будет очень сложно, может быть, это самое тяжелое, чему я вас подвергаю. Но, мои миленькие, мне кажется все-таки, это будет очень важным уроком для вас.

Кристиан отправился в мечеть вместе с Бамбино. Дело здесь отнюдь не обошлось одним посещением. Бамбино сам ввел его в некоторые основные священные понятия ислама. Он дал Кристиану Коран, строго обязав читать и размышлять над ним. Более того: совершать пятикратный намаз. Более того: глядеть на мир, на девушек, на людей, совершенно иными глазами — глазами правовежного мусульманина. Бамбино и сам вдруг несколько переменился в отношении к нему, явив теперь в разговорах строгость и какую-то отрешенную восторженность.

Воображение и мечтательность Кристиана, вначале сопротивляясь, скоро сдались под натиском этой богатой и яркой культуры. Он из всех четверых перенес прививку, вероятно, легче всех: теперь он ходил по городу с каменным лицом и героическим сердцем. Впрочем, ислам действительно привил Кристиану то, что не получалось привить никому: подлинное мужество, настоящее самоотвержение и мужественное равнодушие к условиям быта.

Храм евангелистов с Фазилом они также посетили вместе. В другом случае Фазиль, как он признавался после, все бы принял с отвращением и ушел бы через четверть часа, но то, что его учитель находился рядом, смотрел на проповедника ясными, ободряющими

ми глазами, пел вместе со всеми, сподвигло и его самого исполнять эти совершенно диковинные обряды.

Здесь все было совсем не так, совсем не похоже: эта абсолютная свобода, это совершенное отсутствие нужной строгости, эта девическая чрезмерно сладкая, чрезмерно нежная атмосфера, это «Бог есть любовь», которое висело большим плакатом, эта беззастенчивость в открытии своего сердца на общей молитве, когда каждый по очереди произносит то, что думает, и в то время, когда чувствует, что его пора говорить! Для многих евангелистов это все — уже привычные обряды, но свежему глазу Фазиля это показалось так. И этому глазу было тяжело. Фазиль ушел домой, мотая и трясая головой, и вновь не показывался несколько дней.

— Я думал, что Бог — в первую очередь закон, учитель, — говорил он затем серьезно, без возмущения вновь открытым, но тяжело размышляя. — Теперь я должен узнать, что Бог, оказывается, есть любовь. Это очень удивительно и ново для меня.

— Да, мой миленький, — ответил ему Бамбино, улыбаясь. — И этот сам закон — для жизни Любви, а не Любовь — для исполнения закона.

Лола отозвалась неприязненно и холодно о православных священниках. «Я видела одного батюшку на «Мерседесе», с моей знакомой», — сказала она.

— Моя славная, но ведь в каждой семье не без урод! — воскликнул Бамбино. — Если одни батюшки ездят на «Мерседесах», то другие-то должны быть лучше.

И, когда он рассказал ей о жизни Серафима Саровского, Лола пошла с ним на службу, примиренная и растроганная.

Перед храмом Бамбино горячо попросил ее попытаться разбирать старославянские слова и пережить их, почуять сердцем, чтобы не стоять и не мучаться бесполезно, скучая. При этом он сделал вновь уже известную странную вещь: он смочил кончики пальцев слюной и коснулся ее ушей, смотря ей в глаза. Начало службы он тихо шептал ей церковнославянские слова: еще раз, более отчетливо.

И опять суровая холодная вознесенность, ладан, и негромкое сокровенное пение, и тихие слова, непростые слова, которые стали проникать в ее уши. Это все, и атмосфера кругом, и его голос, и его чуткое волнение передалось ей в один момент. «Спасибо, — сказала она наконец Бамбино, взволнованная, — спасибо, солнышко мое: я уже разбираю». *Блистаясь во гробе ангел мироносицам вещающе: видите вы гроб, и уразумейте: Спас бо воскрес от гроба...* Древний текст Литургии Иоанна Златоуста произвел на девушку-дикарку, против ожидания, очень волнующее впечатление. Выйдя из церкви, она заплакала: не навзрыд, не всхлипываниями, но как-то необычно тихо, светло и спокойно. Бамбино довел ее до березки и попросил обнять ее.

Так, стоя, Лола чувствовала вытекающие слезы, и с ними очень много нечистого и нехорошего, что так долго таилось в ней. Когда глаза ее высохли, она, сняв варежку, взяла его руку и попросила самого глубокого, самого чистого прощения за все, что она могла причинить и еще нечаянно причинит.

Бамбино спросил у Леры о том, как она представляет себе бога. То, чего он добился в конце концов, звучало примерно так: это Высшее, Всемудрое и Всеблагое существо, не имеющее вида или плоти, которое находится как бы «по ту сторону» нашего мира и управляет жизнью всех живущих людей.

— Да, — сказал Бамбино, — это все называют словом «бог». Большинство людей. Кхм... Бога нет.

— Полно, Валерочка, ты шутишь, как это часто бывает, — рассмеялась она.

— Нет же, совсем нет. Зачем мне шутить? Если бы он был, как он допускал такое количество несправедливостей, которые творятся каждый день?

— Ты же говорил мне сам: Создатель не хочет заставлять человека и позволяет творить ему все бесчинства, — ответила Лера, обеспокоившись.

— Создатель умер после того, как создал мир, — возразил Бамбино без шутки. — И вообще он был пьян, когда создавал этот дурацкий, перекошенный мир. Твоей жизнью никто не управляет. Если, сделав дрянную вещь, ты получаешь от мира наказание, это потому, что ты сам через свою кражу стал жаднее, глупее и беспомощней перед его сложными течениями. Бог здесь ни при чем. Если же этот бог настолько бессилен, это то же самое, что его не существует.

И дальше он, с ясными и искренними глазами, наговорил Лере целый ворох ужасающих, страшных вещей. «Ты шутишь, Валера, ты шутишь, да?», — спрашивала она его все взволнованней. «Нет же, нет», — отвечал он каждый раз невинно и спокойно.

Всего, что было сказано, я не буду передавать: то, что было применено как антибиотик в одном-единственном случае и с большой осторожностью, для других может стать ядом опасного смущения ума. Лере пришлось тяжелей всего. На следующий день она слегла с болезнью от нервного возбуждения. Бамбино пришел ее навестить и, ласково ухаживая, сказал еще пару слов, которые привели ее в еще большее волнение, но как будто давали ключ к ее мучительным, раздирающим мыслям.

— Бога нет, — сказал он, — но есть много богов.

Я колебался, оставить ли мне и эти слова, но все же надеюсь, что читатель отнесется к ним с пониманием и размышлением. Не моя вина, если кому-то они не принесут равным счетом ничего, кроме желания обвинить в язычестве.

— Я поняла, мой миленький, — сказала она ему на третий день, — улыбаясь ясно, хотя еще очень слабым голосом. — Он не по ту сторону. Он во всем. Он все. Он растворился. Потому Его нет. Правда?

— Верно, Лера, моя умничка, именно это я тебе и говорил, — ответил ей Бамбино, улыбаясь так же. — И ты Его частичка.

6

И еще о том, что касается цветов. Бамбино любил сажать цветы. Какие? Самые разные! Все, пакетики семян которых он мог купить в магазине «Семена», он и сажал. Кто-то постоянно носит с собой записную книжку, кто-то калькулятор, кто-то диктофон, кто-то пистолет. Бамбино часто носил с собой садовую лопаточку.

Проходя в городе мимо клумбы или просто мимо приглянувшегося ему кусочка земли, он останавливался и рыхлил ее и затем высаживал семена. Предварительно он держал семена, крошечные цветочные семена, во рту и умудрялся при этом не проглотить их.

— Зачем ты это делаешь? — спросила его однажды Лера. Последовавшие слова показали ей настолько удивительны, что она запомнила их в точности.

— Я роняю семена в землю, — ответил он. — Я хочу посеять будущее. Я напитаваю землю моими стремлениями. Землю — и будущий воздух тоже. В каждый цветок входит живая душа. Я даю ей мое стремление. Оно взойдет цветком.

— Может быть, лучше выращивать их рассадой?

— Выращивать рассаду в моем питомнике, в моей теплой комнатке? — засмеялся Бамбино. — Они будут нежизнеспособны. И сколько хлопот с пересадкой! И потом, появившуюся невесту откуда молодую зеленую поросль легко примут за сорняк. Дикий же цветок растет неприметно. Кто хочет, тот взойдет.

— Но ведь земля не очень хорошая для них, и климат тоже плохой!

— Погода, — поправил ее Бамбино. — Климат не бывает плохим, только погода. Да, земля плоха, и погода не всегда хорошая, и поэтому половина останется в земле. Но даже у пшеничного колоска около тридцати семян, а у цветка их тысячи.

— Но если все они погибнут?

— Они и должны погибнуть. Семя должно погибнуть, перестать быть само по себе, чтобы родился цветок. Так же и человек должен перестать быть для самого себя.

— Чтобы родился цветок? — спросила Лера, улыбаясь.

— Да! — подтвердил Бамбино. — Ведь цветок своим ароматом привлекает пчел.

— Значит мы — твои пчелки? — спросила она дальше, смеясь.

— Да, — сказал Бамбино с напускной важностью. — Ты моя трудолюбивая пчелка, Кристиан — мотылек, Лола — оса, а Фазиль — мой усатый жмел.

Просмеявшись вместе с ней, он добавил:

— Я скажу тебе еще одну очень важную вещь, Лера. Запомни ее: только если человек станет цветком, он может стать Садовником.

Решение

Эту короткую часть я посвящаю, как и обещал, причинам рождения и скоропостижной смерти Бамбино.

Шестого января, в канун Рождества, друзья собрались у Бамбино. Разговор был посвящен теме долга, если выражаться школьным языком. Бамбино мягко говорил Лере, (м)учившейся на двух факультетах сразу, более на втором, фортепьяно и теории музыки, о том, что мучения ее совершенно напрасны, заодно отвечая Кристиану, стенающему от внешних условий жизни и невозможности посвятить себя полностью духовному пути:

— Дорогие мои друзья, не существует духовных и мирских путей. Все, что вы встречаете в своей жизни — все вам послано от Господа Бога с какой-то целью. Все люди — актеры, что исполняют для вас его задумку, не зная об этом. Вы же должны слушать не людей, не мирское мнение, а то, что Господь Бог хочет вам сказать через них. Так, я думаю, что через Лерочкину невеселую жизнь он как раз хочет, чтобы наша Лера проявила больше мужества и ушла со своей труппологии музыки. Ведь мужество, как и нежность, тоже очень важное качество.

— Но мне кажется, — вздохнул здесь Кристиан, — но мне кажется, что в Евангелии сказано об этом: нужно платить и богу, и кесарю, то есть внешнему миру так же.

Бамбино задумался ненадолго, и лицо его прояснилось ясной улыбкой.

— Я за вас уже заплатил, — сказал он, легко рассмеявшись. Когда все подняли на него недоуменные и веселые глаза, он пояснил: — Вот посмотрите, сравнение из области бухгалтерии, Кристиану, как практичному немецкому товарищу, должно очень понравиться. У каждого человека в его душе приход и расход: в приход идут добрые дела, а в расход — дурные, это его долги. Если в расход поступила какая-то сумма, нужно ее погасить через приход, сделав доброе дело. Причем здесь есть такая финансовая тонкость, что погасить эту сумму можно только в этой же валюте, в какой был сделан долг. Другими словами, каждое дурное дело нужно искупить добрым такого же свойства. Понимаете, да? Но если на вашем счету большая сумма, вы можете заплатить за другого.

Все притихли, думая о ранее сказанных словах.

— Как это происходит? — спросила Лера тихонько.

— Вы обращаетесь с молитвой к Богу, — ответил Бамбино, — и просите его, абсолютно искренне, взять часть долга другого человека на себя. Причем если вам самим, как и ему, нечем заплатить, вы будете страдать вместо него. А мне страдать не пришлось: мой доход высокий, а расхода нет. Помнится... мы шли с Лерой вместе по важному делу, и Лера грустила, что прогуляет занятия. Пришла — а их отменили. Вот так. Кхм... Это, однако, не повод для вас, дружочки, безбожно прогуливать лекции, кататься без билета, когда есть деньги, или воровать из магазина мороженое на десерт и...

Все расхохотались.

— За меня, наверное, много пришлось платить: я большая грешница, — сказала Лера, улыбаясь. И вдруг, потеряв улыбку, она спросила обеспокоено: — Валерочка, а другие?..

И здесь все притихли при мысли о том, что их вольная является по отношению ко всем прочим несправедливой. Бамбино тоже несколько призадумался и ответил после некоторого молчания:

— Миленькие мои, если вы желаете помочь другим так, вы не сможете этого сделать для многих. Давать нужно из избытка сердца, а не из бедности его.

Лера спросила:

— А ты, Валерочка? Ведь твой душевный запас гораздо больше нашего...

Бамбино покачал головой и с улыбкой сказал:

— Не думайте, друзья мои, что я образец совершенного человека.

— Это так, — возразила Лола твердо.

— Нет, — ответил Бамбино с той же горькой улыбкой, — нет, это все же не так. Моего душевного запаса не хватит на очень многих.

— На сколь многих? — спросила Лола быстро.

Бамбино опустил голову и задумался. Наконец, он поднял голову и сказал неуверенно:

— Моего запаса, дружочки, хватит на небольшой городок или деревню... не знаю...

И он обвел своих друзей глазами.

— Да, — ответил он один за всех, — да, если нечем платить, можно заплатить страданием. И я совсем не равен Тому, Кто однажды искупил весь мир от всего греха.

Лера встрепенулась.

— Я думаю, Валера, — проговорила она мучительно и почти слезно, — как много есть детей, и девушек, и юношей, гораздо лучше и талантливее меня. Почему они должны мучаться?.. — и подняла к нему взволнованные глаза.

— Не волнуйся, Лерочка, — ответил ей Бамбино горячим шепотом, — если бы я смог хотя бы для одной страны выстрадать эту свободу, я сделал бы все, чтобы заплатить этот долг.

Молчание повисло в воздухе.

— Но желаете ли вы сами, чтобы я решился на это? — спросил Бамбино звонко. И дальше прибавил странные слова, произнес их очень отчетливо: — Смотрите, я испытываю вас. Желаете ли вы сами, чтобы я решился на это?

Все, потупившись, молчали.

— Кристиан, — сказал Бамбино тихо, — возьми с полки библию и прочитай тот отрывок о Петре, тот, о котором мы давеча говорили.

Кристиан ослабевшими руками взял книгу, долго листал ее и, наконец, найдя отрывок, прочитал неверным голосом: «Тогда Петр стал говорить ему: равви, если это так, то лучше бы тебе не совершать сего. Иисус отвечал ему: Отойди от меня, искушитель. Ибо ты мыслишь о том, что божеское, но не что человеческое».

— Спасибо, Кристиан. — сказал Бамбино.

Он выдвинул ящик стола, на котором сидел, вынул из него ручку и листок бумаги и протянул Кристиану.

— Напишите каждый свое желание об этом, — попросил он.

Медленно листок отправился в свое долгое, очень долгое путешествие и вернулся назад. На нем стояли четыре «да», написанные в разных углах и печатным шрифтом, будто те, кто писали, не хотели, чтобы узнали их руку.

Лицо Бамбино разгладилось.

— Спасибо, славные мои, — проговорил он негромко и с благодарной полуулыбкой, — вы не разочаровали меня. Теперь позвольте мне подумать о том самому хотя бы одну ночь.

Во дворе одного из домов на улице Свободы стоит заброшенная железная телевышка. Она заброшена с тех пор, как построена новая, и теперь медленно ржавеет и разрушается. К ней и отправился Бамбино, все его друзья — вместе с ним, сопровождать его.

Вышка стоит на высоком, в один этаж, каменном цоколе. Бамбино был крайне легок для своего роста, а Фазиль очень силен: он подсадил его так, что Бамбино смог встать ему на плечи и оттуда ступить на край каменной площадки. Далее вверх вела железная лестница с редкими пролетами. Друзья следили за ним до тех пор, пока Бамбино не скрылся на самом верху.

Бамбино провел всю ночь, не смыкая глаз, на самой верхней площадке, той, с которой весь город с ее огнями виден, как на ладони. Никто не знает, какие мысли приходили ему там и что за искушения желали его оборотить. Рано утром все появились на том же самом месте, все, хотя никто не договаривался об этом заранее, и ждали его спуска. Когда он услышали, наконец, звон железной лестницы, когда сам Бамбино подошел, чтобы спуститься вниз с края каменной площадки, восемь рук протянулись, чтобы принять его, ему навстречу. Они бережно спустили его и отошли в стороны.

Бамбино побледнел за это время и казался очень усталым на вид.

— Тяжело, — сказал он, улыбаясь. — Не знаю, сумею ли. Но я, миленькие мои... попробую.

Он стоял перед ними, этот мальчик, и дрожал от холода в легкой курточке, со своими горестно-улыбающимися глазами.

— Я люблю вас, — шепнул он. И, сжав руки на груди, он опустился на колени в снег и опустил голову, продолжая сохранять всю ту же режущую сердце улыбку.

Он так и дрожал от холода. Фазиль осторожно вынул из сумки и развязал свою уже известную нам белую бурку. Подойдя, он бережно надел ее Бамбино на плечи, сказав:

— Теперь, Учитель, ты должен носить ее, думаю.

— Спасибо тебе, Фазиль, — ответил Бамбино, огляделся вокруг, затем направил снова глаза к снегу, ввел в него руки и явил на свет божий:

— Поглядите, что я нашел, — предложил он весело. Это был круг, вернее, замкнутая цепь из массивных железных пластин.

— Собачий ошейник, — сказал Фазиль.

— Да, Фазиль, — ответил Бамбино, — собачий ошейник. Должно быть, убили и съели собаку, только так можно снять такой ошейник. Знаете, какие слова есть в Евангелии от Фомы? *Как человек этот съест ягненка и насытится и войдет в город, если только не убьет его?*

— Это корона, — сказал вдруг взволнованно Кристиан. — REX.

Кристиан знал латынь.

— Верно, Кристиан, — ответил Бамбино и поднял голову, — это корона. Видите, REX выбито на пластинке? Это значит «царь» на латыни.

Лола быстро опустилась перед ним на колени и взяла венец из его рук, держа на двух ладонях. Протянув каждый к нему руки, они медленно возложили венец на голову Бамбино.

— Волосы, — прошептал тот, закрыв глаза, — спрячьте его под волосы. Длинную челку выстригу себе: никто пусть не видит...

Они выправили волосы поверх венца.

— Тяжел, — сказал Бамбино шепотом. — Колючий. То, что нужно.

Открыв глаза, он поднялся и произнес:

— Даю вам зарок, что не сниму ни на миг, пока все не случится. Спасибо, миленькие мои, спасибо вам за честь. Теперь мне дороги назад нет. Дай Боже, чтобы оказался достоин вашей чести.

Тропинка на кресты

Остальное случилось в промежуток времени, меньший месяца. Все это время Бамбино носил свой венец, шипами внутрь. Не снимал его даже ночью; Лера сшила ему подушечку, под голову.

Для чего ваш учитель ест и пьет с мытарями и блудницами?

Со своими старыми друзьями Бамбино долго не виделся, но седьмого числа вечером они позвонили ему, стосковавшись, и пригласили на одно из привычных собраний просвещенной молодежи. Отношения были возобновлены. Именно на той встрече М. спросил Бамбино с улыбкой:

— Кажется, у тебя новая девушка, Валера?

И он подробно описал внешность Лолы.

— Нет, — ответил Бамбино бесхитростно. — Нет. Это моя ученица.

И тут сам же, наверное, прикусил язычок. М., опешив, переспросил:

— Ученица? — усмехнувшись отечески, добавил: — Ну-ну... Ну-ну...

Лола именно тогда была вызывающе накрашена.

Также любят председания в синагогах.

На следующий день Бамбино пришел к своим «старшим друзьям».

— Нам нужна школа, — сказал он и изложил свою давно сберегаемую мысль об Общине.

Оба приятеля скептически переглянулись: «Хорошо... а как это будет?» Бамбино начал говорить о своем видении школы. Идея увлекла их обоих — юноши были пылкие и хорошие. Признаться, «у них тоже была такая мысль...». Оба сели немедленно за стол и принялись увлеченно создавать устав. Они жарко спорили, потом снова писали... Бамбино стоял, забытый, в двери и, смотря на них, любовно-грустно улыбался. Но, впрочем, он и сам немножко взволновался, когда выяснилось, что регистрация духовной школы на базе культурно-воспитательного центра «Восхождение» при райадминистрации, воз-

можно. Поле более широкое и возможность открывалась: ведь Любимая его просила собрать всех ее рода под свои крылья!

Он же сказал на это: Истинно говорю вам, мытари и блудницы первее вас войдут в Царствие небесное.

Бамбино шел с Лолой по улице, и они увидели рекламку какой-то продвинутой вечеринки. «Нам нужны ангелы! — гласила нахальная бумажка. Он остановился. «Ах, вам нужны и ангелы? — проговорил он, смеясь. — У нас, может быть, и есть ангелы, да не про вашу честь!» Он сорвал бумажку и, аккуратно порвав, развеял по ветру. «У тебя есть губная помада?» — спросил он Лолу. Помада оказалась. Бамбино приклеил белый лист за обрывки оставшегося скотча и карандашом губной помады написал выразительно и просто имя Матери Божьей, MateR THeI, в славянском изводе: Мыслете, Рцы, Фита, Ижица. И подписал под ними: *Милая, будь благословенна.*

Случайно М. увидел тот листок (впрочем, случайностей, как известно, на свете не бывает: так, видно, должно было случиться).

— Ну, знаешь ли, Валера! — взвился он.

М. попросил Бамбино приехать к нему для важного разговора и долго говорил о том, что священные имена, при всей глубине и непосредственности религиозного чувства, не пишутся губной помадой и с такими фамильярными сопроводительными надписями. Бамбино сидел, положив руки на колени, и с улыбкой смотрел на этого странного человека. Что он мог ему сказать: что губная помада не унижает Создательницу всего на свете, и, в том числе, губной помады; что надпись о любимой как о любимой не может быть фамильярной?

Поступок сей обсуждался обоими друзьями, и долго они толковали, не по-юношески качали головами. А назавтра должен был быть урок духовной школы, в том самом «Восхождении». Докладывать должен был Валера Арсеньев.

Про себя же подумали: «Посмотрим, как он скажет!»

...

Горе вам, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе вашем: Справедливость, и Сострадание, и Веру! Это надлежало делать вначале.

— Хватит! — сказал Бамбино, когда шум улегся, и обвел общество блестящим властным взглядом. — Хватит! Мои дорогие друзья, мы собираемся не первый раз уже и благополучно превращаем сокровенные собрания в очень опрятные чайные посиделки. Милые, дорогие друзья! Все вы очень начитанны в священных вещах, я не смею в этом сомневаться; я видел здесь мужчину, который говорил, как четыре раза в году медитирует на солнце и четыре раза в месяц — на луну. Волки это делают реже. (Смешки раздались.) Право, это все очень, может быть, весело, только не кажется ли вам: Спаситель не учил нас такой утомительной глупости?

Друзья мои! Вы ходили ли когда-нибудь по улицам, вы смотрели ли людям в глаза? Вчера ваш славный пробуждающийся русский народ вытолкал беременную женщину из автобуса. Вчера я слышал, доцент за отметку о зачете склонил к постели девушку. Вам это неинтересно, дорогие мои? Вам не кажется ли, что Христос не затыкал уши?

Грустно мне думать, что наша школа стала кучкой образованных деревяшек. Вы помните ли первую Христову заповедь, ученые мои? Вы знаете ли в себе любовь, которая не помещается в бедное человеческое сердечко? Нет? Так верните продавцу обратно, плохо

они вас научили, ваши книжки!.. — И вдруг, сойдя с кафедры, он вышел в коридор, где расположился на столе книготорговец.

— Взгляните, — воскликнул он, — «Бхагавад-Гита», подарочное издание, за 150 рублей! «Новое откровение господина нашего Иисуса Христа», за 200! Курительные палочки, объекты для медитации, настенные мандалы, китайские колокольчики!.. Как дорого, господа, быть духовным человеком в наше время!

Он толкнул носком ботинка в сочленение ножек столика, и тот сложился с пылью и грохотом.

Оба наших приятеля были порядком переполошены — все же в добром смысле — тем «уроком». Алексей Мстиславович появился вечером у нашего друга. Возволнованно и тепло говорили они. В результате сошлись-таки на том, что дело не пойдет от божьих старушек и в школе будет образована «младшая группа». В заключение, с чувством пожав руку, Алексей Мстиславович заверил, что надеется, что «имеет дело с честным человеком».

Сказать важно, что М., хоть и имея отеческое снисхождение, все-таки... даже восхищался в некотором роде Валерой Арсеньевым. «Ах, Валера, Валера, с такой недалекой простотой, как ребенок, и таким талантом!..»

И приветствия в народных собраниях; и чтобы люди звали их «учитель! учитель!». А вы не называйтесь учителями.

А меж тем дело-то на этом не кончилось, некоторые бывшие на третьем уроке звонили после «инцидента» руководителю центра, Василию Петровичу, и желали увериться в том, что слушатели курсов, их дети в том числе, «более не будут сталкиваться с подобными сумасшедшими». Тот по телефону серьезно отвечал, что он непременно разберется и не допустит регистрации духовной школы при невыдержанном характере ее молодых преподавателей. Вот тогда Алексей Мстиславович уже немножко серьезно испугался и решил для совершенного выяснения поговорить с «младшей группой» (то есть с Кристианом, Лолой, Фазилом и Лерой, которые в тот раз устроили своему учителю веселую овацию при молчании всей прочей публики).

Итак, М. пришел в «младшую группу» (Бамбино не было) и осторожно заговорил: друзья — понимаете ли — может быть, все-таки — у вас, другими словами, не возникает вопроса, что — ммм, эээ... — И тут он огляделся и заметил, что ученики превесело на него смотрят и решительно не могут взять в толк, что этот юноша в полосатом пиджаке здесь делает.

— Нет, — ответила Лера за всех, улыбаясь (ох, нехорошо, нехорошо она улыбалась!), — у нас не возникает никаких вопросов.

Алексей Мстиславович встал. Как хотите, здесь определенно пахло сектой!

Какие странные слова! кто может это слушать?

Бамбино решил сделать такую вещь: написать письмо Василию Петровичу. Оно не дошло до меня, но, как я смог все-таки установить, было спокойным и доброжелательным. Бамбино просто просил не волноваться чрезмерно и не стопорить невольно важного дела из присущей каждому человеку склонности к консерватизму. «Я искренне опасаюсь, — написал он также, примерно в следующих выражениях, — что Ваше здоровье может иначе пошатнуться и повредиться из провиденциальных причин. Вам же и самим должно быть известно, что препятствие важному для Провидения делу может быть очень опасны для человека».

Он закончил, и рука вдруг, по старой привычке — Господи, какой старой! даже память о движениях иногда сохраняется... — вывела: Franciscus Assisiensis. Кстати, ведь Бамбино не учил латынь, а вспоминались ему иногда некоторые латинские слова. Ну что же: улыбнувшись, он решил это так и оставить, только добавив: *nativus nove*.

Василий Петрович, прочитав письмо, принял его, похоже, за вежливую угрозу. Он и отдал бумажку нашим приятелям, при этом добавив несколько вздохов.

Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. Не лечит врач знающих его. И не совершил так многих чудес по неверию их.

Оба сразу узнали руку Бамбино, руку Валеры Арсеньева, латынь М. со словарем скоро перевел. Оба вначале только переглянулись и расхохотались, затем уж М. форменно вскипел, походил по комнате, поругался да и плюнул с досады.

Нашего друга вызвали для объяснений, причем Алексей Мстиславович с особенным ехидным пристрастием поинтересовался: что же, у Василия Петровича так и не защемило сердце, не прихватило печень и т. д. при противодействии делу святого Франциска? «Я не знаю, честное слово», — ответил Бамбино потерянno (я бы, впрочем, ответил, что сало — вещь нечувствительная).

Боже мой, Боже мой, почему Ты меня оставил?

«Любимая, — прошептал Бамбино в автобусе, — что же ты не дала знака для того человека? Или отнюдь не так нужно это дело, если встречаю противодействие Твое? Или я, может быть, вправду не тот, а зарвавшийся мальчишка с фантастическими бреднями в голове?»

Вернувшись домой, он собрал на балконе велосипед и вывел, не ко времени года, с колотящимся от натуги сердцем, на Московское шоссе. Грузовики шли к обочине вприпрыжку, на ревущей скорости, любой мог не заметить велосипедиста, да и поскользнуться велосипеду на зимней дороге недолго — если он и вправду оказался поддельным святым, то давно стоило! Он проехал километров семь.

«Поворачивай, — сказала Она грустно, — возвращайся и трудись, бедный мой. Не нужно мне самоубийц». «Хорошо», — шепнул Бамбино и повернул назад. Все же ужасно тяжело ему было.

Поутру же, возвращаясь в город, взалкал; И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и ничего не нашел на ней, кроме одних листьев.

Погода сошла с ума, то внезапные, жаркие и короткие оттепели, то заморозки, и солнце стало палить в эти оттепели хоть и холодно, но бессовестно и пронзительно. «Палестина, Палестина», — шептал Бамбино, шлепая по январским лужам в резиновых сапогах, — безобразная Палестина, да еще и мокрая».

Была странная закономерность в том, что, когда он находился в светлом, ясном и любящем расположении духа, холод не брал его, но во время тоски и огорчения охватывал озноб. Теперь же лишь тяжелейшая бурка Фазиля спасала его, и то не всегда, от холода. В это же время стал регулярно пропадать тонкий запах ландыша, от него исходивший.

«Встречи с преподавательским составом школы» и его «ученики», его друзья, с которыми он по-прежнему был чарующе ласков (никогда он не подделывался, но просто стыдно было бы с его милыми хранить хмурость, и он истлевал для них, как тоненькая свечка,

снова не чувствуя холода), и весь этот утомительный вздор в его универе изматывали его совершенно — однажды он так устал, что вышел из автобуса и заснул под деревом, на оттаявшем кружочке земли вокруг.

Вы не знаете ни меня, ни Отца моего; если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего.

В эту историю включилось еще одно лицо. Лена звали ее: девушка с тяжелой черной косой и надменным итальянским видом, правда, и хороша была она этой тяжелою прерзительной красотой. Она увидела Бамбино на той встрече, седьмого числа, и была увлечена, романтически восхищена его видом и теми несколькими словами, что он сказал. Она потянулась к Бамбино, но и не совсем хорошо потянулась — хоть и не как к юноше, а меж тем как идет зверь на родник, а сам его может и затоптать. Она выяснила его адрес и однажды пришла к нему домой, без церемоний, сама.

Бамбино тронуло ее участие, он видел только искреннее в том, он открыл свой родничок. Она села рядом у его стула, на колени, в послушной ученической позе — больше из озорства, из причуды, но и это его тронуло — она села и смотрела, и он начал говорить просто и удивительно.

«Я слышу мою Любимую», — сказал он так же, как говорят о самых обыденных вещах. «Какую любимую?» — не поняла та. «Спаситель говорил про нее: Отец, что он с ним един, но это же неважно, как называть...» — сказал он, улыбаясь детски. Лена задумалась и опустила голову, улыбаясь тоже. «Чудные вещи ты говоришь, — прошептала она, — чудные...»

И, конечно же, не задумалась о том проболтаться другу своему М.

«Я думаю, — сказал грустно и со вздохом, в задумчивости поглаживая свою бородку М., и еще подождал, — что Валера сошел с ума». «Я не говорю, что он сошел с ума!..» — прибавил он, спохватившись.

Не давайте святыни псам, не бросайте жемчуга вашего сердца пред ними, чтоб они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас.

Лена приходила к нему несколько раз, в слезах говорила про М., что решила «навсегда покончить с этим», что «видит насквозь этого страшного человека», «он же ничего не видит, что ты делаешь, Валера, он же не понимает тебя, он же самолюбив, ему же ничего, кроме себя, не надо!» — шептала она. И изливала ему, помимо того, всю душу, все наболевшее, всю усталость и путаную грязь. Бамбино снимал ту простыми и ясными словами. Девушка эта шла, облегченная, вновь к М.: это было не двуличие, просто так скоро сменялись ее душевные состояния. Она полюбила М. сильно и привязчиво — и все же не совсем светлая была эта любовь.

Однажды нашей томной итальянке было бесконечно тоскливо — она набрала номер Бамбино. «Приходи ко мне, милый мой хороший человечек...» — протянула она горестно. Бамбино пришел, и Лена начала вновь плакаться на свою судьбу, говорить, что не допустит лжи и неискренности М. по отношению к ней, не даст поработать себя, будет хорошей, правдивой и твердой, не откажется от его, валериных слов. Не совсем убедительно это звучало, и что-то странное лежало в комнате, он не мог понять, и вдруг понял.

Канарейка! Желтая канарейка заливалась в клетке беззаботно, она пела, она рассказывала. Лена что-то продолжала говорить ему, а канарейка пела, пела о том, что ЛЕНА

ЕЩЕ УТРОМ, ОБНИМАЯ М. ЗДЕСЬ ЖЕ, ГОВОРИЛА ТОМУ В УГОДУ: «Ах Валера наш... люблю я его: дурачок он наш, блаженненький...»

«Откажись от этих встреч», — сказала Любимая. Бамбино поднялся.

— Мне лучше оставить тебя, — сказал он без гнева, но твердо. — Миленькая моя, дорогая, и тебе я советую оставить чувства, что мучают и унижают тебя, и не изменять невольно тому искреннему и лучшему, что в тебе имеется, — добавил он тихо и дальше молчал на вдруг разом посыпавшиеся возгласы, и с грустью покинул ее, и не приходил уже больше.

Не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему: Господи! к кому нам идти?

Лена рассказала об этом случае М. — просто выпалила ему в горячечном припадке. «И еще он сказал, что я должна тебя оставить!» — в горячей женской ядовитости выплеснула она.

Вмешательства в свою личную жизнь Алексей Мстиславович вынести уже не мог. Он явился к нашему другу, зная, когда тот собирает своих, и, ворвавшись вдруг, начал говорить со скромным напором торжествующей справедливости, шагая по комнате. И умно, и убедительно, и едко, — о, он, пожалуй, и речь заранее обдумал! — в два счета объяснил им, что подлинный святой не будет никому желать болей в сердце, во-первых, не будет разлучать двух любящих друг друга людей, во-вторых, в-третьих, что победить можно только единством, а не сектантскими посиделками, и что когда он, он допустил непоправимое и гибельное образование младшей группы в их школе, то был он форменным олухом, и в-четвертых же, что некоторые восторженные личности могут страдать галлюцинаторным расстройством слуха. После чего и покинул собрание, любезно простившись.

Бамбино поднял голову от колен — он сидел, охватив колени руками, на ковре и не вымолвил ни слова за это время.

— Что же, — сказал он, улыбаясь, — если хотите, вы можете идти.

Лола встала и гневно шваркнула незакрытой дверью.

— Стыдитесь!! — сказала она. — Вашего наставника ругают, а вы молчите и уши развесили, да?! Некуда нам от тебя идти, Валера, — добавила она шепотом, опустившись с ним рядом, и спрятала в его руках свое лицо в тихом плаче.

И кто хочет между вами быть первым, он станет другим рабом.

Лола пришла к Лене. «Вы не знаете его, — начала она с порога, — вы...» Лена, не дрогнув мускулом в лице, назвала ее влюбленной дурой и любезно предложила катиться к своему Валерочке.

Лоле уже глаза туманились слезами; она наговорила хлестких дерзостей немедленно. Лена спокойно залепила ей пощечину. Коротенькая пауза возникла.

О, Лола бывала уже в таких переделках! Нахальства ей тоже было не занимать стать — она захотела сейчас вцепиться в волосы и нахлестать по щекам! И вдруг случилось удивительное: Лола только низко склонилась, шепнула «Прости меня, пожалуйста» и с горячими слезами вышла. Она подумала о Бамбино, что бы он сделал на ее месте.

А у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному: «и к злодеям причтен».

Собрания просвещенной молодежи практиковались у М. на квартире, Бамбино появился однажды там с молчаливым Фазилем. «Тебе будет полезно», — сказал до того Бамбино. Речь шла о музыке. «Ну, что это такое, — говорил С., раскинувшись в кресле и зачесав пятерней волосы, — что вы со своим Рахманиновым? Шуму-то, шуму! Эффектен, батенька, эффектен, а толку-то что? Ему первые свои фокусы в голову ударили, вот что я скажу: вначале хороший был мальчик, а потом уж извините — род творческого онанизма. Это как Валера наш: вначале хороший мальчик был, а потом уж тоже туда же...», — продолжил он при общем смехе. Фазиль, и без того кислый, вдруг побагровел; вскочив на ноги. «Я тебе уши отрежу, мочалка!» — вскричал он страшно.

Все притихли. Бамбино посмотрел на него в упор, сказал ему тихонько три слова, и Фазиль, стыдясь, опустил подбородок в грудь. Потом поднял голову.

— Я прошу прощения, — обратился он к собранию, — за свою несдержанность. — И поклонился всем. — И все же я уверен, — добавил он от себя, — что о людях с огнем в сердце не должны говорить люди с мочалкой в сердце.

— Ты говорил — он композитор? — воскликнул Фазиль на лестнице. — Он... знаешь что? Ни черта ни понимает в музыке!..

Он еще что-то возбужденно говорил, но в конце концов виновато затих.

— Никогда не стоит обнажать оружие, Фазиль, даже на словах, кроме как для справедливой защиты, — произнес тогда Бамбино. — Теперь мне нужно будет чем-нибудь заплатить за твою пылкость, мой миленький.

Это для того, чтобы на нем явились дела божьи.

Бамбино ехал в трамвае, и вся скудость, вся мелочность его милых бывших друзей на него навалилась. «Господи, зачем же все это творится!» — воскликнул он мысленно.

«Чтобы видел, что может быть с самым лучшим, — сказала ему Любимая, — это все уроки для тебя, бедненький мой». «Живыми людьми делаются Твои уроки. Дорого же ты платишь за мое образование, Родная моя!» — прошептал он горько. Она не ответила.

Увидев это, он прослезился.

Бамбино увидел двух дерущихся старух — внутри ему как кипятком облило. Бегом он взлетел на свой этаж. «МИЛАЯ, — вырвалось из него слезное, — ЧТО Ж ТЫ ТВОРИШЬ! Почему со своими я несокрушим и светел, а один остаюсь, как дрожащая собачка?..» — «Так для твоего дела, милый мой, — ответила Она ласково и грустно, — и первого довольно».

Я емь пастырь добрый; пастырь добрый полагает жизнь свою за овец; а наемник, которому овцы не свои, видит проходящего волка и оставляет овец и бежит.

Чаша терпения Алексея Мстиславовича переполнилась. Подвергать своих друзей злобным нападкам и угрозам разнузданных сектантов он был не намерен. М. позвонил нашему другу поздно вечером и заявил, что появится на очередном, как он выразился, «сборе младшей группы». Тот заверил его, что приходить ему вовсе нет нужды. «Да нет уж, я приду, мой дорогой!» — пообещал тот и повесил трубку.

Бамбино положил в свою очередь трубку и глубоко задумался.

М. расскажет о выпаде Фазилия, явив его, не нарочно, а по естественной склонности преувеличить в деле отстаивания справедливости, в самом жестоком свете, так что Лера и Кристиан посмотрят на Фазилия испуганно и жалостливо. Потребуется от него, Бамби-

но, много чуткости, чтобы объяснить истинное положение, и это случится лишь потом. М. же поставит вопрос: правильно ли вообще происходит их работа, и не приближается ли она к опасному сектантству? Лола укажет ему на дверь. Тогда он громогласно объявит о том, что убежден в самом печальном, в чем не хотел бы убеждаться, и что в меру своих сил будет из глубокого морального чувства противодействовать их жестокой деятельности. Он будет искренен со своей стороны.

— Нельзя его допустить, моя Милая, — сказал он невесело.

«Вот и не допусти, — ответила Она и рассмеялась звонко, как молодая девушка. — Как думаешь, Небесную полицию мне по каждому пустяку вызывать?»

— Но что же, взять мне разводной ключ да встать на пороге? — воскликнул он отчаянно.

«Нет, миленький мой, — ответила Она грустно. — Никогда насилие не будет помощником. В детской беззащитности твоя сила».

— Добрый день, — поприветствовал Бамбино М. на пороге подъезда. Тот, сухо поздоровавшись, хотел прошмыгнуть мимо. Бамбино расставил руки, глядя на него испуганными молящими глазами. М. отступил на шаг, долго смотрел на него и в конце концов рассмеялся.

— Да что же ты, Валера, — сказал он со смехом, — не целый же ты век здесь будешь стоять. Сейчас кто-нибудь пойдет, вот и посторонишься, а я пройду. Ну пропускай меня, хватит комедию ломать.

Тогда Бамбино стал... Тогда он стал раздеваться, даром что стоял январь. Он снял дубленку и положил на пороге. Затем стянул свитер и положил сверху. Расшнуровал ботинки и вышел из них. Дальше расстегнул брюки и снял те. И принялся расстегивать рубашку.

М., отступив на шаг, смотрел на него со все большим страхом, а тут повернулся и быстро пошел, почти побежал прочь. Не было больше никакой возможности говорить с этим глубоко безумным человеком. Сердце обливалось кровью за этого несчастного.

Любите врагов ваших.

Бамбино шел рано утром, по снежку, переходящему в слякотный дождь, когда здоровенная овчарка выскочила на него из-за подворотни и, присев на задние лапы, хрипло залаяла на него, какой-то булькающий рев мешая с гавканьем. Ни одно животное никогда не реагировало на него так. Собака была, может быть, одержима, и с бесовской одержимостью животного страшно столкнуться.

— Ну, ну, — сказал он тихо.

Овчарка все лаяла, захлебываясь — он быстро шагнул и, опустившись на колени на мокрый асфальт, обнял ее. Она стала вырываться и хотела его укусить — он только крепче и нежнее сжал ее в руках.

Потихоньку она прекратила лаять и жалобно приникла к нему, заскулив. Бамбино обнимал ее, и гладил, и слезы текли у него по лицу.

Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их.

Это было 31 января. У «ЗИЛа» полетели колеса, и Валере отец предложил за умеренную плату поставить тому новые «обутки», то есть сменить по такому случаю резину. Ребята узнали об этом, и Лоле пришла мысль: поехать всем им на автобазу и помочь, чем они смогут.

Бамбино приветливо махнул им все тем же гаечным ключом. «Вы никак хотите помочь?» — спросил он.

Про некоторую работу говорят, что она «не женских рук дело» не из-за тяжести ее больше, а из-за нечуткости отношений между работниками, но самим девушкам Бамбино объяснил все так просто, деликатно и ласково, что и менять резину с ним было приятным занятием. Все перепачкались и хохотали; Бамбино повел их умываться к рабочему умывальнику. «Постойте же! — осенило его вдруг. — Вы ведь голодные все, бедняжки мои, разве нет? Ждите здесь меня!..»

Он отправился в магазин неподалеку, прихватив с собой Лолу. Он все смеялся легким беззаботным смехом по самым разным поводам — Бог мой, с какой радостью Лола, они все сегодня слушали его смех! Будто что-то мрачное отошло на иное время.

Вернулись и быстренько сообразили рабочий полдник.

— Садитесь же, ешьте, — сказал он.

Они сели тогда прямо на полу, как садились обычно, постелив газеты, Фазиль просто прилег — и полдничали. «Ешь шоколад! — кивнул Бамбино Кристиану с улыбкой. «Ведь вы же не едите...» — сказал тот смущенно. «Ну, конечно!» — и Бамбино сам взял дольку.

Удивительное любовное чувство наполняло всех в эту минуту.

— Хотелось бы мне знать, — лукаво начал Бамбино, словно думая спросить дальше: вправду ли вы меня любите?

Лера, угадав его мысль, просто положила ему голову на колени, будто говоря за всех — несказанная тихая нежность была в этом, и понял каждый, и все смотрели со слезною улыбкой. Тогда вдруг Бамбино взял чашу (на базе была замечательная чаша, наподобие славянской братины, из автомобильной фары, отлетевшей однажды), медленно и долго наполнил ее доверху и поставил. Затем взял оставшийся целый хлеб и преломил его.

— Возьмите сейчас от меня все, что во мне есть, — сказал он тихо, таким голосом, который бросает в жар. И роздал им хлеб, и чаша обошла круг.

«Девушка, девушка, — сказал он Лоле словами из русской сказки, — зачем плакать, вода и так соленая...» И еще он спросил — Лера пила последней, — он спросил тихо: «Ну как?» «Горькая», — отвечала она. «Да, — сказал он, — горькая наша вода, Лерочка, мой дружок».

Вот, приблизился час, и сын человеческий предается в руки грешников.

Четвертого февраля у Бамбино должен был быть день рождения — тем, двоим, тут стало стыдно, — и Лера отчаянно просила за них, хоть все прочие возмутились дружно, но она так огорчалась этой ссорой! — и Бамбино сказал: «Пусть приходят».

Его пчелы слетелись раньше назначенного времени, у них было еще несколько нежных и тихих минут побыть одним в его комнате.

Лера подарила ему свитер, белый и пушистый. «Из овечки», сказала она, смеясь. Он надел его, и всем вдруг захотелось почему-то, чтобы он стал похожим на барашка. Девушки озорно переглянулись, и Лола предложила его завить щипцами. Он рассмеялся, но затем, пораженный чем-то, согласился с каким-то испугом в глазах, и во время завивки сидел кроткий и сосредоточенный на томившей его мысли.

— На кого я похож, на девушку? — спросил он с оживлением у всех, после того как это закончилось. Все смеялись и хлопали парикмахерскому искусству Лолы.

— На ягненка, — сказала Лера.

— Нет, — возразил серьезно Фазиль. — В Новом Афоне есть такая фреска. Такие же волосы у того человека.

— Мне нужно быть красивым сегодня, Фазиль, — ответил ему Бамбино грустно и серьезно, — иначе Невеста не посмотрит на меня.

— Какая невеста? — спросили девушки в один голос.
И здесь раздался звонок в дверь.

— Дружочки мои, — проговорила Лера в прихожей просительно и тихонько, — вы не обижайте, пожалуйста, Валерочку. Хорошо? — и, задержав еще взгляд на каждом, пошла с надеждой. Приятели переглянулись.

— У нее глаза зомбированные, — сказал М. громко.

Оба веселились на этом дне рождения вовсю — все самое древнее, мстительное, ехидное, какое-то упоение безумием поднялось в них. «Давайте засунем Лолу в чайник!» — горланили они на два голоса, как двое из «Алисы в стране чудес»: церемониться с девушками ниже их уровня им не приходило в голову. Конечно же, они еще вволю потешались над его кудрями.

Не спешите осуждать скоро. С. просто не думал, а плыл по воле течения, задумываться он вообще не умел. А отчего М. решил вести себя так? Что же, и у него было искреннее и благородное соображение. Он думал, что подобное бесцеремонно-панибратское обращение с его старым другом заставит того немножко опомниться и заодно стряхнет большую долю пыла обожания с его одурманенных почитателей, позволит увидеть Валеру Арсеньева как живого человека и тем излечит их, пусть горьким лекарством, от дурмана сектантства. Разве это не великое дело? То, что он увлекся и шутки его не всегда держались в мере исключительно воспитательной иронии, — так что же, все мы человеки...

Фазиль написал записку на салфетке, руки его дрожали. Он предлагал их сейчас взять и выставить в шею или покидать из окошка, с чем желал справиться сам. Бамбино прочитал и грустно покачал головой.

— Нет, мой милый, — сказал он тихим голосом. — Если пить, то до конца пить горько. Сегодня моя свадьба.

И, посмотрев вдруг на Фазиля странным взглядом, он попросил у него ручку и написал несколько слов на салфетке.

— О-о, наш Валера пишет вирши! — воскликнули двое.

Бамбино спрятал записку в карман.

— Будет время, ты еще прочитаешь ее, — шепнул он Фазилю.

Шляпнику и Мартовскому зайцу пришло еще на ум устроить прогулку в память о тех славных днях, когда «Валерка пьяный так же шатался с друзьями и орал песни, во житуха-то была, Валерка!»

Очень странное это представляло собой зрелище! Они шли по улице, медленно и прямо, никуда не сворачивая, Бамбино впереди и двое по обе его руки, развлекая его, его друзья сзади, в двух парах, взявшись за руки, будто друг от друга желая согреться, не проронив за всю дорогу, как и он, ни звука. Наши два друга не унывали: их горлодеру хватало на всю компанию.

Они дошли до «Шоколадницы», и, вместо того чтобы, по предложению М., завалиться в бар, Бамбино пошел дальше, не раскрыв рта, увеличивая шаг. Приятели, также увеличив шаг, стали в отместку изощряться в особенно циничных шутках, перебрасываемых через его голову. Они дошли до Волжского моста и стали подниматься по нему.

Где-то на середине моста Бамбино вдруг двинулся к парапету, шепнув своим друзьям: «Идите дальше». Двое оценили ситуацию и двинулись вперед, бойко дирижируя и распевая какой-то гимн, прочие нерешительно пошли за ними, потом, начав оглядываться, остановились и обернулись — он все стоял у парапета, ссутулившись и дрожа; в этот день было совсем не холодно, но его била крупная лошадиная дрожь.

М. и С. завопили было что-то хмельное, но их вдруг так гневно и дружно ошिकाди, что они примолкли и кисло переминались, с явным неудовольствием смотря на всю «эту комедию». Лера приблизилась к нему.

— Что с тобой, Валерочка? — спросила она. Фазиль пошел также к ним.

И, когда он подошел, Бамбино совершенно овладел собой: великолепная ясность и светлое спокойствие его вернулись. Какая-то решимость и отрешенность появилась в нем, и запах ландыша, пропавший последний месяц, почувствовался снова, и сильнее обычного.

— И д е м! — сказал он Фазилу, — нас и без того заждались гости. Вот уже и за мной...

«Нива» алого цвета с хищным светом фар гуднула, тормозя напротив них, сидящие в машине, пригнувшись, тщательно всматривались в тех, кто ушел вперед. Бамбино обернулся. Машина бросилась с места и снова резко затормозила, визжа тормозами, обдирая краску с бока о мощное ограждение. Трое скотов с бычьими шеями проворно вылезли с левой стороны, хлопая дверцами так, что звенел корпус.

— Эй ты, — заорали они Лоле, указывая все трое на нее пальцем, — пойдешь с нами, б... рогатая! Мы тебя знаем!.. — И в грязных выражениях распространились о том, что однажды она им отказала и что долги надо отдавать.

Один из них, самый скорый, уже бросился к Лоле и поволок ее за руку в машину — Фазиль выхватил нож, и тот отпрянул. Парни застыли на миг и затем, медленно двигаясь, как перед хищным зверем, выволокли из машины длинные биты. Так они стояли, Фазиль и трое, друг напротив друга. Цементирующий ужас охватил всех остальных, и девушка сама, застыв, начала приметно дрожать.

Бамбино подошел к ней сзади. Сняв свою дубленку, он накинул ее Лоле на плечи. Сам остался в одном свитере.

— Ты согрейся немножко, а мне уже не нужна, — прошептал он нежно. И затем, выйдя немного вперед, сказал отчетливо и ясно: — Я могу поехать с вами вместо нее, друзья мои. Это я увожу их от вас, так что это мой долг.

Трое переглянулись, медленно соображая, и вдруг разразились вусмерть довольными визгами, стонами и хрюканьями — как их это позабавило, Бог мой! «Ну иди же ко мне, рыбка, мальчиков у меня еще не было...» — прокудахтал самый свинистый, просто расплываясь по стеклу животиком от счастья. «Симпатичный!..» — выдавил из себя со смехом другой. Они, должно быть, приняли его за голубого. Затем они затихли, облокотясь на крышку и замерев с ожиданием. Тишина безумная настала.

Боже мой, пришло в этот момент в голову Лере: так вот какая невеста должна была посмотреть на него сегодня!..

Фазиль произнес гортанное низкое страшное долгое обещание мести — даже тем троим стало, вероятно, страшно.

— Запрещаю тебе навсегда мстить, Фазиль, — сказал Бамбино спокойно. — Без любви бывает только грязь. Месть — без любви. Забудь номер этой машины, и все остальные, забудьте его.

И, ступив на бордюр, отделявший проезжую часть от тротуара, он скрестил на груди пальцы рук и на один миг закрыл глаза, потом, открыв, на секунду обратил их к небу. Трое зароптали и распространились вновь о «рогатой б***». М. отвернулся.

— Обещаю тебе, — шепнул он Лоле быстро и с великой нежностью, — что бы ни случилось, мы еще успеем увидеться, я тебе обещаю. Только не засни в мой приход, и до встречи со мной не трогай никакой пищи.

Он перешагнул через бордюр, сделал шаг и вдруг, обернувшись, воскликнул:

— Кристиан!

И, стоя в свете фар, глядя Кристиану в глаза, он произнес звонко и отчетливо:

— *TRIBUTUM CAESARI RESIGNAVI*⁴.

Долгий гудок поезда издалека подвел черту под его словами. Он обошел машину и потянул на себя ручку, «Нива» хлопнула дверцами и отчалила.

...Всю ночь она бежала по этому незнакомому, холодному району, ей казалось, что вдруг вот они здесь, за поворотом, или нет, еще там, что чутье ее приведет — какая же она после этого ученица! Пятиэтажки вдруг обступили ее, она пробовала возвращаться, кружить — они встали вокруг стеной, темные, неродственные, Лола опустилась на землю и заплакала горько. И на холодной земле она пролежала до утра.

Сей ученик и свидетельствует о сем и написал сие; и знаем, что истинно свидетельство его.

В хронике происшествий поместили короткую заметку. Тело Бамбино нашли в за-волжском лесу. Он умер, не убитый, и не от издевательств: следов надругательства на теле не было. Он умер просто от потери крови, оставленный там и успевший полностью истечь кровью за несколько часов.

Кровь истекла из ран на голове, причиненных шипами его венца, которые глубоко впились в кожу, вероятно, от тяжелого веса тех парней. Мне представляется, что он в конце концов просто потерял сознание от боли, и кровопотеря, произошедшая за это время, ослабила его настолько, что он уже не смог, придя в себя, пошевелиться.

В кармане Бамбино нашли записку, ту, написанную на салфетке: «Это случилось по моему согласию. Прошу никого не винить в моей смерти».

Кристиан заперся наглухо в своей комнате (у него была своя комната, где можно было запереться — счастливец!).

Фазиля видели в мечети.

Никто из известных нам лиц не присутствовал на гражданской церемонии — излишне больно это было бы для сердца. Бог мой, зато чуть ли не весь его первый курс пришел тем талым февральским днем на кладбище!

Лена пришла к Лере, и та все ей простила, и приняла со светлой лаской, и сушила ее слезы чуткими руками. Только лишь когда та ушла, вся ее изумительная ангельская несокрушимость осыпалась, и Лера плакала на кухне, прижавшись щекой к холодной трубе отопления, как маленькая девочка — ее-то никто не мог утешить...

Все так же звенели стыло трамваи, и неуютный ветер гулял. До конца февраля он висел и был, наконец, сорван ветром, но из людей его никто не тронул — тот листочек, приклеенный за обрывки клейкой ленты, на стойке для афиш: *Мыслете, Рцы, Фита, Ижица. Милая, будь благословенна.*

Эпилог

Лола брела по улице, не видя ничего перед собой. Слишком много было заплачено за одну потаскушку. Слезки вновь тихо текли, и из носа текло тоже. Она не спала уже двое суток, и ей ужасно хотелось спать, но она не могла теперь спать. Она не будет спать в течение всей жизни. Или она умрет скоро от голода. Как скоро, интересно?

⁴ Долг цезарю заплачен (лат.).

Утром она оказалась у монастыря, превращенного в музей. Немецкие туристы шли мимо и расступались перед ней, держась подальше. Ну да, слишком она обтрепалась.

Она вбрела с толпой на территорию музея, опустилась на скамейку близ колокольни, и накопленное вновь вырвалось горячими рыданиями.

— Девушка!.. — окликнули ее. Лола сжалась. Впрочем, голос был ласковый.

— Девушка, девушка, зачем плакать — и так мокрая скамейка...

Она подняла голову и увидела Бамбино, стоявшего на ступеньках лестницы колокольни: высокие ступеньки, до второго этажа, а потом еще внутри винтовая лесенка. Туристы шли мимо и не замечали его.

Она БРОСИЛАСЬ К НЕМУ, ЗАБЫВ ВСЕ НА СВЕТЕ, НЕ ОБРАЩАЯ ВНИМАНИЯ НА ОКРИК БИЛЕТЕРШИ.

— Стой! — воскликнул он. — Поди спустись вниз и купи билет.

Лола спустилась и купила билет. Горячие радостные слезы текли у нее так, что она переставала временами видеть.

— Ты истончилась своим постом и бессонницей, моя прекрасная, спасибо Тебе за верность, — сказал ей Бамбино, когда она приблизилась к нему. — Теперь ступай вперед меня, шагов моих не услышишь. Не оборачивайся.

На самом верху звонницы он передал ей четыре почтовых конверта — они будто не сразу обрели плотность в ее руках.

— Здесь написано каждому из вас о вашем деле, — произнес он. — Тебе же скажу еще и так. Ты — смотри. Тьма и огоньки, — он обвел широкий город рукой. — Это Россия за окном. Светлячки будут прибывать; светлячок очень легко задуть, помни, моя милая. Вот теперь твоя роль, самая скромная и важная: ты будешь соединительницей огоньков. Всегда веселой и светлой. Всегда дерзкой, и бойкой, и неутомимой. Всегда стоящей в стороне — но если светлячок зазнается, облей его из стакана холодной водой. Самое главное, соедини искусно и мудро — ты знаешь уже много больше их, девушка моя, хоть не стоит этого показывать. Теперь я спешу; у меня нет минуты свободной. Через несколько десятков лет мы снова увидимся, а пока прощай. — Он начинал светиться.

— Дай мне обнять тебя напоследок, Солнышко мое горячее! — воскликнула Лола.

— Девять секунд, — сказал Бамбино. — Больше не выдержишь. Пока колокол бьет. Звонарь уже изготовился...

И в этот миг грозно, могуче, победно ударил колокол, как будто повторяя первый слог его имени, и она приникла к нему, обжигаясь, и как вам рассказать, что за счастье она испытала!

Когда отзвенели главные тяжелые удары и маленькие колокола залились радостными, животворными, рассветными переливами, он... не смейтесь! как будто было так, что Бамбино раскрыл крылья и исчез, взвился, тремя легкими ударами крыл.

Каждый получит разные крылья. Аскетические праведники могут иметь, к примеру, холодно-голубые, и жгуче-синие — исполнившие свое сердце в могучей верой; светло-зеленые — живые, и радостные, и простые натуры; мудрецы — золотисто-желтые; Воины и Пророки носят на крылах изумруд и рубин: цвета мужества и стойкости. Ангелы высших небес, простые и невинные, как дети, получают белые крылья.

Красный есть вообще цвет жгучей жизненности, вызывающе-упоенный, даже дьявольский. Но то — грязный, чувственный красный. Меж тем самого Спасителя одели в багряницу, и многое перетерпевшим позволено иногда иметь на крыле, как знак о том, багровый краешек.

У Бамбино были белые крылья с ярко-красными кончиками.

П О Э З И Я

Ирина ПЕРУНОВА



Родилась в 1966 г. в Воркуте. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Публиковалась в журналах «Октябрь», «Юность», «Новая юность», «Новая Россия», в антологии военной поэзии «Ты припомни, Россия, как все это было!», антологиях «Русская поэзия. XXI век» и «Наше время», коллективном сборнике «Северные широты» и др. Работала в ярославском молодежном Центре анимационного творчества «Перспектива». Член Союза российских писателей.

Эники-бэники

* * *

Пробита речь молчанием, сквозит
последнее несказанное слово.
Возможно, это слово-паразит,
от зерен отлетевшая полова,

лишенное таланта и ума
отсутствие без всякого покрова!
Ты погляди: тома, тома, тома...
И что тебе несказанное слово?

Снегами заплывает оком
пространства, прикипевшего к засовам.
Там трудники поврозь или вдвоем
всю жизнь свою работают над словом.

Издали, не издали — не вопрос.
От точки доведенные до точки,
роняют миллионы алых роз
отсохшие печатные листочки.

Но ты вберешь бескровный перегой,
пустой травы крушение и шуршанье,
как обещанье музыки иной,
как пущенное в рост благоуханье.

* * *

Эники-бэники ели вареники:
— На квинтэссенции женской истерики,
Оленька, можно ль поэту жениться?!

— Ты же и сам, извини — роженица,
жертва, беременный Ангелом слух...
Где Боливар, чтобы выдержал двух?
Та — без уздечки загонит табун!

— Да, поэтесса поэту — табу.
В гомики, в гномики лучше, в скопцы.
Эники-бэники, дрянь голубцы!

Сфинкс

В смысле шерсти, какой с нее прок,
с лунной кошки по имени Лолла?
Тем прелестней надменный кивок
головы клиновидной и голой.

Мы-то думали: кошка — урод,
бедный Питер, больная природа...
Дураки! Экстремал питерболд —
не урод, а такая порода.

Полный блеск, абсолютная плешь.
Не найдешь адекватно глагола,
только: «Ешь, моя девочка, ешь...»,
а себе под язык — валидола.

Гордый жест — от ушей до хвоста:
«Сами ешьте свои макароны!
Мир спасала моя красота,
и рыдали по мне фараоны!»

Актриска

Все плюсы «дворяжки»
и минусы с ней,
еще две затяжки —
и взглянет нежней
на хлеб, из чужих принимаемый рук,
на вбитый под самую крышею крюк.

Неловко привстанет на свой табурет и,
пока не рассеялся дым сигаретный,
(эффектная пауза)
перец и лук
повесит сушиться, как сердце на крюк.

Письмишко

Рыбка, золотце, все не так:
в синем море живет синяк.

Государыня рыбка, силище —
ставим драму «На нерестилище»,
следом — Горького М. «На дне»,
я не занятая. Зане
бил челом за меня помреж —
уж не знаю, кому промеж:
выбил роль во втором составе.
Снова боль в лучевом суставе
учит: «Катька, не будь лучом!
Царству темному нипочем.
Помолчи, не гони волну,
не стучи головой по дну —
приплюсуешь гастрит, мигрень,
вечный, Катенька, рыбный день!»
P. S.

Мы ли, нехристи во Христе,
все на нересте, да не те.
Золотой ли я твой малек,
или чертика уголек?
Не волнуется море — раз!
Не волнуется море — два!
Не волнуется море — три!
Не волнуюсь и я, смотри.

В песочнице

Раз куличик, два куличик!
Голосуй, дружок:
превратим куличик в блинчик
или в пирожок?

Ну, зачем же сразу в слезы,
пусть, куличик три!
Книжка есть «Метаморфозы»,
глазёнки утри.

Написал ее Овидий,
жалко, что не я,
он такие в жизни видел
превращения...

Я, признаться, не сумела
до конца прочесть,
но не в этом, знаешь, дело,
превращения — есть!

Отвыкай от злых привычек:
сотня куличей
не накормит пары птичек
в голове моей.

Отпусти ты их, дружище,
чудо сотвори.
Впрочем, правда, красотища —
твой куличик три!

Раз куличик, два куличик,
три, кузнечик... оп!
Поприветствовал двух птичек
и ушел в галоп.

Золушка

Бабочка пробует пищу ногами, и
нет на земле никакой моногамии!
Только горящий хрусталик глазной,
только хрустальный сандалик резной,

тапочка, туфелька, чок-башмачок,
в сердце забытый. Лети, дурачок.
Что тебе ад, и зачем тебе рай,
рад бы, да поздно. Лови, примеряй!

* * *

Там улиткина перчатка ускользала в темноту,
и звезда, как опечатка, проступала на лету,
в слове «провиденциально»
зацепив частицу «де».

Век сиять провинциально
с той поры твоей звезде.

* * *

О соль голимая снежка,
и голем — Гоголь из Торжка,
сработан скульптором стрезва,
на раз одушевлен, на два —
уже петляет меж домов,
в сплошной проказе пеших слов,
и вопрошает, как Иов:
— За что, Господь, Ты был таков?

А Бог струит весну большую
и одесную и ошую,
то камень точит меж висков,
то пальцем глянет из носков,
повсюду Он, куда ни кинь.
Червяк, и тот — Его аминь.

.....

И Гоголь моголем желтел,
и голем щеголем летел,
воздушной голенью бомжа
внимал концепции ежа.
И ежик носа в тайники
(похоже, Бог, куда не кинь!)
прохожий прячет аромат,
как вечной жизни компромат
на всякую не жизнь....

* * *

Тише, тише, тишина.
Начинается война.

Все уснем в большом бою.
Баю, баюшки, баю.

Баю-баю-баю.
Божия раба я.

Спи, усни, благословясь.
Встанешь, светлый, будешь князь.

Спи на краешке земли.
И шинель твоя в пыли.

Спи у неба на краю.
Будешь с Господом в раю.

В месяце апреле
плыли колыбели.

* * *

Кровь кузнечика белого цвета,
ночь дрожит от его фальцета
беглой дрожью пустых аллей.
Убывает печаль о детстве,
братстве, сестричестве, соседстве,
с каждым шагом туман белей.

Опечатана светом пустошь.
Дом, который досрочно, пусть уж,
в самом деле, построил Джек —
снялся с места, уехал в Устюж,
Тимбухту, Воркуту и Лутошь,
на Луну переброшен ЖЭК.

Убывает печаль о детстве,
братстве, сестричестве, соседстве,
вместе с кровью на цвет любой.
Лишь кузнечик горячку порет,
добела раскаленной спорит
с кровью лобстера голубой.

Алмазный фонд

Край алмаза торчит из породы —
схваток нет, но похоже на роды.

Намывала тайга-непролаз
в той грязи за алмазом алмаз:
«Роза Ленина», «Сердце Альенде»...
Голубь мира, клюющий кутью,
алой платины пятна на ленте:
«Любим, помним, прощаем. Адью».

Морозящее небо в алмазах,
рэкет в брекетах, брекеты в стразах,
золотое сечение кости
под безгливой рукой костоправа.
Параллельная зренью держава,
въезд безвизовый дай, упрости.

«Я — Тайга, я — Тайга!» — позывные
наплывают уже на земные,
на челночные наши бега.
Поднебесья бескостный скиталец,
корешки выпускает китаец:
— Ятайга, Вань ю ша, Ятайга!

«Роза Ленина», «Сердце Альенде»...
Рев страны о похеренном бренде,
всенародного эха «Атас!»
И сияет сквозь стекла витрины
в звонком скипетре Екатерины —
мандарина смеющийся глаз.

Голоса

— Тысячекратная тьма повторенья
танца теней Саломеи с Иудой.
— Нет! Еще иродова даренья
нет! Не вернулись посыльные с блюдом,
нож не рожден еще... Незачем, нечем,
некому... Спящий во чреве Предтечей
день не восстал.
— Удались, удали!
Жорж приглашает на вальс Натали.
Резкий румянец прильнул к эполете...
Танец как танец. Дети как дети.

* * *

Маша, ты видела смерть Фазтона
в спичке, слетающей искрой с балкона,
все удивлялась: «Ну как вам не жалко
маленькой спички, ведь есть зажигалка!»

Дружно дрожали, намокнув, реснички,
и дорожали в руке моей спички.

Я ли обижу тебя, дорогая?
Скажешь однажды: «Пускай, догорая,
жизнь пролетает высоким пунктиром
в этом ли мире, над этим ли миром —
лишь бы не местный мирок-коробок!»
Тихо и просто скользнешь за порог.

Вот на какой себя мысли ловлю:
кажется, я тебя благословлю.

* * *

А всего и хотелось —
слушать ветер на пне,
чтобы птице летелось
в назидание мне,
чтоб траве шелестелось
и шуршалось жуку,
жизни пряность и прелость
осыпая в строку.

* * *

Памяти поэта Василия Галюдкина

Все, говорят, пропил.
Все, говоришь, пропел.

Падая без стропил, точка, тире, пробел...
Решка, орел, Икар? В Господе воробей.
Некому окликать.

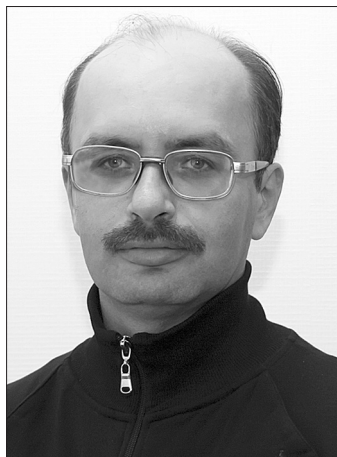
Выдохся, оробел даже вороний карк.
Оторопи репей.
Тянет летучий скарб облако на горбе.

Сора какого из... видели, слышали-с.
Даром, что перья грыз
в Господе воробей.

Пуха тебе пера набело и вдогон
понамело с утра
с собственных похорон.

Выкуси, приголубь в зобе зерна аминь
и шелухи на рубль
ветру перезайми.

Тимур БИКБУЛАТОВ



Родился в 1972 г. в поселке Борок Некоузского района Ярославской области. Образование — высшее филологическое. Работал секретарем, учителем английского языка, швейцаром, грузчиком-экспедитором, продавцом, журналистом, преподавателем русского языка и литературы, инженером светового оборудования в театре, корреспондентом «Северного края» и «Комсомольской правды». Теперь — свободный журналист.

Публиковался в местной прессе, в коллективных сборниках, альманахах «Игра в классиков», «Отражение». Автор восьми книг. Координатор и один из создателей творческой ассоциации «ПОСТ».

Член молодежного литературного объединения при Ярославском отделении Союза писателей России. Лауреат литературной премии Высшей школы филологии и культуры за рассказ «Дом презрения» (1999), фестиваля «Логорифмы» (2007) и межобластного поэтического конкурса фестиваля памяти Константина Васильева «Чем жива душа» (2010, 2011).

«Разорванным сердцем»

Алкоголи

Не пишется. Вовпит больной Гийом —
Мост Мирабо застыл над грустной Сеной,
А мне сейчас совсем не до нее —
Мне руки крутит чувством, что весенним

Холодным утром ввертится в башку,
Что умирать — смешная антреприза.

И я не удержу свою тоску
И покачусь по скользкому карнизу.

Меня уже устали страховать —
Я должен сам пройти по льдистой кромке.
(Компьютер, стол, прожженная кровать
И блядская улыбка Незнакомки).

Смешные книжки — я их не писал,
И телефон молчит — три дня как пропит.
И некого винить. Я где-то сам
Для Рыб придумал этот пьяный тропик.

Но только по весне. И не со зла.
И не прося прощанья (здесь курсивом).
Но хочется, чтобы душа легла
На небо не по-здешнему красиво.

И чтоб отлипла лишняя любовь
В смешной подарок безнадежно серым.
Сегодня вечер. Сена. Мирабо.
И скука со страниц Аполлинера.

* * *

Владимиру Столбову

Противно до смеха. Себя у признания клянчить,
Расплющив о левую грудь отсыревший бычок.
И, словно безумно карманом играющий мальчик,
Стыдливо улыбаться, дергая нервно плечом.

Последние строчки прикручены намертво скотчем,
Иссякла на выдумки непрекатная голь.
И хочется быстро, не очень затейливо кончить,
Осыпав с мозгов, как листву в сентябре, алкоголь.

По-моему, дембель в судьбе мне еще не положен,
Пусть первый откажет в деньгах, значит, сотый нальет.
Так много героев, за задницу схваченных лонжей,
Так мало несмелых, страхующих шею петлей.

Мой «метр на два» не намерян, да и не намерен
Я ладить чужие подтяжки к остывшей трубе.
Неправильно скобки раскрыл на своем же примере?
Подумаешь, несколько прочерков в пьяной судьбе!

Была не была. Восемь строчек не крюк.
Для бешеных псов непривычна усталость.
Ведь тоже хотелось дуэль к январю,
Но вроде могло и немножко писалось.

Бордовые кляксы матрацу не в шок —
Я просто всегда невпопад гуттаперчев.
В нечленораздельном ночном «хорошо»
Опять прочитается «арриведерчи».

Придется в бега. И опять раздирать
Колени в надежде фартового драфта.
И страшно — рвануть молча на номера,
Но больше никак не довраться до правды.

И снова мальчишки споют не меня, —
Я слишком старался в скрипучих кроватях...
Простите за небо: я этот сквозняк
Разорванным сердцем недоконопатил.

Соната

Завещаю себе тебя.
Не пинай дежурного клоуна.
Запрещаю, собой скрипя —
Ты не вся об меня переломана.
За плечами тоски не спят —
Лучше влет между раковин век ударь.
Завершаю собой тебя.
Не вкорячить тебя в мое некуда.
Упрощаю тебе. Устал.
Я не буду твоим угощением.
Я прощаю себя. Кем стал? —
Украшением? Укрощением?
Разрешаю тебе пристать —
Потроши меня по-хорошему.
Развращаю. Не перестать.
Ты с какого меня взъерошила?
Унижай. Не забудь слизать
Все мое, что с испугу выжала.
Уезжай. Не к столу слеза.
Просто снова некстати выжила.
И не жаль. Больно, если за
Этим жалом — вампирный умысел.

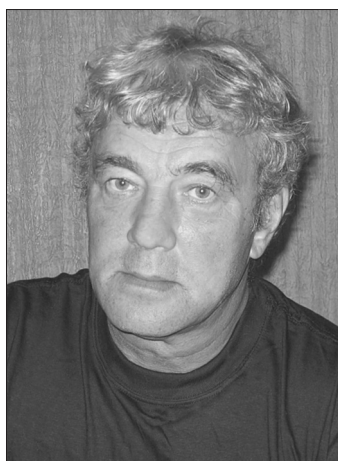
Мне не жаль — я привык слезать
С игл неба, ведь там ни к чему мы все.
Умоляю, иди в отгул —
Я и так уже много выскулил.
Уваляю себя в снегу
Там, где волки добычу рыскали.
Увольняю, но сберегу —
Не хочу слишком долго маяться.
Увиляю, когда смогу.
Ведь не каждый тобой ломается.
Что ж ты ноешь, как выпь в трубу?
Счет закрыт — ничего не выставить.
Спараноишь себе судьбу —
И сама же к себе на исповедь!
Не дано лишь меня. Забудь
Все, что было на грязных лестницах.
Все равно между этих букв
Ни одна твоя не уместится!!!

Summertime

Денису Зуеву

Без Верди.
Без вербы с гербария герба
Пригублен.
Ведь грубость верлибра — не буги.
Игру бы на вертел.
Не верьте, что сгублена Герда
Безгубием Каина, смертностью Санкт-Петербурга
(ведь черти не чертят богов на груди друг для друга).
Где вещие вирши — строка за строкой по рейшине,
Которые не довершили (ведь не до вершины)?
И вешние вишни? Першит — не грехи на ошейник.
И Гершвин — не Кришна:
В тиши не престижен отшельник.
Со сфер не до форсу? и морфий для форм a la morte.
Морфемные рифмы оформлены фирменно в морге.
Орфей псевдомоден — здесь фотогеничен Георгий.
Фартово кефиривший морду,
Мир метафоричен,
Как Forman's перфоманс,
И Фомас Аквинский, и Моцарт,
Офелии выдавший фору (но вера аморфна!),
И Я, саммертаймно прилегший Горгоной на Порги.
Мне скучно без оргий.
Мне скучно, Бесс!!!

Владимир СЕРОВ



Родился в 1957 г. в Ярославле. Закончил железнодорожное училище. Работал слесарем-механиком, землекопом.

Публиковался в областной периодической печати. Автор трех поэтических сборников. Член Союза писателей России.

Живет в Ярославле.

Ангел-хранитель

Остров

Ни звезды, ни фонаря мне,
Ни луны, ни маяка.
Лишь пылающие камни
Озаряют облака.

Вот опять... И снова, снова.
Льют небесные огни,
Словно с берега крутого
Осыпаются они.

Слышал я не раз про остров,
Что летает над землей.
Но поверить в то непросто
Даже в этот час ночной.

Разум плоти негибает —
Ни земную благодать,

Ни зовущуюся Раем
Он не хочет признавать.

Но, чем ночь темней и глуше,
Тем все четче вижу я
В вышине — небесной суши
Озаренные края.

Ангел-хранитель

Мой ангел-хранитель, за правым плечом
О чем ты задумался, милый, о чем?
Я знаю — ты выбился напроцъ из сил.
На крыльях опять кровоточат мозоли.
Быть ангелом в век наш безбожный легко ли?
Ты право оставить меня заслужил.

Ты не был в отгулах, не брал отпуска
И верой, и правдой служил мне, пока
Собратья твои, отмахнувшись крылом
От бед человеческих, летали в круизы,
Своим потакая бесплотным капризам.
Давно, как давно ты оставил свой дом!

Но черная снова пошла полоса.
И, значит, отложен полет в небеса.
И, значит, гоня неприятности прочь,
Ты взмахивать будешь больными крылами,
Свой долг исполняя. Словами, делами —
Тебе я хоть чем-то способен помочь?

Хотя и немного мне по плечу.
Желаешь — тебе я затеплю свечу,
А хочешь — о небе твоём погрустим,
В которое, пусть это будет мечта лишь,
Тайком от меня ты в ночи улетаешь.
А хочешь — мы вместе туда полетим?

Феникс

Уйти, уехать, улететь.
И лучше — дальше. Лучше — глуше.
И телевизор не смотреть.
И даже радио не слушать.

Не разворачивать газет,
С утра не помнить сновидений,
Куриль поменьше, спору нет,
И не писать стихотворений.

След замести свой и еще —
Сгореть, и в муках возродиться,
И вновь туда, где хорошо
Когда-то было, возвратиться.

* * *

Не надо обладать большим талантом,
Чтоб мысли на твоём прочесть лице —
Ты о кольце мечтаешь с бриллиантом
И о любви. Но больше о кольце.

Зачем ты лжешь мне, «бабочка ночная»,
Несвязно тараторя впопыхах,
О том, что дома мать лежит больная,
А ты увязла по уши в долгах?

Зачем мне знать о вымышленном муже,
Погибшем за Отечество в Чечне?
А, впрочем, ты меня ничуть не хуже,
И осуждать тебя за ложь не мне.

Я вру в глаза себе, причем бесплатно,
С невинным видом глядя в зеркала,
Что полосы все черные и пятна
Во мне давно отмыты добела.

Две разных лжи у нас. Твоя снаружи.
Моя — внутри. Своя. Не напоказ.
А, впрочем, мы других ничуть не хуже,
Как, впрочем, все вокруг — не лучше нас.

Свеча

Ввысь указующим перстом
Стоит свеча перед Христом,
И восковая белизна
Огнем святым освещена
Едва ли больше чем на треть.

Вот золото огня на медь
Меняет медленно она.
И вот уже свеча темна,
Как будто бы от света в ней
Укрылась тысяча теней.
И не они ли так коптят,
Когда в огне свечи горят?
Вот тьма и свет напололам
В полу-свече. Не я ли сам,
Свече подобно восковой,
Копчу — ни мертвый, ни живой,
И тьма и свет, и срам и храм
Внутри меня напололам.
Полуввысоты, полудаль...
Как все же бесконечно жаль,
Что перед самым лишь концом
Свеча светла перед творцом.

П Р О З А

Ольга ФЕДОРОВА



Родилась в Рыбинске в 1966 г.

Закончила Ленинградский сельскохозяйственный институт.

Работала агрономом, воспитателем в детском саду, художественным руководителем клуба, продавцом.

«Писать начала поздно, — говорит сама о себе О. Федорова, — после тридцати, когда осознала, что хочу и могу рассказать о жизни в параллельном мире — современной деревне».

Живет в с. Погорелка Рыбинского района.

«Здравствуйте, меня зовут Сережа!»

Рассказы

Маршал

— **М**арь Пална, пока вы гуляли, вам какой-то мужчина звонил! — Верочка хитро улыбнулась.

Верочка — моя нянечка, а я — воспитатель в детском саду.

— Какой мужчина? — не поняла я.

— Молодой и интересный! — Верочка ждала, как я отреагирую на происходящее, успевая при этом проворно раздевать детей.

— А ты в телефон-то так и разглядела, что он молодой и интересный.

— Я по голосу определила. — Верочка явно меня дразнила, но я упорно не поддавалась на провокацию.

— И что сказал молодой и интересный? Представился как или нет?

— Никак не представился, только поздоровался да вас спросил, — Верочка для порядка поругала ребенка, у которого из кармана достала сосульку. — Сказал, попозже позвонит.

— С того и надо было начинать, а ты развела... — Надо же поворчать на молодежь на правах старшей.

«Попозже» оказалось очень удобно — как раз в тихий час, когда можно было спокойно говорить, не боясь, что в это время кто-то у кого-то отберет игрушки, стукнет, толкнет, порвет, покусает...

— Манюня, здравствуй!

Манюня... Так меня называли только в школе. Голос на том конце провода не заставил меня долго теряться в догадках:

— Саня Звягинцев.

— Саня?! Какими судьбами?!

— Долгая история, как я тебя искал, но речь не о том. Помнишь, нынче исполняется двадцать лет, как мы закончили школу...

Господи, неужели двадцать лет! Неужто мы уже такие старые?!

— Нет, конечно, Сань. У меня даже и мысля не шевельнулась.

— А у меня вот шевельнулась. Да мало сказать «шевельнулась»... Короче, мы все собираемся отметить это событие в кафе «Настенька», что у вокзала. Настена Караваева там хозяйкой, так что под ее гостеприимное крылышко... Почти все наши собираются, будешь?

— Санька, какие ж вы молодцы! Ну, конечно, буду!

Я так обрадовалась, что напрочь забыла о главном, но Саня и тут меня упредил:

— Значит, тридцатого к шести, прямо в кафе. И запиши мой телефон на всякий случай — отзовишься, если что.

Я была так рада, что до конца рабочего дня порхала, как бабочка, даже в угол никого не поставила. Но по дороге домой морозный воздух малость отрезвил мою голову. Двадцать лет. Чего я достигла за двадцать лет? Живу в деревне, из-за размолвки с начальством ушла с любимой работы, теперь чужих детей нянчу — для того, чтоб своих прокормить. Корова, куры, мужик, два сына, и все это скопом МЧС: «Малышевы Чокнутая Семейка». У моих одноклассников — у кого кафе, у кого своя фирма, у кого куча звездочек на погонах, а у меня все с нуля и полнейшая неопределенность. Чем хвастаться, что о себе рассказывать?

— А ты расскажи так, чтоб всем стало завидно! — присоветовал мне дома самый главный мой МЧСовец.

— Верно, — согласилась я, вспомнив мудрую присказку о стакане, наполненном наполовину: для кого-то он наполовину пуст, а для кого-то наполовину полон, это ведь как посмотреть.

С такой позиции я и стала о себе рассказывать, когда мы все собрались в «Настеньке». Живу-де не так далеко от города, чтоб не добраться до него при необходимости, но и не так близко, чтоб цивилизация окончательно вытеснила из нашей жизни деревенские прелести. Чистый воздух, по утрам — петух под окном. Зимой печка — и тебе тепло, и тебе огонь, хочешь — топленое молоко, хочешь — хлебушек на поду, а хочешь — каша с пенкой! И все настоящее, свежее, никакой химии. Летом — грибы, ягоды. А сено! Один только дух чего стоит, если на сеновале спать! Ну, а то, что мы — МЧС... А куда идут мужики, если надо технику отремонтировать, топоры насадить, косы отбить? К нам. Куда идут бабы, если надо что-то сшить, связать, подлатать? Опять же к нам. Да просто поговорить, поплакаться в жилетку, посоветоваться? МЧС, оно и в Африке МЧС...

Рассказ получился настолько красочным, что владельцы фирм, обладатели кучи звездочек на погонах, да и простые смертные почувствовали себя ущербными, обделенными, всем захотелось уж если не окунуться, то хотя бы одним глазком взглянуть на жизнь, о которой я так вкусно рассказывала. И все старательно занесли мои координаты в свои записные книжки.

Время шло. Мои одноклассники иногда мне позванивали, иногда и я кому звонила, но в гости что-то никто не ехал. У всех дела, работа, семьи, а до меня все-таки не через дорогу перейти: на машине и то время надо, чтоб добраться. А где его взять по нынешней занятой жизни?

Но теплым июльским вечером в моем мобильнике раздался приятный баритон:

— Манюня! Спаси!

Я сразу узнала голос нашего классного маршала Жоры Квасневского. Он с детства мечтал о карьере военного, его весь класс так и звал: «Жора-маршал», а теперь он, если я не ошибаюсь, капитан.

— Конечно, спасу, родное сердце, о чем разговор.

— Манюня, понимаешь, я с Наталкой своей разругался. Приютишь на выходной?

— Знаешь, я, конечно же, буду рада, если ты приедешь, но ты уверен, что поступаешь правильно?

— Манюня, чтоб кадровый офицер да и не знал, что делает? — Жора всегда был маленько хвастуном.

— Приезжай, кадровый офицер.

— Ой, Манюнь, а как же твой муж?

— А что, кадровый офицер деревенского мужика забоялся? — решила я малость поиздеваться над одноклассником. — Да не бойся, проблем не будет.

— Манюня, ну я тогда завтра же утром и буду.

Мои мужики явно оживились при известии, что к нам приедет Жора-маршал.

— Вот здорово, живого маршала увидим! — обрадовались дети.

— Ну, во-первых, он не маршал, а капитан, а во-вторых, ведите себя прилично, — не то попросил, не то приказал отец.

Солнышко едва вставало над деревней, длинные тени перечеркивали дорогу, мы еще только-только вывели корову, когда к дому подкатила франтоватая серебристая «Тойота». Машина мягко остановилась носом в ворота, и из бесшумно открывшейся двери вышел Жора — большой и могучий, как шкаф, но военную выправку было видно даже в том, как он запирает свою машину. «Для чего? — почему-то подумала я. — Раз машина стоит у дома, к ней никто не подойдет», — и отправилась встречать дорогого гостя.

Жора-маршал в растерянности стоял возле наших полуразвалившихся ворот. Я поздоровалась.

— Пойдем в избу, я тебя молочком с дороги напою.

— Манюня, — вместо приветствия ответил Жора, — это ты в такой халабуде и живешь?

— Не красна изба углами, а красна пирогами, — ответила я, хотя Жоркино замечание меня несколько задело.

— Пироги — это хорошо, но что-то... — Жора мялся, ему захотелось назад, в цивилизацию.

— Хотел посмотреть на деревенскую романтику, ну так иди и смотри.

Жора вздохнул и шагнул за ворота с таким видом, будто его заставили новым лакированным ботинком вступить в коровью лепешку.

Однако через минуту разговор был совершенно другой.

— Манюня, у тебя настоящие деревянные стены! — восхищался он, запивая большой кусок пирога парным молоком прямо из кринки.

— Жора, ну, а ты что хотел?

— Понимаешь, они настоящие, а не облицовка под дерево. Манюня, а лавки-то! Я как в сказку попал, «Три медведя» называется.

— Ага, — поддакнул мой мужик, — сейчас и медвежата с повети свалятся.

— Кто? — не понял Жора.

— Дети наши на сеновале спят, скоро появятся.

— Как «на сеновале»? — не понял Жора. — А дома-то что?

— Жора, ну, ты как маленький, — удивилась я.

— Знаешь, мне много чего довелось в жизни попробовать, но чтоб спать на сеновале...

— Ну, так попробуй, — усмехнулся мой мужик.

— Знаете, ребята, что-то не хочется. Я лучше на кровати, по старинке.

Жора много чему удивлялся. Он долго разглядывал кочергу и ухваты, даже пытался засунуть ухват в печку, но при этом чуть не разбил стоящие на столе банки и отказался от своей затеи. На наш деревенский быт он смотрел так, будто попал на другую планету.

— Манюня, лук прямо в грядке! Можно, я сорву? А это что? И его тоже едят?

Жора быстро обвыкся и даже перелез в одежды моего мужика, жалея свой черный костюм и начищенные до блеска модные ботинки. Новый наряд смотрелся на нем нелепо: штаны короткие, а пуговицы на рубахе того гляди оторвутся, но Жору, который всю сознательную жизнь был франтом, это уже не смущало.

— Жора, баньку топим?

— Нет, ребята-демократы, я больше ванну люблю. Пены в нее напустишь, растечешься... — Жора мечтательно прикрыл глаза и наклонился к грядке за ягодкой.

И в это время наш Дружок, постоянно вертевшийся под ногами, наконец-то придумал, чем угодить дорогому гостю. Он подбежал и начал быстро-быстро облизывать Жорино лицо и руки. Бедный Жора побледнел, а потом бросил ягоды и побежал умываться из огородной бочки. Он долго в ней полоскался, плескал себе в лицо, тер его с невероятной силой, облил всю рубаху и, наконец, мокрый и жалкий, предстал перед нами.

— Ребята, может, и правда баньку истопим?

Мне показалось, что смеялись не только мы, но и наш Дружок, и куры за забором.

А потом мы топили баню, и мой мужик долго охаживал «маршала» свежим березовым веником. Дети даже заволновались — уж не захлестал ли папка гостя до смерти?

Но вот распаренные и довольные мужики ввалились в избу и скорее потянулись к ведру с квасом.

— Вечный кайф! — Жора искал глазами, куда бы упасть.

— Падай на диван, — сказала я.

Жора блаженно вытянулся на диване, но потом спохватился:

— А вы?

— Лежи, — успокоил его мой мужик. — Мы пока детей в баню спровадим, да Манюня еще мыться пойдет.

Мужик первый раз в жизни назвал меня Манюней, видимо, подражая гостю, и это получилось у него необычайно ласково.

Ближе к вечеру мы разожгли у старой яблони костер, пели под гитару песни двадцатилетней давности. Песни прекратились только когда костер уже догорел и в остывающем воздухе начал разноситься запах сочного шашлыка. Вот приехал бы Жора весной, соловья бы в нашем вишеннике послушал, а сейчас, родной, только ласточки.

Но Жора был в совершенном восторге. Он уже давно забыл, что он солидный цивилизованный мужчина, кадровый офицер. Он ел шашлыки и с шампурами в зубах плясал вокруг костра лезгинку.

На деревню напоздали сумерки, ложилась роса, замолкали ласточки и начинали свои песни ночные цикады. Запахи остывающего костра и шашлыков смешивались с запахами цветущей маттиолы и душистого табака, воздух казался густым, как кисель. Тяжело разгребая его крыльями, мимо нас пролетел навозный жук.

— Что это? — дернулся Жора.

— Жук-навозник, — солидно ответил младший.

В это время пролетел еще один, и еще... Старший, недолго думая, хлопнул одного ладошкой, гудение прекратилось, жук упал в росяную траву.

— Ух ты! — восхитился Жора, — я тоже так хочу! — И он побежал за очередным жуком, смешно перепрыгивая через грядки.

Минут через пятнадцать Жорины попытки увенчались успехом — он сбил жука! Глаза нашего гостя светились таким счастьем, будто он сбил по меньшей мере вражеский самолет.

— Все говорят, что деревенские дикие, а дикие-то — городские! — с улыбкой произнес младший, совсем не желая обидеть Жору.

Жора улыбнулся так беззаботно, как мы улыбались на выпускном: еще не зная, кого и как жизнь потреплет, и веря, что впереди нас ждет только хорошее.

— Дикие, — сказал он, — совсем дикие. Мальчишки, а можно я с вами на сеновале буду спать?

— Ура! — обрадовались мальчишки. — Дядя Жора перестает быть диким!

Утром ни свет ни заря Жора-маршал скатился с сеновала. Он долго полоскался в огородной бочке, а потом стоял, раскинув руки в стороны, подставляя свой могучий шкафообразный торс восходящему солнышку. У забора горлопанил петух, копошились куры. Звения цепью, из будки вылез Дружок и завил хвостом.

— Дружка, — потрепал Жора собаку, — я тебе завидую! — И подался в избу.

На столе уже стояло парное молоко и остатки вчерашних пирогов.

— Доброе утро, Жора, что-то ты как рано поднялся?

— Привычка...

— Садись, попей молочка.

Жора послушно приземлился на лавку, принялся жевать пироги, но делал это задумчиво и рассеянно и где-то на середине пирога не выдержал:

— Знаете, мы в городе и вправду одичали. Мы вчера с вашими мальчишками так долго говорили... Я понял, я все понял — нам простоты в жизни не хватает. Мы все пыжимся, придумываем себе ложные цели: престижная работа, дача, машина, положение в обществе. Да зачем такое общество, в котором самим собой быть не можешь? Представляете, если бы я по части за навозным жуком бегал? Да меня бы в «психушку» упекли! В нашем обществе не личность главное, там нельзя быть личностью, там надо быть частью стада... Манюня, когда ты про деревню нашим рассказывала, я еще подумал: «Во вляпалась!» Я и от Наталки-то к вам рванул, чтоб ее потом уколоть: вот, мол, до чего допекла, что даже в деревню от тебя сбежал. Какой я был дурак! Да к вам как в санаторий приезжать надо, душу лечить от нашего цивилизованного маразма...

Жора еще долго произносил речь в защиту простоты в жизни, а мы с моим мужиком сидели рядышком на лавке и улыбались.

Мы-то ведь все это давно уже поняли.

Хутор Малявичюс

Маленький уютный домик под черепитчатой крышей, он почти и не виден с дороги — со всех сторон его окружают яблоневые и грушевые деревья. Это хутор Малявичюс, и добраться до него можно по единственной грунтовой дороге, но не вздумайте этого делать! Хутор охраняет злая собака Алдона, которая показывает свои клыки всем желающим заглянуть за ворота. А еще в сторожах — добродушный кот Ионо. Хозяйева даже не дали ему имени, просто отчество — Ионо, и все. Сторожа живут в мире и согласии друг с другом, а холодными осенними вечерами (ну, вот как сегодня) греются в одной будке.

Хозяйствуют на хуторе тетушка Петря и дядюшка Кястукас. У них трое сыновей. Про девушек в таком возрасте сказали бы «на выданье», ну, а про парней так не скажешь.

На хуторе Малявичюс, кажется, сам воздух пропитан покоем и любовью. Наверное, из-за этого воздуха корова тетушки Петри доит намного больше, чем коровы на соседних хуторах, поросята жирнее, а уж про яблоки и груши и говорить не приходится! Соседи любят заехать на хутор Малявичюс на чашечку чая, поговорить с его обитателями о житье-бытье, откусать ароматного варенья тетушки Петри (наверное, оно такое вкусное из-за воздуха!).

Но сегодняшний вечер тетушка Петря коротает одна — ее мужчины уехали к матушке Кястукаса. Скоро зима, и надо помочь ей утеплить погреб да отремонтировать камин.

На улице сумеречно то ли от того, что действительно уже пора, то ли из-за туч, висящих низко над домом. Дождь занялся с обеда (а дождь с обеда — на три дня, верная примета!) и спутал тетушке Петре всю работу. Поэтому промокшая и очень недовольная погодой тетушка Петря разожгла камин и хотела уже сесть погреться, но вспомнила, что еще не накормила Алдону. Она налила в миску собачьей похлебки, сунула ноги в сапоги и пошла к будке.

— Алдона, иди поешь!

Алдона нехотя вылезла из будки, за ней следом показалась недовольная голова Ионо — грелка и подушка ушли от него!

— Ионо, и ты здесь? — тетушка Петря улыбнулась. — Ну, пойдем в дом, я камин разожгла, погреешься.

Камин! Как Ионо любил камин! Он потерялся об Алдону, как бы извиняясь, и побежал в дом, перепрыгивая через лужи. Тетушка Петря погладила Алдону и пошла вслед за котом.

— День у нас сегодня какой-то несуразный, — пожаловалась тетушка Петря, усаживаясь в кресло. — Вот был бы ты, Ионо, собакой, принес бы мне подушечку под ноги, а так придется идти самой.

Тетушка Петря встала и аккуратно переложила Ионо с колен в кресло:

— Полежи в моем кресле, чтоб оно не выстыло, пока я хожу за подушечкой.

Ионо старательно исполнил просьбу хозяйки, предвкушая долгую и умную беседу у огня. Уж он-то знал все хозяйские привычки!

Тетушка Петря не заставила себя долго ждать. Она опять села в кресло, бережно переложив Ионо к себе на колени, и разместила уставшие за день ноги поближе к огню. Ионо громко замурлыкал...

— Нравится? — начала тетушка Петря беседу, имея в виду камин.

Ионо приоткрыл один глаз и удивленно взглянул на хозяйку, как бы спрашивая: «О чем речь? Конечно, нравится, ведь ни у одного кота в округе нет такого теплого ками-

на и такой доброй хозяйки!» Конечно же, Ионо прихвастнул, но его вполне можно понять, особенно в такой промозглый осенний вечер, как сегодня.

— В городе такого нет. Там батарея, и все тут. Я знаю, я жила в городе. Маленький провинциальный городок, очень далеко отсюда. Очень...

Тетушка Петря задумалась, и воспоминания унесли ее далеко от хутора Малявичюс.

— Знаешь, я, когда в школе училась, без памяти влюбилась в одного парня. Мы с ним вечерами по городу гуляли, разговаривали, мечтали о будущем, целовались где-нибудь за кустом или в темном переулке.

«Ого! — подумал Ионо. — Я бы и не предположил, что моя хозяйка...» Но додумать не успел, потому что тетушка Петря уже продолжила свой рассказ:

— Мы с ним два года встречались, пожениться хотели. А еще учиться: очень не хотелось просто подметать улицы, хотя и это не зазорно. Школу закончили и уехали в нашу столицу, в институт поступать. Думали, будем учиться, а уж там и поженимся. Поступили, только институты-то разные — он в военный, а я... Иногда по выходным встречались, письма друг другу писали. Ах, какие это были письма! Поэмы! Как он умел выражать свои чувства! «...Милый друг, любезная моя Петренька!» Да...

Тетушка Петря замолчала, она, не мигая, смотрела на огонь и задумчиво перебирала кошачью шерсть. Ионо очень хотелось дослушать рассказ хозяйки. А вдруг тем самым парнем окажется его хозяин? Будет о чем завтра рассказать Алдоне!

Но тетушка Петря смотрела и смотрела на огонь, ровно и спокойно горящий в камине, и совсем не собиралась продолжать свой рассказ. Ионо сладко потянулся и принялся громко мурлыкать, пытаясь вывести тетушку Петрю из ее глубокой задумчивости.

— Ах, да... А потом он написал, что встретил девушку... Ну, короче, она там жила, и, женившись на ней, он получал столичную прописку и служить там же оставался. «...А тебя, милая моя Петренька, я никогда не забуду. Прости меня, если сможешь, но мне так хочется остаться здесь, я полюбил этот город... ..А тебе желаю найти мужа доброго и порядочного, потому что ты, мое солнышко, этого заслуживаешь...» Вот так вот, Ионо, променял он любовь на жизнь столичную...

Тетушка Петря незаметно для Ионо смахнула слезу, взялась за кочергу и стала шевелить дрова в камине. Дрова недовольно затрещали и кинули сноп искр прямо к подушечке тетушки Петри.

«Хорошо, что тот парень не стал моим хозяином... Сволочь!» — неожиданно для себя подумал Ионо.

— Так-то, Ионо, — продолжила тетушка Петря. — Я тогда плакала. Подруги, конечно, утешали, я старалась его забыть, очень старалась, но всякий раз, когда я приезжала домой и шла по знакомым улочкам, я вспоминала: вот здесь он сказал мне... вот здесь мы мечтали... вот здесь он меня целовал. Со временем, конечно, сердце уже не щемило, но все равно осталась какая-то тоска, грустинка. Иногда мне это даже нравилось, и я, как заправский мазохист («Ого, ну и словечки в лексиконе моей хозяйки!» — прокомментировал про себя Ионо), бродила по тем местам, где мы с ним гуляли. И в очередной раз, собираясь домой на каникулы, я уже предвкушала и свои прогулки по вечернему городку, и томяще-сладкие приступы грусти. Знаешь, иногда хочется пожалеть себя любимую.

А в те старые советские времена, друг ты мой Ионо, нельзя было просто так прийти на вокзал, взять билет и уехать. Надо было недели за две, а то и за месяц отстоять жуткую очередь в предварительной кассе. Но ведь не распланируешь свою жизнь на две недели вперед, тем более, будучи студентом столичного вуза.

И вот, когда все уже стало ясно с экзаменами, я помчалась в кассу за билетом, но мне досталось место только в общем вагоне. А общий вагон — это, чтоб ты понял, всю ночь сидеть на жесткой лавке. Но я тогда не расстроилась: поезд проходящий, в нашем городке будет около четырех утра, что уж я, до четырех часов на лавке не просижу?

А последним экзаменом у нас тогда было вождение, но прежде чем сдать вождение, надо было сдать экзамен на знание правил дорожного движения. И так уж получилось, что я сдала, а девчонки, с которыми я жила в одной комнате, нет.

И вот я убежала на последний экзамен, а девчонки остались в общежитии и решили напечь плюшек. Экзамен затянулся, я уже нервничала, потому что могла опоздать на поезд. Наконец, все завершилось, я получила водительские права, но, взглянув на часы, поняла, что плюшки мне не светят — я только-только успеваю (если успеваю!) на поезд.

Ионо беспокойно повернулся другим боком к огню — он очень переживал за свою хозяйку. А вдруг она не успеет? Что тогда?

— Девчонки собрали мне плюшек в дорогу, и я побежала, — продолжила тетюшка Петря. — Два шага — вдох, три шага — выдох, благо вокзал не очень далеко. Я уже добежала до перрона, слышу — объявляют отправление моего поезда! Я запрыгнула в последний вагон, и поезд тронулся.

— Долго спишь, девонька! — укорила меня проводница.

— Извините, — сказала я, а про себя подумала: «Знала бы ты, родная...». По правде говоря, я тогда и вообще две ночи не спала, да и кто хоть в общежитии много спит во время экзаменов?

«Что это такое — экзамен? — лениво подумал Ионо. — Дождь, снег, град знаю, а экзамен...»

— Поезд потихоньку набирал ход, вагоны тяжело скрипели на стрелках, а я пробиралась к своему вагону. Я проходила купейные, плацкартные, а вот и мой — общий. Пустой. Я посмотрела на билет — место в середине вагона. Интересно, зачем в середине, если везде пусто? Да какая мне разница где, главное — успела.

Я прошла на свое место. На соседнем оказался мужчина — небольшого роста, взъерошенный, лет тридцати—тридцати пяти.

— А я думал, один в пустом вагоне поеду! — произнес он вместо «Здравствуйте».

— Здравствуйте, — сказала я.

— Садись, не стесняйся, — разрешил мой попутчик.

«Было бы кого стесняться», — язвительно подумала я.

«Наверное, это и был мой хозяин», — подумал Ионо, но его и тут ждало разочарование.

— Меня зовут Сергей Петрович, — представился мне попутчик.

— А меня Петря, — ответила я. Ну, не сидеть же буквой, во-первых, а во-вторых, разве дорожное знакомство к чему-то обязывает?..

«До чего же у вас, у людей, все сложно! — опять отвлекся от рассказа тетюшки Петри Ионо. — Обязывает, не обязывает... Да вы же вдвоем на целый вагон, кто что узнает?»

Мы с Сергеем Петровичем быстро разговорились, и я узнала, что он младший научный сотрудник в Институте микробиологии, что он очень устал, едет домой в отпуск и мечтает о рыбалке на тихой лесной речке. Я, в свою очередь, рассказала, что учусь в институте, а сейчас еду домой на каникулы и мечтаю выспаться, поесть, а потом походить по своему городку — я по нему соскучилась в столичной-то сутолоке.

— Я сейчас схожу к проводнице за чаем, у меня есть бутерброды — мы с тобой поедем! — Через полчаса пути он уже вел себя так, будто мы знакомы целую вечность. Впрочем, я тоже особо не скромничала.

— Чай — это хорошо, — подтвердила я. — У меня и плюшки есть, девчонки в общаге напекли.

— Хорошие у тебя подруги, — похвалил моих девчонок Сергей Петрович, вставая с места.

Однако от проводницы он вернулся очень быстро и без чая.

— Не дала, — сказал он расстроенно, — сказала, в общем вагоне не положено.

— Жаль, конечно, всухомятку жевать не больно хочется. А, может, в соседнем вагоне спросить? — предложила я.

— Я сейчас, — с готовностью сказал Сергей Петрович и тут же отправился в соседний вагон.

Пока он ходил, я разложила на столе плюшки, девчонки мои еще сунули в пакет бутерброды с сыром — целый пир по студенческим меркам!

Сергей Петрович вернулся довольно скоро. Он торжественно нес два стакана чая и весь прямо светился. Пока мы пировали, я узнала, что он едет к матери и ему выходить через три часа после моего городка.

— Я разбужу тебя, если ты уснешь, — пообещал он.

— Спасибо, конечно, но я надеюсь, что не просплю. Хотя, все может быть.

Чай уже был выпит, плюшки и бутерброды съедены, а мы сидели и разговаривали под мерный стук колес и звон ложек в пустых стаканах. На улице уже стемнело, проводница включила было свет, но потом выключила:

— Спите, чего рассиживать-то. Вам вставать завтра рано!

— Ладно, ладно, — пообещал ей Сергей Петрович.

Почему-то у нас с ним нашлось много тем для разговора, хотя мы были совершенно разными людьми. Он увлекался рыбалкой, а мне больше нравились грибы, я любила музыку, а он терпеть не мог концерты и предпочитал кино. Даже по части взглядов на жизнь и нашего в ней предназначения у нас было столько разного! Наверное, поэтому нам и было так интересно.

Я не помню, как я уснула, — все-таки бессонные общежитские ночи дали о себе знать. Помню только, что сквозь сон слышала, как он бережно перекладывал мою голову к себе на колени, как поправлял мои ноги, чтоб им было удобнее лежать, как прикрывал меня своим пиджаком...

— Петруня, проснись, — ласково погладил он мою голову, — тебе выходить скоро.

Я всегда плохо просыпаюсь, а тут я и спала-то всего часа два.

— Петруня! — настойчиво произнес Сергей Петрович. Я открыла глаза и села.

— Извините, я уснула. Спасибо вам... — И вдруг я поняла, насколько мы за ночь сблизились с этим человеком, а сейчас нам придется расстаться. Навсегда. Вероятно, он почувствовал то же самое, потому что с каким-то отчаянным выдохом «Петруня!» привлек меня к себе...

Поезд уже останавливался. Проводница, вероятно, уснула и проснулась только сейчас. Она бежала по вагону, чтоб меня разбудить.

— Девушка, ваша станция!

Сергей Петрович махнул ей рукой, мол, иди, не мешай, мы даже не прекратили своего поцелуя. Проводница понимающе развернулась и через плечо бросила:

— Стоянка поезда три минуты.

— Мы успеем! — уверил ее Сергей Петрович, взял мою сумку и проводил меня из вагона.

— Петруня, я тебя не забуду! — И опять меня поцеловал.

Поезд дернулся. Сергей Петрович поцеловал меня в последний раз.

— До свиданья! — крикнул он уже с подножки вагона.

— До свиданья! — ответила я и помахала ему рукой.

Поезд ушел, последний вагон вильнул огоньками и скрылся в рассветном тумане... Сергей Петрович поехал к матери — рыбачить в тихой лесной речке, а у меня на губах остался вкус его поцелуя. Ласкового, нежного, прощального...

Я шла по улочкам нашего городка, солнце еще даже не вставало, а только просыпалось. Вот здесь мы мечтали... вот здесь он сказал мне... вот здесь он меня поцеловал. Но привычной томяще-сладкой грусти уже не было.

— Так-то, Ионо, — тетушка Петра потянулась за кочергой, — вылечил, верно, меня Сергей Петрович от моей тоски. А ведь мы с ним даже адресами не обменялись.

Тетушка Петра подправила догорающие в камине угли.

— Ладно, Ионо, иди к Алдоне, холодно ей, поди, одной. А я дом запру да и спать лягу. Поздно уже, эка мы с тобой сегодня засиделись!

Ионо послушно спрыгнул с колен тетушки Петри, а она засунула разомлевшие в тепле ноги в тапочки и пошла запирать дом.

«Жаль, Алдону в дом не пускают, я не смогу рассказать ей так интересно, как хозяйка», — думал Ионо, прыгая через лужи, чтоб добраться до будки.

А в маленьком уютном домике под черепитчатой крышей, который почти и не виден с дороги из-за яблоневых и грушевых деревьев, очень долго не гас свет. Верно, тетушка Петра раскладывала пасьянс — она всегда так делает, когда разволнуется.

Здравствуйте, меня зовут Сережа!

Я не пишу писем, потому что не умею писать. Да и писать-то мне некому. Просто бабушка отправила меня спать, а спать мне не хочется, и я лежу в кроватке и разговариваю с вами.

Родился я очень давно, потому что не помню этого.

— Ты родился на помойке, — однажды сказала мне Аня. Аня ходит со мной в садик и все знает, потому что мама у нее работает в больнице.

— Моя мама по помойкам не шарится, — ответил я Ане, — и если бы я родился на помойке, она бы меня там не нашла!

Почему-то, когда мама меня нашла, она отдала меня бабушке. Бабушка живет через дорогу от мамы, у нее маленький домик, и вместе с ней живут еще баба Маня, Оля, Настя, Наташа, Ваня и Саша — мамины братья и сестры. Они уже большие, только Настя еще учится в школе, но и к ней иногда приходят какие-то дядьки, пьют вино, долго с ней шебуршатся, а потом курят среди ночи, топчут по дому и уходят.

Я самый маленький, и большие надо мной озоруют. Бабушка, когда видит, застывает за меня, но видит она не всегда.

Я сначала думал, что, если буду хорошо себя вести, мама возьмет меня к себе. Я очень старался, но мама почему-то взяла к себе дядю Вову, а я так и остался у бабушки.

Потом мама нашла где-то маленькую девочку.

— Это твоя сестренка Маша, — сказала она мне, но бабушке ее не отдала, а оставила у себя. Я сначала очень обиделся на Машу — меня нашли первым, это я должен жить

с мамой, а она пусть живет с бабушкой! Но дядя Вова разрешил мне приходить играть с Машей, а в это время я мог видеть маму, и я Машу полюбил. Я уже стал привыкать к такой жизни, но тут и произошло первое Событие — меня отдали в садик!

Все, бабушка моя уснула, и я уже засыпаю, завтра расскажу вам дальше.

Здравствуйте, это опять я, Сережа!

Помните, я вчера вам про себя рассказывал? Я не знаю, кто вы, я представляю вас красивой толстой тетей с кучеряшками и с добрым лицом.

Так вот, я хотел рассказать вам про садик. Я очень испугался, когда меня туда привели, и заплакал. Мама ушла и оставила меня одного. Но тут ко мне вышла тетя и сказала:

— Не плачь, Сережа, мама обязательно придет за тобой, только чуть позже. А пока пойдем со мной, будем ждать маму вместе.

Я заплакал еще сильнее. А вдруг мама возьмет к себе и эту тетю, а меня так и оставит у бабушки? Тетя взяла меня на руки, что-то тихо говорила, и я вдруг перестал ее бояться. Она показала мне стульчик, на котором я буду сидеть. Он был маленький и очень удобный. Потом она показала кроватку — чистую, а самое главное, я в ней буду спать один! Показала, где мыть руки, куда писать. Писать надо было в у-ни-таз. Он был белый, чистый и от него хорошо пахло. Я подумал, что тетя озорует надо мной, как Настя или Наташа, и я написал в углу в раздевалке.

Сначала мне в садике не понравилось, а Наташа сказала:

— Не хочешь ходить в садик?

— Нет, — честно признался я.

— Писай в кровать, и тебя больше в садик не возьмут!

Я старался. Я копил все в себе, чтоб в тихий час написать в кроватку. Лежать в мокрой кроватке было неприятно, но мне очень хотелось домой, и я терпел. Тетя ругала меня и каждое утро спрашивала:

— Сережа, ты сегодня опять напишешь в кроватку?

— Да, — честно отвечал я.

Я очень надеялся, что в ответ тетя скажет: Тогда я не возьму тебя сегодня в садик! — но вместо этого она говорила:

— Значит, опять будешь лежать в луже, я опять тебя отругаю, а маме опять стирать твои одежды.

Мама грустно улыбалась, ради нее я готов был на все! Но не ходить в садик хотелось еще больше.

Все, очень хочется спать, поговорим завтра.

Здравствуйте, это я, Сережа.

Мы давно с вами не разговаривали, потому что ничего интересного не происходило. А сегодня произошло — Маша согласилась меня защищать. Андрюша меня обижал, он большой уже, а Маша сказала:

— Андрюша, ты невоспитанный, тебе ум надо. Помолись Богу, и узнаешь, что так делать нельзя.

Маша тоже уже большая. Она ходит со мной в садик, а когда пройдет зима и лето, она пойдет в школу. И Андрюша пойдет в школу. А я пойду вместе с Аней через два года, так нам тетя Оля, наша воспитательница, сказала.

Андрюша Богу не помолился, но обижать меня больше не стал, потому что Маша сильнее его. А мне Маша сказала:

— Сережа, если ты будешь со мной дружить, я тебя буду защищать!

Я очень обрадовался и согласился. Мы с Машей играли вместе целый день, она была капитан, а я — капитан-товарищ. Мы с ней ловили бандитов, искали бомбу, это было так здорово! Когда мама пришла за мной в садик, я ей сказал:

— Мама, я очень хочу завтра в садик!

Мама обрадовалась и сказала:

— Очень хорошо, сына, я знала, что тебе понравится! — и опять отвела меня к бабушке.

Я заплакал. Я думал, мама хоть сегодня возьмет меня к себе! А когда бабушка сказала, что пора спать, я обрадовался и решил все рассказать вам.

Как это хорошо, когда у тебя есть с кем дружить и есть кто-то, кто тебя защищает. А у вас есть с кем дружить?

Здравствуйте, это опять я, Сережа.

Я дружу с Машей вот уже три дня. Маша хорошая девочка, она очень громко поет на занятиях, а дома у нее есть настоящая фуражка! Мы с Машей решили пожениться, когда вырастем, а сегодня она устроила мне испытание. Она сказала:

— Когда люди любят друг друга, надо это доказать.

Я не знаю, кому и зачем это надо доказывать, но согласился, потому что люблю Машу. Она увела меня в умывалку и стала хлестать полотенцем по лицу. Мне не было больно, мне было очень приятно — ведь это Маша! А тетя Оля, наша воспитательница, все испортила, она наругала Машу и прогнала нас из умывалки. Мне было очень обидно, я чуть не заплакал. Это все равно, что вам дают мороженое, вы его только лизнете, а его уже отбирают. Эх, тетя Оля, тетя Оля, что ты наделала!

— Ты выдержал испытание! — сказала мне потом Маша. — Мы с тобой друзья до гроба!

— До какого гроба? — не понял я.

— Я до голубого, а ты — до зеленого, потому что, когда ты умрешь, у тебя будет зеленый гроб, — пояснила Маша.

Я ничего не понял, но согласился. Маша старше меня, недавно у нее умер дедушка, и про гроб она знает больше.

Здравствуйте, это я, Сережа.

Я совсем запутался: вчера Маша говорила, что дедушка умер и его закопали в землю, а сегодня сказала, что он уже на небе и оттуда на нее смотрит. Как же он из-под земли попал на небо?

— Очень просто, — пояснила Маша, — его душу ангел-хранитель на небо поднял, потому что у дедушки был крестик. У кого есть крестик, того ангелы на небо поднимают.

Я тоже хочу на небо, но у меня нет крестика. Когда мама пришла за мной, я спросил ее:

— Мама, почему у меня нет крестика?

— Потому что ты некрещеный, — ответила мама.

— А почему я некрещеный? — опять спросил я.

— Потому что тебя не крестили, — ответила мама.

— Я хочу, чтоб меня ангелы на небо взяли, — вспомнил я Машины слова, а мама почему-то рассердилась.

Наверное, на небе хорошо. Маша говорит, что скоро они с бабушкой к дедушке на могилку поедут, может, дедушка ей про небо что и расскажет. А вы как думаете, на небе хорошо?

Здравствуйте, это опять Сережа.

Сегодня целый день идет не то дождь, не то снег. Мы с мамой шли домой, а под ногами — каша. Мама сказала — скоро будет зима. Я уже знаю, что такое зима — это снег, холодно и целый день дома. Вот и сегодня мы не гуляли и весь день были в группе. Мы с Машей сидели в игровом уголке, и она рассказывала мне про дедушку, и как они с ба-

бушкой ездили к нему на могилку. Оказывается, если на могилке что-то сказать, дедушка услышит, а вот ответить не сможет.

— И ты так и не узнала, хорошо ли на небе? — спросил я Машу.

— Узнала. Мне бабушка сказала.

— И что она тебе сказала?

— Что там очень хорошо. Тихо, тепло и цветов много.

Мне тоже захотелось на небо, потому что у нас холодно, дождь и все цветы завяли. Я сказал об этом Маше.

— Нет, сейчас туда нельзя, — ответила она.

— Почему?

— Туда берут только хороших людей, а ты еще маленький и ничего не сделал, и Бог не знает — хороший ты или плохой.

Я задумался. Ведь и правда, как узнать — хороший я или плохой? Когда я помогаю бабушке подметать пол, я хороший, а когда Настины дядьки топают по дому, а я лежу в бабушкиной кровати и представляю, как я их выгоняю, тогда, наверное, я плохой. Неужели Бог всю мою жизнь будет смотреть на меня и запоминать, чего больше — хорошего или плохого?

Здравствуйте, это опять Сережа.

Мы с вами давно не разговаривали, вы меня не забыли?

У нас уже зима, потому что выпал снег. Его еще немного, и трава прямо сквозь него торчит. А знаете, мы в садике, даже когда снег и холодно, ходим гулять. Снег — это так здорово! Мы с тетей Олей лепили из снега бабку, дедку, собаку, медведя... ой, сколько мы всех лепили! А еще тетя Оля сказала, что, когда снега будет много, мы построим горку и крепость и будем играть. Оказывается, это совсем не холодно. Почему бабушка не отпускала меня гулять, когда была зима?

Вообще-то я хотел рассказать не о снеге. Сегодня мама привела в садик мою сестренку Машу, и у меня теперь две Маши — большая и маленькая. Маша-маленькая тоже очень обрадовалась, когда мы пошли гулять, она бегала по снегу и кричала, только не знаю о чем — она ведь не умеет говорить.

Теперь если бы не Андрюша, мне бы и совсем в детском саду понравилось. Маша-большая защищает меня, но Андрюша иногда обижает Машу-маленькую, и она плачет, а ему нравится, когда она плачет. Я сегодня стукнул Андрюшу автоматом, и тетя Оля хотела меня наругать.

— Он Машу свою защищал, — сказала Аня.

— Молодец, сестренку надо защищать, — сказала мне тетя Оля и наругала Андрюшу.

Я Аню не люблю, потому что она все время говорит, будто я родился на помойке. Когда тетя Оля это слышит, она Аню ругает. А сегодня Аня сказала правду, и ни меня, ни ее не наругали. Значит, про помойку все-таки неправда?

Здравствуйте, это я, Сережа.

Мы с вами очень редко стали разговаривать, потому что я быстро засыпаю. А сегодня я не сплю, потому что у нас в садике была елка. К нам приходил настоящий Дед Мороз, Снегурочка, Бармалей, Баба Яга! Еще на праздник пришли мама и дядя Вова, они смотрели, как мы водим хоровод. Я держал одной рукой Машу-маленькую, а другой — Машу-большую, и мне было так хорошо! Ни один Новый год мне не было так хорошо. Мы пели новогодние песни и танцевали, и Дед Мороз подарил нам подарки. Мой, правда, Оля с Наташей дома съели, но я думаю, что он был вкусный, потому что Наташа любит вкусные конфеты. А Маша унесла свой подарок к маме. Если бы она умела говорить, она бы мне рассказала, вкусные конфеты были или нет.

А бабушка дома мне сказала:

— Это еще не настоящий Новый год, настоящий наступит через два дня. Пока ты будешь спать, к нам придет Дед Мороз и всем под елочку положит подарки.

Интересно, а что мне принесет Дед Мороз?

Сегодня Саша с Ваней ходили в лес и принесли оттуда настоящую елку. Мы ее украшали, и я повесил фонарик, который мы в садике с тетей Олей делали.

— Какую гадкую игрушку ты сделал, — сказала Настя, — вся кривая и клеєм заляпанная! — И хотела ее снять с елки.

— Оставь, — сказала баба Маня.

Настя обычно не слушает бабу Маню, потому что она уже старенькая, но Саша тоже сказал:

— Оставь! — и Настя оставила.

Если бы вы были всамделишная, вы бы смогли увидеть мой фонарик и сказать мне правду — кривой он или красивый.

Здравствуйте, это я, Сережа.

Сегодня уже Новый год. Вчера еще был Старый, а сегодня уже Новый. Интересно, как они меняются? Наверное, как солдаты на посту. А где? Вы не знаете, где Старый год меняется местами с Новым и куда уходит? Я у Маши спрошу, когда пойду в садик, она, наверное, знает.

Я сегодня проснулся раньше всех и сразу заглянул под елку. Там лежала машинка и шоколадка. Это Дед Мороз мне принес! Я очень обрадовался и, пока Наташа и Оля спали, съел кусочек, а остальное спрятал. Я думал, когда к маме пойдем, я ей дам и Маше дам. А скоро пришел дядя Вова и привел к бабушке Машу! Они о чем-то поговорили с бабушкой на кухне, и он ушел, а Маша осталась.

— Маша пока поживет у нас, — сказала бабушка.

— Почему? — удивился я.

— Потому что мама ваша уехала за братиком, — пояснила бабушка.

— На помойку? — спросил я.

— Почему на помойку? — не поняла бабушка.

— Аня говорит, что нас с Машей нашли на помойке, — теперь уже я объяснял бабушке, — наверное, кому-то мальчик не нужен и его выкинули, а мама подберет.

— Дура твоя Аня, так ей и скажи, — разозлилась бабушка и больше ничего не сказала. Так я и не узнал, куда мама уехала за братиком. И почему Дед Мороз не принес маме братика под елочку, а за ним еще ехать надо. Мне подарок принес под елочку, а маме не принес. Странно.

Здравствуйте, это Сережа.

Я опять не сплю, потому что весь день плачу. Я мальчик, мне стыдно плакать, но слезы сами льются и меня не слушаются.

Сегодня пришел дядя Вова и забрал с собой Машу, взял и меня посмотреть на братика, а потом отвел к бабушке.

— Мама, я не хочу к бабушке, я хочу жить с тобой и с Машей, — сказал я.

— Поживешь пока у бабушки, — сказал дядя Вова.

— Пусть братик хоть немножко поживет у бабушки, — попросил я.

— Ты поживешь! — разозлился дядя Вова.

И когда он привел меня к бабушке, я не выдержал и расплакался. Я плакал в подушку, и она вся стала мокрая, а бабушка сидела рядом, гладила меня по голове и все приговаривала:

— Поплачь, полегче будет. Это я, непутевая, виновата, не надо было ее отговаривать, а теперь вот ты ее грехи расхлебываешь.

Я ничего не понял из бабушкиных слов, и от этого мне стало еще обиднее. Значит, бабушка знает какую-то тайну про нас с мамой, а мне не говорит. Вот вырасту большой и все тайны у бабушки выведаю!

Здравствуйте, это я, Сережа.

У меня беда. Я сегодня пришел в садик, а там только Варя. Представляете, на весь садик мы вдвоем? Все ребята болеют. Сначала заболела Аня. Ее мама приходила в садик, что-то долго говорила тете Оле, а я слышал только «ветрянка».

«Это когда детей ветром сдуло», — подумал я, а тетя Оля сказала Аниной маме:

— Ну, значит, теперь все заболеют.

Мне совсем не хотелось болеть, а Анина мама сказала:

— Не все. Варя и Сережа болели, — и ушла.

И вот прошло три дня, и в садике только мы с Варей остались. Обе мои Маши болеют. Мне их очень жалко, но я ничего не могу сделать. В садике скучно. С Машей было интересно играть, а Варя только рисует. А я рисовать не хочу, я все время думаю о Маше — наверное, ей очень плохо.

— Тетя Оля, а ветрянкой долго болеют? — спросил я воспитательницу.

— Кто как, — ответила она, — бывает, и семь дней, а бывает, и больше.

— Больше десяти? — Я умею считать только до десяти.

— Бывает, и больше десяти, — ответила тетя Оля.

— А Маша? — спросил я о самом главном.

— Маша скоро придет, потому что давно болеет.

— Завтра?

— Нет, еще не завтра, но уже скоро.

Я ушел в игровой уголок и стал ждать. Хорошо бы Маша поскорее пришла, а Андрюша болел бы долго. Я весь день об этом мечтал, пока мама за мной не пришла. Мама отвела меня к бабушке, но сегодня мне было все равно, куда идти, и я не плакал. Я маму очень люблю, но сегодня я почему-то подумал:

«Наверное, меня и в самом деле нашли на помойке, если мама не хочет, чтобы я жил с ней».

Здравствуйте, это я, Сережа.

Сегодня я опять плакал. Саша говорит, что настоящие мужчины не плачут, а я плакал. Значит, я не мужчина? Может, меня потому и на помойку выкинули, что я ненастоящий?

Я сегодня пошел к маме поиграть с Машей, а дядя Вова меня не пустил. Он, наверное, очень устал на работе, потому что качался. Он очень громко сказал маме:

— Твой гаденыш пришел! Гони его, чтоб им здесь и не пахло! — И добавил нехорошие слова.

Мне стало очень обидно: от меня не пахнет, меня бабушка вчера в баню водила! А мама ему ничего не ответила, она вышла ко мне и сказала:

— Иди к бабушке, Сережа, завтра приходи.

— Мам, ну можно я чуть-чуть с Машей и Витей поиграю? — попросил я, но мама почему-то рассердилась.

— Иди к бабушке, кому сказано! — прикрикнула она.

— Мама! — заплакал я, но тут опять вышел дядя Вова.

— Ты еще здесь? — спросил он, и мне вдруг стало страшно. Я втянул руки в рукава и пошел к бабушке.

— Чего ревешь? — спросила Наташа, как только я вошел в избу, но я не мог ей ответить — слезы мешали.

Из комнаты вышла баба Вера.

— Ну что ты к нему пристала? — поругала она Наташу, а мне сказала: — Раздевайся, не плачь. Вон руки-то совсем холодные — пойди хоть у печки погрей.

Я залез на печку, там было тепло, и я уснул. Наверное, мне приснился красивый сон, потому что, когда я проснулся, я уже не плакал. Баба Вера наводила поило корове, значит, уже вечер. Я выглянул в окно — Саша колот дрова, Ваня их складывал, ни Оли, ни Наташи, ни Насти в избе не было.

— Проснулся? — спросила баба Вера.

Мне вдруг стало уютно-уютно, я даже подумал, что не нужна мне мама, мне и с бабой Верой хорошо, но потом испугался и от испуга спрятал лицо в бабин передник.

— Ну, что ты? — погладила меня по голове баба Вера, — пойди хоть молочка попей, с утра ведь не евши.

Я пил молоко, а бабушка гладила меня по голове и приговаривала:

— Ешь, бедовый ты мой.

И я опять подумал, что хорошо мне с бабой Верой, особенно, когда Наташи дома нет. И я решил больше к маме не ходить — с Машей я в садике поиграю, а Витя еще совсем маленький. Но на этот раз я не испугался, а вроде как и обрадовался, мне стало легко, будто я тяжелую одежду снял. А у вас есть мама?

Здравствуйте, это я, Сережа.

Мы с вами очень давно не разговаривали, даже не знаю и почему. А сегодня мне захотелось с вами поговорить. Вы меня еще помните?

Знаете, когда дядя Вова меня прогнал, я к маме больше не ходил. Мама приходит за нами с Машей в садик и обычно спрашивает: «Как дела, сына?» — а потом отводит меня к бабушке, и мне всегда кажется, что ей совсем не интересно знать, как мои дела, и я отвечаю: «Нормально».

Тетя Оля в садике тоже по утрам спрашивает: «Как дела?», и мы ей все-все рассказываем, потому что она добрая, она слушает, смотрит в глаза и улыбается. А мама... Ну, вот, я опять плачу. Давайте, я вам лучше про Машу расскажу.

Знаете, мы с Машей так и дружим, мне с ней интересно. Вот сегодня на прогулке она показывала, как одна тетя с палкой танцевала. Она поздно вечером кино смотрела и видела. Тетя взлетала над палкой, и извивалась вокруг, как змея, и снимала с себя одежду. Наверное, ей жарко было. Не знаю, как тетя, а Маша мне понравилась, у нее очень красиво получалось. Только одежду она не снимала, потому что еще холодно, еще снег не весь растаял.

Маше часто разрешают смотреть кино вечером, поэтому она знает много интересного. Иногда мы с ней вдвоем сидим на лавочке, и она мне рассказывает. Представляете, только мне, даже Варе с Андрюшей не рассказывает.

Когда я вырасту большой, я обязательно буду поздно ночью смотреть телевизор. А вы смотрите телевизор поздно ночью? Или вы ложитесь спать после «Спокойной ночи, малыши»?

Здравствуйте, это опять я, Сережа.

Сегодня у нас в садике был праздник — Мамин день. Тетя Оля сказала, что в этот день поздравляют не только мам, но и бабушек, и сестренек, и просто девочек — всех тетенок.

— А у меня собака Нэнси, у нее щенки — значит, она мама. Ее тоже поздравлять надо? — спросила Варя.

- Нет, поздравляют только людей, — ответила тетя Оля, — а твоя Нэнси — собака.
- А у собак тоже есть праздники? — спросил я.
- Есть, — ответила тетя Оля, — только они людям об этом не говорят.
- Потому что говорить не умеют, — сказала Аня.
- Может быть, — улыбнулась тетя Оля.

Я сегодня Маше подарил подарок — конфету «подушечку». Они у бабушки в сахарнице лежат. Сначала я хотел взять без спросу, а баба всегда говорит, что без спросу — это воровство, а я не хочу быть вором, и я спросил. Баба дала мне конфетку, я завернул ее в бумажку и спрятал в карман, а в садике подарил ее Маше.

- Спасибо, Сережа, — сказала она, — ты настоящий друг!

Мне стало очень хорошо. Я на утреннике улыбался, и очень громко пел, и стихи свои громко рассказывал. После утренника тетя Оля меня похвалила.

А еще мы сегодня делали открытки в подарок мамам, а тетя Оля их подписывала, потому что мы сами писать не умеем. Аня попросила написать «Дорогой мамуле», Варя — «Милой мамочке», Андрюша — «Моей маме», а я попросил написать «Бабе Вере». Тетя Оля спросила:

- А почему не маме?

И я ответил:

- Потому что я хочу бабу Веру поздравить!

У тети Оли глаза стали грустные, и она сказала:

- Как хочешь, — и подписала.

Наверное, тетя Оля знает, что я уже давно не хожу к маме. Как это плохо, когда мама есть, а жить с ней нельзя!

Здравствуйте, это я, Сережа!

У нас уже совсем весна — снега нет, из-под листьев трава начинает вылезать, как маленькие зеленые ножички. Это мне Маша сказала, она и правда на ножички похожа, только не режет.

В последнее время я очень часто грущу. Мы с тетей Олей готовим новый утренник, называется «Выпускной бал», а это значит, что скоро Маша и Андрюша уйдут в школу. Защищать меня будет некому, но ведь и обижать тоже некому! Лучше бы уж Андрюша меня обижал, и Маша была бы рядом, а теперь как я без нее? В садике я всегда рядом с ней, я иногда даже в тихий час просыпаюсь, сажусь к ней на край кровати и смотрю, как она красиво спит. Я почему-то всегда боюсь, что Маша не проснется, мне хочется ее потрогать, побудить, но что-то меня останавливает.

Андрюше очень хочется в школу, он однажды даже тете Оле сказал:

- Вы мне все надоели, я вас не люблю!

Тетя Оля как-то странно улыбнулась и спросила:

- А кого ты любишь? Ты маму любишь?

Андрюша сначала немного подумал, а потом ответил:

- Нет!

- А папу?

- И папу не люблю!

- А кого же любишь-то? Себя?

Андрюша сразу стал такой довольный, будто целый пакетик конфет съел:

- Да, себя я люблю! — и ушел в игровой уголок.

Андрюша очень старается, когда мы учим песни для утренника, потому что он думает, что, чем скорее будет выпускной бал, тем скорее он уйдет из садика. А я не стараюсь. Пусть Андрюша останется в садике, пусть он меня обижает, лишь бы Маша была со мной.

Как вы думаете, если я буду плохо петь, утренник отложат? Я всех ребят подговорю, чтоб они не пели и баловались на музыкальных занятиях.

Здравствуйте, это Сережа.

Я сегодня плачу весь день. Утром я капризничал, и баба Вера ругала меня, пока мы собирались в садик. Она даже подумала, что у меня температура, и трогала мой лоб. Эх, баба Вера, баба Вера, температура тут ни при чем: сегодня у нас в садике выпускной бал.

Я разревелся прямо на утреннике. Маша стояла со мной рядом такая красивая! У нее была прическа, как у принцессы, и большой бант, мне казалось, что все смотрят только на нее. Конечно, все наши девочки сегодня красиво одеты, но Маша... И как только я подумал, что уже завтра она не придет в садик, я заплакал. Мама вышла от зрителей и взяла меня к себе. Она гладила меня по голове, а я плакал еще сильнее. Я вдруг вспомнил, как дядя Вова прогнал меня и мама не заступилась, представил, что Машу больше не приведут в садик... Я любил маму, любил Машу, а теперь останется только баба. Но ведь это баба. Наверное, меня и правда нашли на помойке, если я никому не нужен.

Здравствуйте, это я, Сережа.

Мне было очень скучно, и я с вами не разговаривал. А сегодня я веселый: тетя Оля сказала, что завтра у меня будет день рождения! Пять лет! Целых пять, это как пальцев на руке! Я уже буду большой и скоро тоже пойду в школу.

Я знаю, что на день рождения дарят подарки. Интересно, что мне подарят? Я очень хочу, чтобы к нам пришла мама, пусть даже и с дядей Вовой. Они подарят мне велосипед. У него будут большие колеса, блестящий руль и звончок. Он будет очень громко звенеть, и все прохожие будут удивляться:

— Кто это едет на таком красивом велосипеде?

— Кто этот большой мальчик?

А я буду улыбаться, со всеми здороваться. И обязательно покатаю Машу — я ведь буду уже сильный, пять лет! И сестренку Машу покатаю, и Витю, и бабу Веру. Наверное, я и маму покатаю, я еще не решил, а вот дядю Вову не буду. Пусть ногами ходит. Я бы и вас покатаю, но ведь вы невзаправду. А может, вы где-то есть, и просто мы еще не встретились? Тогда мы с вами встретимся, обязательно встретимся.

Я сначала хотел, чтобы мне большой торт купили, чтоб и Оля и Наташа наелись и нам бы с бабой Верой хоть чуть-чуть осталось. Но если мама подарит мне велосипед, мне даже и торта не надо. Скорее бы наступило завтра!

Здравствуйте, это снова Сережа.

На день рождения к нам пришли мама, и дядя Вова, и Маша-сестренка, и даже Витю принесли. И мне подарили велосипед! С большими колесами, с блестящим рулем, со звончком — совсем такой, о каком я мечтал! Я хотел сразу же пойти покататься, но мама сказала:

— Сына, я еще торт принесла. Давай чаю попьем!

И баба Вера сказала:

— Сережа, это к тебе гости пришли, хоть немного побудь с ними.

Я только хотел спросить: «Какие же это гости? Это же моя мама, и сестренка, и братик!» — но в это время дядя Вова прошепел:

— Чей день рождения, гаденыш? Дома сиди, тебе сказано!

Я чуть было не заплакал, но вспомнил, что мне уже пять лет, что я большой, и ушел в комнату.

Потом мы сидели за столом и ели картошку с грибами, а дядя Вова и Саша с Ваней пили водку. А потом вдруг дядя Вова схватил Машу, так что она даже заплакала, и стал

кричать, что он ее любит, а маму и меня называл нехорошими словами. Баба потихоньку вывела меня из-за стола, помогла вытащить велосипед на улицу и сказала:

— Пойди, покатайся! Только осторожно — не выезжай на дорогу.

Я так обрадовался! Я даже забыл про слова нехорошие, какие дядя Вова про нас с мамой говорил. Я катался вдоль по деревне и звонил в звоночек, и люди смотрели на меня. И я решил поехать к Маше и покатать ее. Я выехал на дорогу и посильнее нажал на педали. Как я мчался! Я очень торопился, ведь я ехал к Маше! Мне оставалось совсем чуть-чуть, как вдруг кто-то сильно толкнул меня, и я упал.

Меня подняли два ангела. В белых одеждах и с крылышками. Они стали поднимать меня вверх, все выше, выше...

— У меня нет крестика! — честно сознался я.

— Это неважно, — ответил один из них.

Я не смотрел вниз, потому что боялся. Я смотрел только вверх.

Ангелы принесли меня в сказочную страну. Здесь тихо, тепло и очень много цветов. Я встретился с Машиним дедушкой. Он и вправду очень добрый, знает много интересного. Мы с ним подружились и целыми днями сидим и смотрим на Машу.

Мы ведь оба ее любим.

П О Э З И Я

Евгений ГУСЕВ



Родился в 1948 г. в деревне Перекладово Даниловского района Ярославской обл.

С 1961 года живет в Ярославле. Закончил Государственный педагогический институт им. К. Д. Ушинского. Работал в Чувашской сельской школе. Более тридцати лет прослужил в органах внутренних дел. Награжден орденами и медалями МВД и других министерств и ведомств.

Печатается в журналах «Наш современник», «Творчество народов мира», «Южная звезда», «Воин России», «Ветеран войны», «На боевом посту», «Милиция», в газетах «Российский писатель», «Литературная газета», в ярославской периодике.

Член Союза писателей России. Лауреат всероссийских литературных премий им. М. Ю. Лермонтова, им. Н. А. Некрасова, им. Н. Рубцова, шести творческих фестивалей МВД СССР и России, победитель Всероссийского литературного конкурса «Твои, Россия, сыновья!», областных поэтических фестивалей и конкурсов. Автор тридцати книг поэзии и прозы.

Дорога к дому

Артист

Стою у мусорного бака
С бомжом по кличке Вездеход.
Свой путь от бака до барака
Он совершает круглый год.
У ног — красивая собака.
У Вездехода грустный взгляд.
О, как со сцены Пастернака
Читал он двадцать лет назад!

О, как, имея власть над залом,
Вздымая руки к потолку,
С огнем сердечным и накалом
Читал он «Слово о полку...»!

«Священнодействовал, однако!
Теперь мои подмостки — здесь,
В пределах мусорного бака...
Но в этом тоже что-то есть!»

У «юмориста» взгляд печальный,
Как у собаки. Ей одной
Стихи про дождь и север дальний
Читает он в тиши ночной.

Друзи мои

Г. Букланову, С. Гурлеву

В парке возле истукана —
Дядьки с лысой головой —
Пилю вермут из стакана
Одного, — нам не впервой.

Каждый был друг другу дорог,
Каждый был друг другу рад.
Было это все лет сорок
Или сорок пять назад.

Разошлись — кто в Подмосковье,
Кто на север, кто на юг...
Не с кем выпить за здоровье,
Нет друзей и нет подруг.

Нету сладкого тумана
Ни в душе, ни в голове.
Нету больше истукана —
Спит, низвергнутый, в траве.
Раз в году — звонок из Луги,
Из Одессы, из Саха...
Помню вас, люблю вас, други!
Остальное — чепуха!

Невеста

«...мы полвека отдельно старели»

Е. Евтушенко

Невеста с улицы Свободы,
не говори мне о любви.
Твое «Какие наши годы!»
не утешает. C'est la vie.

Как мне жилось? Легко и вольно.
Познал любовь, измену, ложь...
Твои морщинки видеть больно,
их не закроешь, не сотрешь.

Зачем мне номер телефона
и адрес? Милая, поверь,
звонка от старого пижона
тебе не нужно ждать теперь.

Деньки осенние недолги.
Твою ладонь в свою возьму.
Пойдем по набережной Волги.
Хотя и это ни к чему.

Расстаться нам умней и проще.
Но все слова, слова, слова...
Ах, как горит в заволжской роще
на солнце палая листва!

Отчий дом

Сторона моя печальная,
Утоли мою печаль.
Годы, как вода хрустальная,
Утекли, умчались вдаль.
Нет на свете Перекладова,
Малой родины, куда
Съездить много лет откладывал.
Вот беда, так уж беда.

Поклонюсь кусту смородины,
Как обители монах.

От «просторов» малой родины
На душе тревога, страх.

Пруд зарос зеленой ряскою.
Словно немощный старик,
Дом родительский с терраскою
Скособочился, поник.

Воронье над крышей — тучею,
Пляшет, как в кошмарном сне.
Рядом с ивою плакучею
Плакать хочется и мне.

Весь июль погода адова.
На «вопросец» старика:
— Ты откель, из Перекладова?
Говорю: — Издалека!..

Дорога к храму

*О. Андрею, настоятелю Благовещенского храма
села Солонец, что под Ярославлем*

Возчик, мысля лишь о водке, —
«На тот берег? Не вопрос!» —
На видавшей виды лодке
За «полтинник» перевез.

— Храм семнадцатого века! —
Говорит, хлебнув вина.
У церковных врат калека,
Как и возчик, с бодуна.

Трезвый батюшка, бородкой
Потрясая, говорит:
— Заменили веру водкой,
Погибает индивид!

Смотрит строго, и с упреком:
— Убеждаешься в одном:
Все пошло в России боком,
Сикось-накось, кувырком!

Говорю: — Ничто не вечно,
А наш мир не так и плох!

Смотрит ласково, сердечно:
— Если так, то дай-то Бог!

Помолясь, затеплив свечку,
Не спеша иду назад.
Ожидая возле речки,
Возчик, как родному, рад.

«Берег левый, берег правый...»
До свиданья, божий храм,
Обезглавленный державой!
Всем воздастся по делам...

Памяти членов Ярославской хоккейной команды «Локомотив»

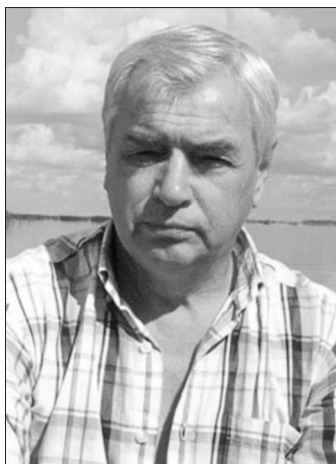
Жизнь прервалась на самой звонкой ноте.
Не будет больше выхода на лед.
Тела — в земле. Но души их — в полете.
Не оборвется звездный их полет.

У всех свои Парнасы и Голгофы,
И каждому свой уготован крест.
Не заглушают боль от катастрофы
Колокола, звучащие окрест.

Звенит, как песнь, болельщицкое: «Локо!»,
Как поднебесный клекот журавлей.
О, как несправедлива и жестока
Судьба бывает к лучшим из людей!

Придется так же яростно, упрямо
Другим ребятам выходить на лед.
У древних стен Леонтьевского храма
Не дождь идет, а небо слезы льет.

Николай РОДИОНОВ



Родился в 1951 г. в Ростове Великом. Закончил факультет журналистики МГУ, почти 30 лет работал в районных и областных газетах. Стихами увлекся в школьном возрасте, посещал занятия литературной группы при редакции ростовской районной газеты, в 1970-х участвовал в областных литературных семинарах, публиковал стихи в газетах «Юность» и «Северный рабочий», журналах «Москва», «Орион», «Русь» и «Русский путь на рубеже веков». Первую книжку выпустил в 1998 г. Затем вышло еще шесть поэтических сборников и книга прозы. Член Союза журналистов и Союза писателей России.

Ростов Великий

1

Город всеми своими бесчисленными куполами
В безветренную погоду
Окунается в цветущие воды озера Неро,
Доставшееся племени меря
То ли от Ледникового периода,
То ли от погибшего здесь
Безымянного космического тела.

Метрах в двухстах от берега
В привязанной к воткнутым в ил веслам лодке
Сидит рыболов —
Не из племени меря, а из бывших
Октябрят, пионеров, комсомольцев, коммунистов —
И наблюдает
За косо торчащим из воды
Неподвижным поплавком.
Его наклоняет влево леска,

Взгляд рыбака скользит по ней, по удилищу и
Обнаруживает на тыльной стороне ладони комара.
«Не клюет... зара...за!» —
Думает расстроенный ростовец
И хлещет свободной рукой по кровопийце,
Удилище — плетью по воде.
Сверкая ярко-серебристыми боками,
От поплавок в разные стороны бросаются уклейки,
А на разбегающихся от удара по воде кругах
Качаются,
Причудливо искажаясь,
Томно-серебристые и золотистые купола.

Резким контрастом
Поражают даже не очень внимательного прохожего
Обшарпанные стены особняков, торговых рядов
И — блистающие тонированными стеклами
Иноземного производства автобусы;
Замкнутые в себе горожане, вездесущие бомжи
И — благостно-беспечные туристы,
Не обращающие внимания на обитателей города,
Но с восторгом глазающие
На величественный Успенский собор,
Его многоголосую —
С церковью Входа в Иерусалим — звонницу
И на Митрополичий двор,
Являющие собой
Единый многоугольный ансамбль
Ростовского кремля.

Словно в крохотных зеркалах,
Отражаются картины жизни города,
Окружающей природы, исторических событий
В произведениях ростовских мастеров
Миниатюрной живописи по эмали.
Посетители кремля
Перед надвратной церковью Иоанна Богослова
Неминуемо проходят сквозь строй
Торгующих финифтяными изделиями:
Шкатулками, брошами, браслетами,
Кулонами, кольцами и серьгами,
А выйдя из-под нее,
Попадают в окружение художников,
Предлагающих свои акварели, графику
И картины, написанные маслом.
Тут же можно купить всевозможные поделки из
Глины, бересты, тканей, стекла, дерева —
Колокольчики, свистульки,
Матрешку, ажурную жар-птицу, —
Все, на что способна фантазия народных умельцев.

Ближе к полудню становится жарко,
Со спины припекает.
На дне лодки, под полком, лежа на боку, томятся
Две плотвицы.
Ждать больше нечего,
И рыболов начинает сматывать удочки.
Вдали слышался гул мотора, а вскоре
Он взревел прямо за спиной рыбака,
И лодку сильно качнуло.
Рыбак обернулся и увидел
Разворачивающийся вблизи небольшой катер.
Качнулась
Сидящая на задранном вверх носу катера девушка,
Качнулись ее обнаженные груди,
И рыболов долго неотрывно следил
За крупными яркими сосцами,
Как до этого за поплавками,
Пока катер, уносящийся
К противоположному берегу,
Объятый солнечными бликами,
Не превратился в мираж.
«До чего же докатились наши девки», —
Разминая шею, подумал рыболов.

Застенчиво, как ребенок, как непорочная девушка,
Бывший зэк
Во вратах Спасо-Яковлевского
Димитриева (мужского) монастыря
Просит подаяние:
«Сколько можете. На хлеб.
Только что освободился...»
Но редкие прихожане редко останавливаются,
Чтобы дослушать и одарить кающегося грешника,
Они идут в Храм, блистающий золотой главой,
Причаститься к таинствам,
К Церкви Отца, Сына и Святого Духа.
Длинноволосая и длиннополая братия
Игнорирует прихожан.

На противоположной, восточной окраине города
В сизой дымке виднеются главки
Богоявленского Авраамиева (женского) монастыря.
Туристы редко заезжают туда,
Где святой Авраамий,
Первым из христиан пришедший
На ростовскую землю,
Жезлом Иоанна — ученика Христа
Повергший в прах языческого Велеса,

Основал обитель
Для новообращенных праведников
И нынешние потомки идолопоклонников,
Поселившихся здесь в прошлом столетии,
Доживают свой век в ее возрождающихся
С Божьей помощью стенах,
Славя Бахуса.

Восток потемнел, налетел порывистый ветер.
Рыбак длинной цепью с навесным замком
Прикрепил лодку к ржавой свае
И веслом, стоя на корме, подгрребал к берегу.
Взглянув на восток, он с удивлением на лице замер:
На черном,
Затянута грозowymi тучами горизонте,
Там, где стоит село Сулость, —
Словно ворота в рай,
От воды до светлого края неба
Белеет храм.

Чаевничая за кухонным столом
Возле залитого дождем окна,
Старый рыболов то и дело вздыхал
То ли по напрасно прожитому дню,
То ли по райским вратам,
То ли по очаровательно распущенной незнакомке...

2

За городом кладбище,
За кладбищем — родина
Преподобного Сергия Радонежского.
Шоссе, как новенький сапог оккупанта,
Дряхлое стариковское тело,
Раздавило селение Варницы
Пополам.

Блекнет заря,
Отблески заката скользят по холмам,
Болотам и перелескам,
В сумеречном свете темнеют села
С покосившимися главами и крестами
Заброшенных и полуразрушенных церквей,
И над немymi просторами древнерусского края
В тяжелом от запахов
Увядающего разнотравья воздухе
Разносится
Вечерний, тихий, благотворный звон.

Владимир ПОВАРОВ



Родился в 1954 г. в Ярославле. Закончил Ярославский политехнический институт по специальности инженер-механик. Работал на Ярославском моторном заводе, инженером видеозаписи Государственной телерадиокомпании «Ярославия», журналистом студии телевидения ООО «Ярославльтелесеть». В настоящее время работает в Ярославском государственном театральном институте, преподает в ЯГПУ. Стихотворения Владимира Поварова публиковались в коллективных сборниках «Ярославская лира» (1997); «Ярославский альманах» (2001). Автор книги стихов «Суицид» (1993).

«Надышаться декаблями»

* * *

Я хотел бы работать на черной реке,
Где приветствуют ближних гудки-теплоходы,
Где подлунные ливни идут налегке,
Пополняя неспешную воду.

Я хотел бы всю ночь зажигать огоньки,
Путеводные бакены белого света
И движением верной и легкой руки
Направлять эту лодку в полоску рассвета.

Я хотел бы служить перевозчиком снов,
Раздвигая веслом неподвижное время,
Чтоб в извечности голой пустынных песков
И зимой прорастало познания семя.

Я, конечно, не Бог, не Харон, не Судья...
Я всего лишь песчинка на отмели Леты.
Но хочу, чтобы верная служба моя
Озаряла надеждою нашу Планету!

* * *

В плену наживы и вражды,
Базарной совести и чести
Все чаще жаждешь нищеты —
Закончить странный бег на месте
И стать подобием бомжа,
Приемля совести подарок,
Среди блатного куража
Надменно-русских иномарок.
Среди надменного греха
В кругу торгующего сброда
Присесть в отрепьях Дурака
На лобной паперти свободы,
Где подает один лишь Бог
И то — полезные советы,
Да скорбный плавленый сырок,
Да дым бездомной сигареты,
Да назидание пути
Из века — в век, от слова — к слову...
Но как душою отойти
От наважденья воровского?
Из этой жадной суеты,
Где даже святость — для утробы
И только мудрость нищеты
Спасает мир от алчной злобы.

* * *

Гаснет медленный свет,
Разрываю руками окно.
В душный воздух квартиры,
И пыльный, и дикий,
И пропитанный тленом чужого кино,
Вдруг врывается полночь,
Весенняя свежесть мороза,
Оскорбленная криками грубых подростков,
Что живут озлобленно, непросто, неброско...
Не мечтая о лучшей, о праведной доле,
Забываясь в дворовом шальном алкоголе,

Им еще суждено опьянеть от весны,
Им еще впереди дуновение войны,
А пока остается дурман да игра...
Да ночное бессилье темницы двора.

* * *

Великое искусство — быть чужим,
Когда свои напиханы повсюду.
Когда ласкает славы липкий дым
Глазенки неподкупного иуды.
И человек, наивный и больной,
Стремится в рай, спасенный сатаной.

* * *

Пережить бы эту осень,
А затем скатиться в зиму.
Шаткий мостик перебросить
Через прожитую глину,
Через прошлые печали,
В Новый год сойти на отдых,
Где морозными свечами
Украшают звезды воздух.
Надышаться декаблями,
Январями вдрызг упиться,
Заложить шальные сани,
Февралем опохмелиться...
Снова свидеться с тобою,
Натянуть любви поводья...
И... с разлету, с головою
Провалиться в половодье!

* * *

Вернусь к Поэзии и брошу
Всех баб надменных и глумливых,
Что выбирают нас по роже
В усладу похотей смазливых.
И пусть, уже совсем не нужен,
Вернусь покорным, триединым,
Отцом беспутным, блудным мужем
И совершенно голым сыном.
Юнцом, до срока перезрелым,
Презренным старцем, первородным
Из пустоты, где «занят делом»,
К ногам Поэзии холодным.

Валерий МУТИН



Родился в 1940 г. в деревне Никукино Грязовецкого района Вологодской области. С 16 лет работал на стройках монтажником стальных конструкций, бригадиром. Начал печататься в 1959 г. Стихи публиковались в изданиях Волгоградской, Красноярской, Ярославской областей, Ставропольского края, в газетах «Комсомольская правда», «Сельская жизнь», в литературных журналах. С 1983 г. живет в поселке Пречистое Первомайского района Ярославской области. Автор пяти сборников стихов.

Член Союза писателей России.

Черный квадрат

* * *

Пречистой Богородицы Покров...
У входа на стене из местных кто-то
Оставил роспись: «бога нет...
Петров».

С тех пор прошло лет двадцать
и всего-то.
На днях, устав от пройденных дорог,
Пришел я в храм
и прочитал у входа:
«Петрова нет!»
И сверху надпись: Бог.

Тополиные острова

Где вздымалась Русь веками,
Не чума и не Мамай —
Мы своими же руками
Загубили отчий край.

Тополя одни лишь ропщут
На местах родных жилищ.
Не с того ли пахнут рощи
Горьким дымом пепелищ.

* * *

Снега всколыхнулись, как пена,
В широких ладонях лугов.
Река, словно полная вена,
Меж низких легла берегов.

И, словно из новых пеленок,
Из дальнего леса на нас
Тревожно глядит олененок
Густыми потемками глаз.

Памяти поэта

«Весна, весна! Из корпуса режимного
освободился я... Душа, не плачь.
Поднявшись в небо с веточки рябиновой
приветствует меня веселый грач...»

Василий Галюдкин

Как днем костер ни вороши,
огонь видней в ночи.
От городов вдали больших
родник слышней журчит.

От городов больших вдали
доверчивей народ.
Весной из глубины земли
береза сок берет.

Весною места нет тоске.
— Моя душа, молчи! —
Весь день за городом в леске
кричат твои грачи.

Черный квадрат

Взял холст художник
и, нервозно,
лишь то отобразил на нем,
к чему мы рано или поздно
в своих стремлениях придем.

Любовь СЕРИКОВА



Родилась в 1983 г. Окончила ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. Четыре года работала корреспондентом на телевидении. Затем училась на Высших курсах сценаристов и режиссеров в Москве. Публиковалась в «Литературной газете» и других периодических изданиях, коллективных сборниках. Член молодежного литературного объединения при Ярославском отделении Союза писателей России. Лауреат конкурсов «Логорифмы» и «Серебряная даль». Автор книги стихов «Генеральная Разборка».

Эври-day-ка

Человеческое

Пейзаж творил умелый каллиграф,
но вчитываться некогда. Покуда
не пропадет трагическая складка
между бровей у сына — на потом
отложен мир, как нервный детектив
с закладкой на странице двадцать шесть.
А сын лепечет, что желает «дэу»,
а может, деву — я плохой толмач.
Химеры из картофельных очисток
мне удаются лучше, чем слова,
тем более — чем понимание слов,
другим произнесенных человеком.
Я и без слов увязла в чудесах:
морковь, переплетясь в развратных позах,
медлительно мечтает о любви,
подсохли привиденья на балконе,

стиральный звездолет раззявил люк,
и кровоточит радуга на кухне —
вареньем. Но совсем не сладко ей...
И от такой драматургии быта
я, кажется, вот-вот откину все:
рога и крылья, плавники и ласты,
вторую кожу, жабры, когти, хвост...
И наконец-то стану человеком.
Так пусть бормочет басом холодильник:
мол, что-то там прогнило, и давно, —
я знаю, что мой дом — не Эльсинор,
благополучно разрешатся драмы,
и каждый день, бесспорно, — белый день,
как Млечный Путь на маленькой щеке
любимейшего в мире человека.

* * *

Мне снится, что мы на крыше,
Внизу облетают вишни,
И море, как третий лишний,
Читает нам список яхт.
Глаза продеру: бодрее
В утробе у батареи
Журчит — знать, вот-вот сопреют
Зады у небесных прях,
Одевших все в строгий серый.
Январь доварился первым,
Февраль помотает нервы,
Но мы и его схарчим.
А дальше и вовсе вкусно:
Я стану почти арбузной,
Не грустной ничуть, но грузной.
И то, что сейчас горчит, —
Все к августу станет сладким,
Разглядятся швы и складки,
Останутся мармеладки
Малиново-дыннх дней.
И просто смешно желать мне
Пышней ритуал и платье
И ангелов покрывалей...
А плакать — еще смешней.

Британский блюз

Погладь меня, оставив лета след...
Заряжен воздух, словно пистолет.
Как серо, сэр... не летно, но летально,
И лампа — знак вопроса — на столе.
Что, ореол? Нет, это дыбом шерсть.
Кто знал, что «сбыча мечт» — такая жесть?!
Что сфинксов тоже тычут носом в лужу?
Что я — в палате лордов номер шесть...
Когда мне надоест себя жалеть,
Метни-ка взгляд (какой потяжелей) —
Я сразу вспомню, что накрыла ужин:
Ням-ням, шашлык из сфинкса в божоле.
Прости, что с хреном — больше специй нет.
От гордости излечен пациент,
Но эта осень — не роман Джейн Остин,
И вовсе не обещан хэппи-энд.
У глаз твоих сегодня темзин тон,
Но будь ты хоть волан-де-морт в пальто,
А я не заберу обратно сердце
И не спрошу «тебе оно на что?»

Весенний квест

Поддаться? — Податься подальше от крыши,
Туда, где все дышит, и бродит, и пышет...
По дереву — соки, по улицам — люди,
По телу — мурашки вчерашних прелюдий,
И в небо вглядеться — как вляпаться в лаву,
Дизайнер весны постарался на славу:
Не лица, а лики, не стены, а фрески,
Цвета гармоничны, чисты и не резки.
Эдем безысходный что к исту, что к весту,
И в нем к непростому готовится квесту
В мультишном плаще с перепачканным краем
Лирическая героиня... в раздрае.
Я хаосу «чао» задорно кричала.
Теперь начинаю с отчая... с начала.
Ни вербным мехам не согреть мои щеки,
Ни вышивке света на ветреном шелке.
А тот, кто согреет, глядит все острее —
Неужто мой серый волчок озверее?

Терзаюсь, обеты даю, обнимая:
Что вывих любви себе вправлю до мая,
Грядущее выйдет из морга у моря,
Мы выйдем из роли — во славу аморе! —
И монстров привычки досрочно замочим,
На уровне дня и на уровне ночи...
В локации лета нас впишут сквозными
Трехспальной вселенной чудными связными,
Как будто бы только вчера «тили-тесто» —
Простыми героями брачного квеста.

* * *

Нет, я у окна не сидела в рюшах
С лицом, похожим на лайм,
До часа, когда Степаша с Хрюшей
Делят детский прайм-тайм.
Не то, чтоб себя мне не было жалко,
Но весь досуг шел на сон,
И проживала, как в коммуналке,
Во мне семерка персон:
Метресса, лох, работяга, сыщик,
Ироник, стерва, эстет...
Тогда любовь, как задумчивый прыщик,
Не знала: зреть или нет,
Тогда надо мной засыпали мухи,
По вторникам снился Кай —
Не то, чтобы в полной жила разрухе...
Но больше не отпускай!
Мой homo улыбчивый, серый lupus,
Кому кого приручать? —
Не ради влечения к пюре да супу,
А просто — ради плеча,
Буйков-позвонков, заусениц, шрамов,
И тьмы ресничных кулис,
И ради того, чтоб кончалась драма
Так радостно, чтоб «на бис».
А если однажды увязнем в ссоре
Бардовой, как каркаде,
Напомни про губы со вкусом моря,
Таблеток, дыни, ж/д;
Про то, что сплести узелок на счастье
Сложнее, чем расплести.
Во многая мудрости — мало сласти...
Ты знаешь, как подсластить.

Эври-day-ка

Эскалатор на круг седьмой,
не на муки, зачем? — на скуку.
Кто-то выведет по прямой,
если вовремя схватишь руку,
опознаешь изгиб плеча
(место — действию, время — коде) —
ритуал надежды подчас
совершается в переходе,
где яичным желтком — плафон,
где почти не бывает пусто,
лезет с нежностью саксофон
черноглазо и златоусто
и хватает сквозь рукава,
сквозь веснушки, мурашки, цыпки
сквозь мою чешую: «Жива?» —
«До последней своей улыбки!»
Взгляд. Не тот ли? Ларечник-мавр.
Саксофону — сто рэ без сдачи.
Пассажир тебе минотавр,
ты ему — минотавр тем паче;
электричка-читальный зал
растворяется в лабиринте.
Я молчу. Кто ж тогда сказал:
«Забери меня... заберите...»?
Здесь — пробел. И уже с плеча
твоего бормочу, что бычий
час тяжел, но и он подчас
завершается полной сбычей
всех кисельно-молочных мечт,
непременных, как кровь и лимфа,
что снимают дамоклов меч
(впрочем, он из другого мифа),
что сюда привела тропа:
через луг, а потом под горку...
и заварена здесь толпа
густо, крепко — до криков «горько»...
Ну хоть горечь — не от ума,
от ума — туман, аки змейка.
Я бы выбралась и сама...
или нет. Твоя. Эври-day-ка.

Анастасия ОРЛОВА



Родилась в 1981 г. в г. Волжский Волгоградской обл. Закончила Хакасский государственный университет, Институт экономики и управления. Работает менеджером в торговой-логистической компании.

Участница 7-го и 8-го Семинаров молодых писателей, пишущих для детей (2010, 2011), и 10-го Форума молодых писателей России в Липках (2010). Стипендиат министерства культуры РФ.

Финалист Первого ежегодного литературного конкурса «Новая детская книга» издательства «РОСМЭН» (2010). Участница фестиваля «Молодые писатели вокруг ДЕТГИЗа» (2010). Участница московского фестиваля детской литературы им. Корнея Чуковского. Победитель Первого всероссийского литературного конкурса «Желтая гусеница: полеты во сне и наяву» (2011).

Публикуется в журналах «Кукумбер», «Мурзилка», «Чиж и Еж», «Желтая гусеница», «Пролог», в газетах «Детский сад со всех сторон», «Про нас», «Пионерская правда», «Золотое кольцо», «Тихая минутка», альманахах «Академия поэзии 2009», «Академия поэзии 2010». Произведения Анастасии Орловой напечатаны в коллективных сборниках «Новые писатели России 2011», «Каталог лучших произведений 2011», «Как хорошо-2», «Современные писатели — детям».

Гостиница для гусениц

Про чемодан

Жил-был чемодан-ветеран,
Объехал он так много стран,
Но вот уже несколько лет
Закрит для него белый свет.

Внутри живота — пустота,
Не жизнь — одна маета!
Он боком давил антресоль,
Разочарованно моль
Кружила вокруг...

Как вдруг
Купили билет на юг!
Ура!
Чемодан чихнул
И весело вниз громыхнул!

Раскрыл бегемочью пасть:
«В дорогу наемся всласть!».
Легко проглотил две бейсболки,
Ветровку и кардиган.
«Добавки!» — хрипел чемодан.

Шляпки, банданы, панамки,
Сандалии и вьетнамки,
Шорты, халат, сарафан:
«Спасибо!» — скрипел чемодан.

Бусы, заколки, браслет,
Карту, обратный билет,
Темных очков две пары,
Расческу и крем для загара:
«Ой, колется!» — пискнул невольно.
И зашипел: «Довольно!».

Распух чемодан, разбух...
Едва перевел он дух,
Как ловко пихнули в глотку
Шампунь и зубную щетку,
Купальники и трусы:
«Ну все, я по горло сыт!!!».

Хотел было рот на замок,
Да в зубе застрял чулок.

Невероятная история о мальчике и одуванчике

Вырос в поле одуванчик —
Просто целый ОДУВАН.
Одуван увидел мальчик —
Очень рослый Мальчуган.

Да ка-а-ак дунет Мальчуган
На огромный Одуван!

Одуван ни «Ох!», ни «Ах!» —
Все пушинки на местах.

Дунул он еще разок —
Не колышется «пушок»!

Дул с разбега, дул в упор,
Покраснел, как помидор,
Десять, двадцать, тридцать... сто —
Одувану хоть бы что!

«Ну и крепкий Одуван!» —
Отдувался Мальчуган.

«Просто мелкий хулиган! —
Только хмыкнул Одуван. —
Обдуть себя не дам!
Я таким не по губам!».

Ленивый пластилин

Трудно мнется,
Туго гнется,
Он лепиться не дается!
Вот вам и нелепица —
Пластилин не лепится!
То ли мальчик нерадивый,
То ли пластилин ленивый...

Переводчик

Я когда-то говорил,
Что хочу быть летчиком,
Но теперь-то я решил —
Стану переводчиком!
Я за братиком хожу,
Все за ним перевожу:
Фофа — соска,
Чесь — расческа,
Кися — кошка,
Взик — застежка,
Бух — упал,
Тю-тю — пропал,
Топ — пошел,
Ку-ку — нашел!
В совершенстве ДЕТСКИЙ знаю,
Я братишку понимаю.

Веселый арбуз

Был с виду надутый и важный арбуз,
Но до чего же веселый на вкус!
«Ах, как хорошо, что мы здесь оказались!» —
На блюде арбузные дольки смеялись.

Арбуз мы умяли от корки до корки,
И высятся горкой смешливые корки,
И я улыбаюсь арбузной улыбкой,
Широкой, и сладкой, и сахарно-липкой.

Благодать

Вот кран подъемный за рекой
С одной-единственной рукой,
Но так длинна его рука,
Что ловко гладит облака.
А ночью вовсе благодать,
Ведь до звезды —
Рукой подать!

Уехала бабушка

Уехала бабушка — вот незадача!
С утра я сегодня хожу, чуть не плача.
Все будто на месте — диван и игрушки,
И слоник Сережа сидит на подушке.
Но книжки на полке толпятся печально,
И в комнате пусто необычайно.

Она приезжала на три недели,
Но эти недели, как день, пролетели,
На поезд ночной был куплен билет —
Я утром проснулся, а бабушки нет.
Лишь дождик в окошко устало стучится,
И следом за бабушкой лето умчится...

Послушаю дождик, Сережу возьму —
Иди ко мне, слоник, тебя обниму.
Мы будем придумывать вместе с тобой,
Как к бабушке в гости приедем зимой!

Происшествие в ванной

Я голову мылил
Шампунем «без слез»,
Шампунь опрокинул —
И тут началось!

Все пыжится пена,
Все множится,
На месте сидеть
Ей не можетя.
Пушистые ноги,
Лохматый живот,
Вот пена уже
Забирается в рот —
Усы с бородою
Болтаются,
И шерстью рука
Покрывается!
А горб за спиною
Навис, как сугроб,
И белые кудри
Налипли на лоб —

Вот в ванне сидит
Безмятежное
Косматое чудище
Снежное!

Гостиница для гусениц

На дереве ореховом
С раскидистой кроной,
На *третьей* справа веточке,
Что к солнцу ближе всех,
Есть красочная вывеска
Под крышею зеленой:
ГОСТИНИЦА ДЛЯ ГУСЕНИЦ
«ЗОЛОТОЙ ОРЕХ».

Там коридоры дли-и-и-нные
И дли-и-и-нные гостиные,
А спальни о-о-чень дли-и-и-нные —
Такой уютный дом!
Хозяюшка гостиницы
Сегодня именинница!
Сегодня именинница
В «Орехе золотом»!

Ах, что за угощение!
Ну, просто объедение:
Ореховые булочки,
Ореховый рулет,
Ореховые блинчики,
Ореховые пончики,
Ореховые ... стульчики,
Ореховый буфет!

И стол, и пол ореховый,
И потолок ореховый —
Все поровну поделено
На двадцать пять частей.
Хрум-хрум! —
И нет гостиницы
У нашей именинницы,
Да только не обиделась
Хозяйка на гостей!

На дереве ореховом
С раскидистой кроной,

На пятой слева веточке,
Заметная для всех,
Есть вывеска знакомая
Под крышею зеленой:
ГОСТИНИЦА ДЛЯ ГУСЕНИЦ
«ЗОЛОТОЙ ОРЕХ».

Один день из жизни варежки

Весь день на морозе рука меня грела,
И я укрывала ее,
Как умела.
Потом подружилась с хорошей перчаткой,
За пальчик ее подержала украдкой.
Я крепко пожала четыре руки.
Я трогала снег!
Я играла в снежки!
А как снегоходом я лихо рулила!
Хоть снегом залипла и чуть не простыла,
Хорош был денек!
Обниму батарею,
Все старые ниточки за ночь прогрею.
На вязаном сердце тепло и легко,
И кажется, так до весны далеко!

«Существенно, и это грех с души»

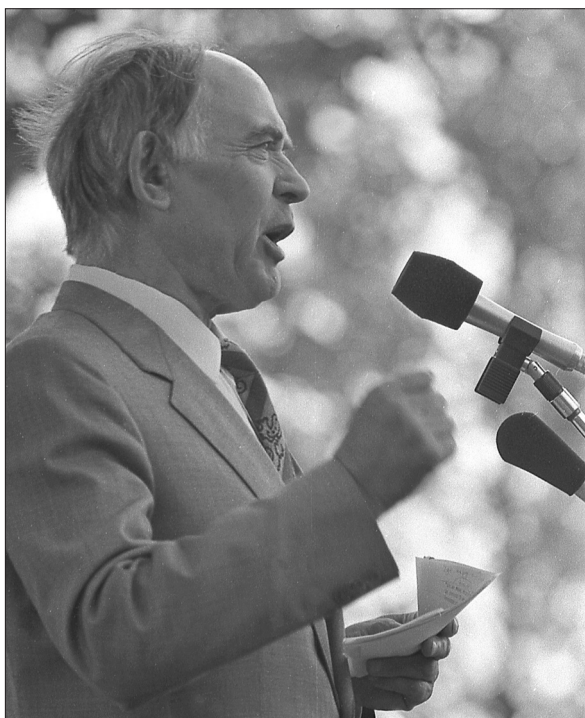
«**Ч**то дальше, то все больше является неизбежно трагический характер нашего развития в темпе непрерывного убыстрения, напряжения и отчуждения действительности от слов о ней, от названий. Мы ее называем, переименовываем, а она — все она. Ярославль. Пустые магазины и рынки, уныние на женских (да и на мужских) лицах. Два сорта рыбных консервов. Безрыбная Волга. Приехал в канун снятия первого секретаря и предоблисполкома. Сняли их, в сущности, за то (с этим согласился стоявший несколько в стороне председатель СНХ Фетисов), что они выполнили вреднейший приказ сверху, выполнили автоматически, как положено, выполнили против своей совести и сознания (отстраняя их — “партия знает”) и, не выполнив который, они были бы сняты тогда же. Неловкость моего положения при внезапном падении старого начальства и отсутствии нового заставила меня сократить на день намеченный срок пребывания “в округе” и сделать одно только дело — в отношении Карабихи (но это существенно, и это грех с души)».

Эти слова полвека назад, 24 июня 1961 года, спустя два месяца после того, как лица людей светились в день взлета первого космонавта, занес в свою рабочую тетрадь Александр Трифонович Твардовский. Приезд в Ярославль был для него обыденным делом как для депутата Верховного Совета

РСФСР от Ярославской области. «Существенность и грех с души» — относится к поддержке, которую он получил в своих хлопотах о необходимости проведения в Карабихе ежегодного Всероссийского праздника поэзии, равного по значимости Пушкинским дням в Михайловском. Это было время взлета поэзии в нашей стране, поэты собирали залы и стадионы. Через поэтическое слово душа человечья рвалась к переменам, разумеется, благотворным.

Некрасов, сроднивший поэзию и гражданственность, был любимым поэтом Твардовского. Потому поэтические праздники в Карабихе представлялись Александру Трифоновичу как серьезный разговор о главном в жизни страны и каждого отдельного человека, как возможность приобщения к Слову, дающему ответы на самые сокровенные вопросы. Настоящему некрасовскому Слову, то трагическому, то оживленному истинно народным юмором. Это Слово должны были нести поэты, продолжающие традиции Некрасова в поэзии.

Основатель и первый директор музея-усадьбы «Карабиха» Анатолий Федорович Тарасов, участник Великой Отечественной войны, литературовед, член Союза писателей СССР, с радостью принял идею Твардовского. Но понадобилось больше пяти лет, чтобы она была воплощена в жизнь. В 1967 году состоялся Первый Всесоюзный поэтический праздник в Карабихе.



Сергей Викулов выступает на празднике поэзии в Карабихе. 1992

Исподволь Праздник приобрел широкую известность. Каждая первая суббота июля была в Ярославле украшена Карабихой, становившейся в этот день литературной Меккой. Приезжали поэты и писатели со всех концов Советской России. Лев Ошанин, Ираклий Андронников, Юлия Друнина, Бэлла Ахмадулина, Михаил Дудин, Алексей Сурков, Сергей Смирнов, Виктор Розов — вот далеко не полный перечень. И непременно — поэты из Белоруссии, Украины, За рубежом... Как старых друзей встречали их лучшие поэты Ярославского края, мало уступавшие или даже совсем не уступавшие гостям в силе поэтического мастерства. Получить право подняться на поэтическую сцену в Карабихе было подчас сложнее, чем на Парнас. С утра любители поэзии из Ярославля и всех районов области стекались в Карабиху. К ним присоединялись многочисленные гости из других регионов страны. Ни дождь, ни ветер не могли помешать Празднику. Есть



С Михаилом Дудиным беседуют ярославские писатели Валерий Замыслов и Юрий Бородин. Карабиха, 1993



Главный гость Некрасовского праздника 2011 — народная артистка РСФСР Валентина Талызина

замечательная фотография, на которой поэтическая поляна как бы укрыта сплошным зонтом. Он слился из множества зонтов, под которыми сидят люди и слушают поэтов.

Грянувшая перестройка, увы, перестроила и отношение тогдашней власти к культуре. Культура стала пониматься не как государственное дело, а как отрасль, которая должна стремиться к самоокупаемости. Это отразилось и на празднике в Карабихе. Он все больше театрализовывался. Оскудел список приезжих поэтов, на их место бодро юркнули наемные артисты. Они читали стихи Некрасова, реанимировали его забытые водевилы, изображали Николая Алексеевича и его гостей. По аллеям усадьбы степенно разъезжали музейные коляски. Мужики в расшитых рубахах и бабы в цветастых сарафанах размашисто косили траву или чинно водили хороводы. Стало происходить именно то, чего сторонился Твардовский, различавший истинную и ряженую народность. Понятное дело, изменился и состав карабихских «паломников». Среди них было все меньше любителей поэзии и все больше охотников оття-

нуться на природе под водочку и шашлычок да поглазеть на московских кинозвезд, заполнить автограф. При таком раскладе вещей приезжать в Карабиху перестали и многие серьезные ярославские поэты. Вместо них на сцену взялись взбегать члены бесчисленных самодеятельных поэтических объединений, еще не достигшие или уже не способные достичь поэтического мастерства.

Коллектив музея-усадьбы, состоящий из талантливых и самоотверженных людей, для которых Некрасов в первую очередь поэт и гражданин, а не предлог для разудалого веселья, делает очень много, чтобы воссоздать в Карабихе атмосферу, которая бы в наибольшей степени способствовала восприятию некрасовского слова. Идут большие реставрационные и исследовательские работы, пополняются экспозиции, создан музей деда Мазая, позволяющий приобщить малышей к творчеству Некрасова.

Да, сегодня на каждый праздник удастся пригласить хотя бы одного известного поэта. Но урезанное ниже разумного уровня финансирование безжалостно сковывает намерения пойти дальше, к восстановлению традиций, заложенных Александром Твардовским.

На прошедшей в этом году встрече ярославских писателей с губернатором области Сергеем Алексеевичем Вахруковым завязался разговор и о Карабихе. Губернатор выразил полное понимание того, что Всероссийский праздник в Карабихе должен быть в первую очередь Поэтическим, и пообещал поддержку. Предстоит работа, которая одинаково нужна и власти, и населению, и музейным работникам, и писателям. Это должна быть заинтересованная, согласованная работа, которая обязательно приведет к тому, что слово «Карабиха» снова станет синонимом Поэзии. Не только в Ярославской области, но и по всей России и за ее рубежами.

Герберт КЕМОКЛИДЗЕ,
председатель правления Ярославского
отделения Союза писателей России,
главный редактор журнала «Мера»

Ярославль на карте виртуальной и реальной литературы

В Ярославле литературы нет.

Евгений Ермолин.

Знамя. 2001. № 6

Может быть, все-таки есть?

Там же

Появление и чрезвычайно бурное развитие в России в 1990-е годы технологии компьютерных сетей несколько парадоксально отразились и на литературе. Помимо удобства связи и печатного дела появилось отдельное и заслуживающее подробного разговора явление, в значительной мере определяющее положение современного писателя и даже литературный мир в целом. Речь идет о литературных сайтах в сети Интернет. Их взрывообразная эволюция, активность, массовость, а порой и претензия их авторов на высокое искусство породили даже специальный термин «РуЛинет». Он обозначает пространство «сетевой» литературы, то есть не привязанной к бумажному носителю, а существующей «виртуально» на экране персонального компьютера. С точки зрения физического расположения «сетевых» текстов, все они представлены на одном из веб-сайтов Интернета, или, как говорят для простоты, в Сети.

История «РуЛинета» началась сравнительно недавно. В 1996 году усилиями предпринимателя Леонида Делицына был создан первый литературный сайт и одновременно ежегодный литературный конкурс под названием «Тенёта». К работе конкурса были привлечены многие известные писатели, а некоторые из победителей «Тенёт» приобрели известность впоследствии. Проект прекратил свою деятельность в 2002 году, но к тому времени идея сетевой литературы поистине овладела массами. Тем более что процесс создания веб-сайтов упростился настолько, что это могли делать собственными усилиями отдельные энтузиасты с дипломом программиста.

Уже на рубеже тысячелетий новые литературные сайты стали возникать в огромном количестве. Общее их число сейчас, с учетом персональных авторских страниц, не поддается счету. Часть из них ориентируется на представление в виртуальном виде классической русской и зарубежной литературы, но подавляющее большинство — на творчество современных авторов. Причем оказалось, что желающих донести свои произведения граду и миру десятки, если не сотни тысяч, разбросанных по всему земному шару. Толстые литературные журналы переживали в это время резкое падение тиражей и общественной значимости. Вдобавок их было просто мало, да и опубликоваться там мог далеко не каждый автор — в силу сво-

его художественного уровня или местожительства. Не секрет, что многие «толстяки» не свободны от кумовства и снобизма по отношению к провинциальным или начинающим авторам, не говоря уж о соображениях литературного либо идеологического «формата». Неудивительно поэтому, что литературные сайты, особенно со свободной публикацией, вызвали огромный интерес у авторов, одновременно ставших и читателями. Важнейшей особенностью таких сайтов является интерактивность, то есть возможность оперативно размещать свои произведения, читать и комментировать чужие, вообще вступать в диалоги и полилоги с другими авторами.

Все литературные ресурсы «РуЛинета» удастся довольно четко классифицировать на несколько групп — по тому, насколько просто там опубликоваться любому желающему. Эта же классификация определяет и авторитет разных сайтов, поскольку одно дело самостоятельно выложить свои опусы на каком-нибудь общедоступном форуме и совсем другое — быть опубликованным в периодическом сетевом альманахе или журнале. Поэтому поговорим о такой классификации подробнее, приводя необходимые примеры. Когда же топология «РуЛинета» приобретет, по ходу настоящей статьи, упорядоченные очертания, то можно будет и предметно поговорить о ярославской литературе — сетевой и не только.

К первой группе можно отнести сайты со свободной публикацией и литературные форумы. Разместить свои произведения на них может кто угодно, достаточно лишь зарегистрироваться. Другой важной их особенностью является то, что прямо под опубликованными произведениями можно оставлять отзывы. Иногда к этому добавляется и возможность голосования, расстановки баллов, размещения анонсов (в том числе за деньги) или даже рекламы, прямо не относящейся к изящной словесности.

Наиболее известными такими литературными сайтами стали «Проза.Ру» (<http://www.proza.ru>) и особенно «Стихи.Ру» (<http://www.stihi.ru>), одно время объединенные в так называемую Русскую Национальную Литературную Сеть. На первом из них публиковались прозаические произведения, на втором — поэтические, но это разделение не было жестким. Удобные, запоминающиеся веб-адреса, простота регистрации и размещения произведений сделали эти сайты (в особенности сайт «Стихи.Ру», в просторечии именуемый «стихирой») чрезвычайно популярными уже в 2000—2001 годах.

Примерно в это же время там был организован собственный литературный конкурс, хоть и осуществляемый самими авторами сайта, но претендующий на открытие новых талантов и привлечение читательского интереса к сильным авторам. В частности, каждый член так называемой коллегии номинаторов имел возможность вывесить на главной странице сайта любое понравившееся произведение с обоснованием своего выбора. Номинированный таким образом текст в течение нескольких дней сотни других авторов могли прочитать и оставить свои рецензии. Со временем, однако, создатель этих «народных» сайтов Игорь Сазонов потерял к ним интерес. В 2004 году был ликвидирован конкурс. Вскоре многие известные авторы покинули эти сайты. В результате последние годы «Стихи.Ру» влачит жалкое существование с точки зрения художественного уровня тамошних авторов. С точки зрения же количественных показателей все замечательно: на сайте «Стихи.Ру» представлено более 350 тысяч авторов и опубликовано свыше 13 миллионов произведений. Примерно то же происходит на «Проза.Ру».

Остальные сайты со свободной публикацией (как правило, поэтические) напоминают уменьшенные копии «Стихи.Ру». В лучшем случае подобные ресурсы годятся для знакомства и околосредового общения с друзьями из других стран или городов. Тем не менее, многие современные авторы не считают зазорным публиковаться там и даже дублировать одни и те же тексты на разных сайтах. Таким образом, при должном терпении легко обзавестись публикациями на нескольких десятках литературных сайтов. Предоставим читателям возможность самостоятельно подумать о художественной ценности результатов подобной деятельности.

Фактически к этой же группе необходимо отнести «поэтические» персональные сайты или страницы в популярных социальных сетях. Создание таких сайтов или страниц и последующая публикация там своих опусов в настоящий момент не представляет никакой технической проблемы. Впрочем, к «РуЛинету» они относятся довольно условно, попадая, скорее, в категорию персональных или социальных сайтов, безотносительно к тому, что на них находится: литературные произведения, кулинарные рецепты или собрания анекдотов.

Вторую группу образуют литературные сайты, для регистрации на которых необходимо получить приглашение одного из участников или пройти редакторский отбор. После выполнения этой процедуры все напоминает сайты со свободной публикацией. Автор самостоятельно размещает свои произведения, иногда подчиняясь необходимой квоте на их количество или скорости их обнародования. Для зарегистрированных пользователей предусмотрена возможность оперативно оставлять отзывы. Подобные сайты, разумеется, не так популярны, как описанные ранее, и предполагают более высокий художественный уровень произведений, особенно в случае жесткого редакторского отбора. Однако вполне понятное желание руководства популяризовать сайт зачастую входит в противоречие с его декларативной элитарностью. В результате, как правило, приходится жертвовать художественным уровнем, иначе на сайте почти прекращается всякая активность, связанная с комментированием и другими видами оценки произведений.

Пожалуй, наиболее известным, старейшим и одновременно достаточно массовым (более пятисот авторов) сайтом такого рода является «Поэзия.Ру» (<http://poezia.ru>). Несмотря на регулярные скандалы, авторитарный стиль поведения владельца сайта Леонида Малкина и периодические «изгнания» неугодных авторов, этот ресурс весьма привлекателен для многих, в том числе профессиональных поэтов и переводчиков. Для публикации на нем необходимо пройти редакторский отбор, что позволяет несколько повысить средний художественный уровень. Также там публикуются критические статьи и новости литературного мира, поддерживается ряд дополнительных издательских проектов.

Другим известным ресурсом подобного рода является поэтический сайт «Рифма.Ру» (<http://rifma.ru>), который вырос из новосибирской литературной газеты «Темная лошадка». Для регистрации на сайте новичка ему необходимо приглашение от уже зарегистрированного автора. Увы, на повышение художественного уровня эта мера работает слабо, а идея начисления и раздачи баллов в качестве оценки стихотворений привела к тому, что «баллообмен» стал явно доминировать над вдумчивостью чтения и содержательностью отзывов. Зато по количеству самих этих отзывов в расчете на одно стихотворение «Рифма.Ру» традиционно является одним из рекордсменов «РуЛинета».

Другие многочисленные сайты этой группы менее известны, но также представляют несомненный интерес — и как литературное пространство, и как возможность познакомиться с единомышленниками, для которых поэзия часто уже не баловство, а нечто серьезное. Пожалуй, для начинающих авторов такого рода сайты сейчас — лучшее место для литературной учебы.

Третья группа в рамках настоящей классификации представлена виртуальными литературными объединениями. Это своего рода закрытые или полужакрытые клубы для авторов, как правило, живущих в одном регионе и лично знакомых между собой. Фактически это обычные ЛитО, но перенесенные в виртуальное пространство. Поэтому многие из них практикуют не только «виртуальную» деятельность, но и регулярные «реальные» встречи с обсуждениями своих произведений. Важная особенность такого рода сайтов — возможность публикации своих произведений только членами ЛитО. При этом оставлять отзывы, как правило, нельзя. Интерактивность таких ресурсов минимальна и скрыта от постороннего наблюдателя.

Наиболее известными такими объединениями являются московское ЛитО «Рукомос» (<http://www.rukomos.ru>) и питерское ЛитО «Пиитер» (<http://www.piiter.ru>). В их недрах время от времени формулируются принципы «сетевой» поэзии, в противовес «бумажной». Особенно этим делом прославился идейный вдохновитель «Рукомоса» Юрий Ракита. Однако поскольку

само подразделение поэзии на «сетевую» и «бумажную» весьма зыбко и определяется лишь типом носителя информации, то подобные теории всегда смотрелись неубедительно.

Литературное объединение «Пиитер» отличается еще и тем, что проводит ежегодный поэтический фестиваль «Петербургские мосты» и конкурс поэтических подборок «Заблудившийся трамвай». И то и другое — заметные явления в современной литературе, а «Заблудившийся трамвай» является, пожалуй, самым престижным сетевым поэтическим конкурсом со времен «Тенёт». Наконец, ЛитО «Пиитер» принимает новых членов (не обязательно петербуржцев), устраивает театрализованные капустники, костюмированные представления в различных городах, вообще ведет активный образ жизни.

Другие подобные ЛитО, а также целые виртуальные писательские союзы менее известны. Для многих из них также имеется или, по крайней мере, декларируется процедура вхождения в их ряды. Отсюда проистекает еще одна возможность для честолюбивого автора обзавестись дополнительными регалиями, вплоть до членства, например, в Международном Союзе писателей «Новый Современник» на сайте с красноречивым названием «Что хочет автор» (<http://www.litkonkurs.ru>). Этот сайт можно также порекомендовать тем, кто любит участвовать во всевозможных литературных конкурсах. Там они проводятся в таком изобилии, что в некоторых из них состав участников чуть ли не меньше, чем состав жюри.

Четвертая группа литературных сайтов — это виртуальные журналы, альманахи и библиотеки современной поэзии. Чтобы представлять специфику подобных ресурсов, важно понимать, что у них нет никакого «бумажного» эквивалента. Это позволяет отличить такие сайты от тех, которые дублируют в Сети «бумажные» издания и фонды публичных библиотек. С другой стороны, следует отличать такие сайты от виртуальных собраний произведений классической литературы, где иногда встречаются и творения современников.

К этому классу относятся два важнейших сетевых ресурса — «Сетевая словесность» (<http://www.netslova.ru>) и «Вавилон» (<http://www.vavilon.ru>). Оба они представляют собой пополняемые собрания произведений современной литературы. На этих сайтах существует редакторский отбор, как следствие — высокий художественный уровень публикаций. Сами себя эти сайты рассматривают уже не столько как «сетевое» явление, сколько явление общелитературное и претендующее на настоящее и будущее русской поэзии. Особенно это касается «Вавилона», создатель и идейный вдохновитель которого Дмитрий Кузьмин в последние годы стал одним из законодателей мод в литературе — более к сожалению, чем к счастью.

Упомянутые сайты пользуются авторитетом в «РуЛинете», и их можно рекомендовать тем, кто хочет почитать более-менее качественные произведения современной литературы. Особенно это касается сайта «Сетевая словесность», где представлено творчество почти всех заметных сетевых авторов.

Среди виртуальных литературных журналов достойны упоминания многие ресурсы. В частности, одно из старейших таких изданий — газета вольных литераторов «Вечерний Гондольер» (<http://gondola.zamok.net>), а также единственный в своем роде интернет-журнал молодых писателей «Пролог» (<http://www.ijp.ru>). «Вечерний Гондольер» выходит до сих пор и имеет к Ярославлю прямое отношение, о чем пойдет речь далее. Что касается «Пролога», то этот журнал, пожалуй, одно из лучших мест, где начинающий автор может опубликовать свои произведения, и они будут замечены.

Отличительными чертами всех сайтов этой группы является то, что публикация на них производится не самим автором. Этим занимается редколлегия — примерно так же, как это происходит в «бумажных» изданиях. Кроме того, как правило, нет возможности оставлять отзывы непосредственно под публикациями. Все это приближает подобные сайты к «настоящим» толстым литературным журналам. Поэтому и публикации в них ценятся совсем иначе, чем на сайте «Стихи.Ру» или подобных ему.

Осталась пятая, и последняя, группа ресурсов, венчающая пирамиду «РуЛинета». Это как раз сайты «настоящих» толстых литературных журналов или литературных премий. Фактически, это электронные двойники «бумажных» изданий, в точности их копирующие. Единственным способом оказаться представленным на этих сайтах является публикация в реальном «бумажном» издании или получение той или иной литературной премии (иногда и выход в лонг- или шорт-лист). На этом основании подобные сайты не вполне подпадают под «сетевую» литературу, тем более что никакой интерактивности там нет. Однако эти ресурсы чрезвычайно важны для негласного определения «рейтинга» современных писателей, что называется, по «гамбургскому счету».

Хотя почти любой журнал или более-менее представительная литературная премия имеет свой собственный сайт, всего один-единственный проект сейчас пользуется огромным авторитетом и читательским вниманием по всему миру. Речь идет о сайте «Журнальный зал» (<http://magazines.russ.ru/>). Этот ресурс был создан в 1995—1996 годах как своеобразная интернет-федерация нескольких толстых литературных журналов, договорившихся выставляться в Сети вместе. К настоящему моменту в «Журнальный зал» входят двадцать девять наиболее авторитетных толстых литературных журналов, издающихся по всему миру. Также представлено восемь журналов, прекративших свое существование. К дополнительным проектам относятся поддержка семи литературных премий и нескольких мемориальных страниц. В «Журнальном зале» представлены, например, такие издания, как «Знамя», «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Континент», «Звезда», «Нева», «Урал» и многие другие. Большая часть выставляемых журналов представлена на сайте полными текстами номеров, некоторые в виде дайджестов.

Удобный сервис «Журнального зала» позволяет оперативно отслеживать обновления. Также каждый человек, хотя бы однажды опубликованный в изданиях ЖЗ, получает персональную страницу, где впоследствии отображаются все его публикации. Это позволяет следить за творчеством отдельных авторов. Наконец, история публикаций ЖЗ охватывает, например для таких изданий как «Октябрь» или «Знамя», пятнадцать и более лет. Сравнительно новые литературные журналы представлены там с момента их появления. Все вышесказанное способствует популярности и этого проекта, и самих представленных там толстых журналов, «бумажные» тиражи которых в настоящий момент мизерны. Посещаемость же сайта составляет сейчас порядка десяти тысяч пользователей ежедневно.

«Журнальный зал» хорош еще и тем, что позволяет непредвзято взглянуть на тот или иной литературный регион, что называется, издаека и определить, кто из авторов Нью-Йорка или Мичуринска регулярно публикуется в толстых журналах и представляет собой, как принято говорить, литературное явление, а кто нет.

Но прежде чем повести такой разговор применительно к Ярославлю, хочется подробнее остановиться на некоторых социальных феноменах, имеющих место на первых уровнях изложенной иерархии «РуЛинета».

Социальный феномен сетевой коммуникации в последние годы привлекает интерес не только социологов, но и психологов, лингвистов, экономистов, даже политиков — коль скоро Интернет сыграл такую важную роль в недавних арабских революциях. Трудно переоценить те изменения, которые внесла в нашу жизнь виртуальная реальность, — хотим мы этого или нет. Многие любопытные наблюдения о сетевой коммуникации находят подтверждение и применительно к сетевой литературе.

Расцвет «РуЛинета» произошел и происходит до сих пор по целому ряду причин, но важная среди них, пожалуй, уже упоминавшаяся интерактивность сетевой литературы. Возможность контакта с читателем издавна привлекала многих писателей. Но никогда ранее нельзя было практически сразу же после публикации получить десятки, а то и сотни отзывов людей из разных городов и стран. Более того, автор вполне может продолжить беседу с

читателем в режиме реального времени. Искус настолько силен, что сейчас даже самые закоренелые враги Интернета из писательского сообщества так или иначе присутствуют в Сети.

Интерактивность привлекает и тех, для кого литература хобби, не говоря уже о множестве молодых людей, одержимых страстью к стихотворчеству. Кто-то хочет при помощи Сети разнести свои творения по городам и весям, кто-то — найти родственные души, а кто-то — обойти свои психологические комплексы или социальные запреты, и таких довольно много. В частности, Сеть привлекает огромное число людей, у которых не получается адекватного «реального» общения по тем или иным причинам. Игровая, ненатуральная природа виртуальной жизни, ее обманчивая свобода и безнаказанность воздействуют на всех по-разному: одни начинают вещать направо и налево (поскольку в жизни их никто не слушает), другие заводят «клонов» и от их имени хамят случайно подвернувшейся жертве, пользуясь анонимностью. Третьи плетут интриги, благо творческие объединения всегда предрасполагали к этому, а за руку схватить в виртуальном мире еще труднее, чем в реальном. Иной раз для привлечения внимания к себе некоторые сетевые авторы используют более чем сомнительные приемы вроде сообщений о собственном самоубийстве. Так общее явление интернет-зависимости, применительно к сетевой литературе, накладывается на амбициозность, присущую творческим личностям. Порой завсегдатаи литературной Сети присутствуют в ней круглосуточно, лишь переходя с одного сайта на другой, просто общаясь или занимаясь самопиаром. Собственно художественная составляющая зачастую уходит на второй план, но для самого автора почти всегда это уже незаметно в шуме похвал, часто ответных или претендующих на таковые.

Все это в изобилии представлено в «РуЛинете», и пугаться тут не стоит. Важнее знать положительные моменты сетевой литературы и пользоваться ими. Еще никогда автор, живущий в глубокой провинции, не мог так легко и быстро получить доступ к произведениям не только классической, но и современной словесности. Процесс литературной учебы для начинающих авторов вполне может проходить исключительно в Сети, и пользы от этого порой гораздо больше, чем от посещения провинциальных ЛитО известного художественного и критического уровня. Наконец, талантливому автору теперь вовсе необязательно кровь из носа ехать в Москву, чтобы быть замеченным. Многогранный мир «РуЛинета» позволяет поддерживать литературные и дружеские связи между людьми, разделенными океаном. И что характерно, все это доступно любому заинтересованному человеку.

За счет того, что литературное пространство стало с развитием Интернета более открытым, увеличились шансы на признание всего, что по-настоящему талантливо. Однако здесь же кроется еще один любопытный феномен, о котором хочется поговорить подробнее.

Дело в том, что литературная известность теперь может принимать разные формы, а сами авторы — ориентироваться на разные аудитории. Слушатели поэтических вечеров районной библиотеки и посетители литературных сайтов, читатели «толстяков» и завсегдатаи поэтических фестивалей — все это разные, порой непересекающиеся аудитории. Как следствие, в одном городе живут авторы, известные по частым «живым» выступлениям, и авторы, печатающиеся в центральных изданиях, но едва знакомые даже самым внимательным посетителям местных литературных вечеров. Наконец, «звезды» литературных сайтов со многими сотнями и тысячами читателей по всему миру оказываются часто и вовсе неизвестны литературному сообществу и читателям своего родного города. Тем более что многие такие авторы не стремятся войти в местные литературные группы.

О взаимоотношении этих столь несходных по своей стратегии авторов и целых авторских групп говорить сложно уже потому, что, повторюсь, друг о друге у них самые смутные представления. Отчасти поэтому «профессиональные» писатели довольно долго относились к сетевой литературе и Интернету в целом с плохо скрываемым высокомерием. В ход шли такие словосочетания, как «море графомании», «толпы безграмотных подростков», «засилье бездуховности и хамства». Под сурдинку часто вспоминали «четырнадцать тысяч поэтов» Вознесенского и закан-

чивали обычно апологией башни из слоновой кости. Сетевая литература не оставалась в долгу и напоминала об общей бездарности Союза советских писателей, раздутых тиражах книг, идеологической цензуре и кумовстве, процветавшем в литературных журналах. На этом фоне свобода творческого самовыражения в Сети смотрелась весьма выигрышно.

На протяжении 2000-х годов подобное неконструктивное отношение друг к другу претерпело важные изменения. С одной стороны, «профессиональные» писатели присмотрелись к «РуЛинету» и осознали, что большая часть их претензий относится лишь к сайтам со свободной публикацией. С другой стороны, сетевые авторы мало-помалу стали появляться в литературных журналах, у них начали выходить книги в известных издательствах. Наконец, в Интернет двинулись многие «профессиональные» писатели, привлеченные интерактивностью или новой читательской аудиторией. В результате границы «реальной» и «виртуальной» литературы стали все более размываться. Сейчас наблюдается явное взаимопроникновение сетевой и бумажной (прежде всего журнальной) литературы. Активнее всего это происходит в Москве, но приходится признать, что по мере отдаления от столицы эта конвергенция быстро сходит на нет.

«Все мы ленивы и нелюбопытны», — заметил Пушкин, и с тех пор ситуация не улучшилась. Провинциальный читатель, к сожалению, не знает крупных литераторов своего региона. Это касается как сильных сетевых авторов, так и вполне успешных «бумажных». Впрочем, эту же участь разделяют и сами толстые журналы, чью деятельность в масштабах страны трудно назвать успешной. Пропорция журнальных тиражей и населения России настораживает, если не устрашает.

Цель настоящей статьи в том и заключается, чтобы преодолеть, хоть отчасти, эту оторванность и «без гнева и пристрастия» поговорить о том, что по-настоящему талантливо, — хотя бы на пространстве отдельно взятого литературного Ярославля. Заодно выяснится то, как ярославская литература воспринимается заинтересованным читателем из Москвы, Нью-Йорка, Парижа или Тель-Авива. С тем и пора, наконец, перейти от общего к частному.

Сначала речь пойдет о ярославских авторах, условно относящихся к «сетевым», хотя подобное деление сейчас, повторюсь, весьма зыбко. В особенности это можно сказать о поэте Олеге Горшкове, чья известность давно вышла за пределы «РуЛинета». Он финалист, победитель и член жюри международных конкурсов поэзии, его стихи публикуются не только в русских литературных журналах, но в периодических изданиях и альманахах США, Израиля, Дании, Украины, Молдавии, Эстонии. Этот поэт — автор трех книг стихотворений, последняя из которых, «Глагол одиночества» (Ярославль, Литера, 2007), почти мгновенно разошлась по разным городам и странам. Наконец, речь идет об одном из самых читаемых в «РуЛинете» авторов, представленном почти на всех авторитетных сайтах, участнике ЛитО «Рукомос» и «Пиитер». С другой стороны, он не является членом ни одного «реального» союза писателей, не посещает ярославские литературные объединения, не стремится заводить «полезные» знакомства в местном литературном мире. Даже в поэтических выступлениях на Ярославщине он принимает участие крайне редко. Стоит ли удивляться тому, что на малой родине он совершенно не котируется. Остается читать стихи Олега Горшкова в Сети, например, на сайте Поэзия.Ру, в редколлегии которого он входит (<http://www.poezia.ru/user.php?uname=oleggor>).

Олег Горшков — преимущественно лирический поэт, стихи которого традиционны по форме и глубоки по содержанию. Длинные и развернутые периоды, плотная метафорическая ткань, часто инфинитивная повествовательная интонация, важные слова-архетипы — все это сообщает стихам Олега поистине «лица необщее выражение». Такая поэзия не бьет наповал хлесткими рифмами или сомнительной лексикой, но заставляет задумываться вместе с автором о вещах краеугольных для отдельно взятого человеческого бытия. В этом смысле стихи Олега Горшкова *не модные*, они плохо соответствуют нынешнему времени с его высоким темпом речи, клиповым мышлением, постмодернистским кичем. Зато они органичны самому пространству поэзии, и, думается, это много важнее.

* * *

На Париге юродивый бредит о чем-то, врет,
изъязвлен ли язык его речью зело премудрой,
бубенцов ли бряцающих полон беззубый рот? —
не уймешь дурака, нараспев он читает утро,
будто небу вверяет чудное свое вранье.
Что он смыслит в небесном? — ни бе, ни ме, ни бельмеса.
Вся его ойкумена — барачный глухой район
(погребение в рай состоится за счет *собеса*).
Бубенцы все насадней, и ветер, упав с высот,
разоряет окрестность, лишенную всякой веры,
словно пристав буянит, надравшийся в хлам, и вот,
обмирая от страха, дрожат оборванцы-скверы.
То ли будет еще знаменье — лишь дайте срок,
небо в сумерки канет, и след его там сотрется,
и, как в детстве, в дурной голове засвербит сверчок,
впавший в ересь чудесную, в сумасбродство.

Другой ярославский поэт, Юрий Рудис, в большей степени «сетевой», поскольку является многолетним главным редактором упоминавшейся интернет-газеты «Вечерний Гондольер». Кроме того, он автор книги стихотворений «Седьмая вода» (С-Пб., 2005) и, например, внушительной подборки, опубликованной в 2007 году в журнале «Знамя» ([http:// www.magazines.russ.ru/znamia/2007/12/ru5/html](http://www.magazines.russ.ru/znamia/2007/12/ru5/html)). Большинство стихов Юрия можно отнести к социальной поэзии. Они наполнены приметами времени, эсхатологическими предчувствиями, часто выражают исторический или политический пафос. С точки зрения формы, это обычно рифмованные астрофические произведения с богатым метафорическим и аллюзийным рядом. Есть у Юрия и пронзительные лирические вещи.

Жаль, что в последние годы поэт почти перестал писать стихи, вынужденный заниматься более прозаическими вещами. Надо ли говорить, что местному писательскому и читательскому сообществу Юрий Рудис тоже известен мало.

* * *

В жизнь чужую, под осень, при ясной луне,
Самозванец въезжает на белом коне,
Словно в город чужой, как по нотам,
Между пьянкой и переворотом,
Он свободен, спокоен — практически мертв,
И отпет, и последней гордынею горд,
Отражен в придорожном кювете
И уже ни за что не в ответе.
И дрожит на ветру, как осиновый лист,
На себя не похож и от прошлого чист.
Лишь кресты — поражения трофеи —
На груди и веревка на шее,
Клочья черного знамени над головой.
И чужой стороне он, как водится, свой.
Он один здесь спокоен и ясен
И на всякое дело согласен.
Он и швец, он и жнец, и последний подлец,
И на дудке игрец, и кругом молодец,
Не жилец, по народным приметам,
Но пока что не знает об этом.

Еще один ярославский «сетевой» поэт, Владимир Коркин, подвизается, в основном, на сайте Рифма.Ру (<http://www.rifma.ru/avtor/user/226>), где он один из наиболее читаемых авторов. Кроме того, Владимир Коркин — член жюри международных поэтических конкурсов, трижды лауреат ярославского фестиваля современной поэзии «Логорифмы» и автор сборника стихотворений «Бессонница памяти» (2006). Не все стихи Владимира одинаково высокого уровня. Но в лучших своих вещах поэту удается выдержать холодновато-отстраненную повествовательную интонацию, сообщающую особую значительность тексту. Многие из таких стихотворений фабульные, в них автор то рассказывает, то вымышляет истории своих героев, опираясь на собственный богатый жизненный опыт.

Беседы о Гомере

...О чем сегодня будем говорить?
Вчера, как помню, речь шла о Гомере.
Прохладно в доме... Плодом не укрыть?..
А где очки?.. Нашел, — на секретере.
И все-таки никак я не пойму
Вот это место из четвертой песни:
Афина с Герой явно за ахейцев,
А Зевсу, вроде, все по кочану,
Но на хрена он подколот Афину,
Что, мол, Парису прикрывают спину?..

...Когда меня везли на Колыму —
По первой ходке, — от этапа ада,
Как ни смешно, спасала «Илиада»,
Которую мне в «сидор» положил
Ицкович, — из вредителей-лепил, —
Их этапировали к нам из Ленинграда...
...Жаль, до амнистии он так и не дожил,
А ведь умен был, хоть и из евреев, —
Знаток поэтов, ямбов и хореев,
В бараке многих спас и подлечил.
Я был тогда жиган обыкновенный, —
Ребенок нищеты послевоенной,
По мелочам, чтоб выжить, воровал,
Бродяжничал, потом к ворам попал,
Потом подсел... До книг ли, в общем, было?
А этот странный маленький лепила
Нам вечерами все стихи читал,
Рассказывал, — и ведь не врал, однако, —
Что был знаком с поэтом Пастернаком
И у Ахматовой не раз чаи гонял...

С тех пор полвека жизни проканалю,
А книга сохранилась, не пропала, —
Четыре ходки, — двадцать с лишним лет
Она со мной по зонам кочевала...
Ты спишь уже?.. Давай притушим свет.

Я посижу, пожалуй, полчаса, —
Перечитаю про коня с Приамом...
Все, как в стихах у зэка Мандельштама:
«Бессонница... Гомер... Тугие паруса...»

Завершая разговор о ярославской «сетевой» поэзии, упомянем и Наталью Малинину (http://www.litsovet.ru/index.php/uthor.page?author_id=11101), автора не только лирических стихов в духе Марины Цветаевой, но и пронизательных стиховедческих эссе, наиболее ценных, как представляется, в ее творчестве.

Наконец, автор настоящей статьи, будучи представлен на нескольких сайтах «РуЛинета», включая ряд публикаций в изданиях «Журнального зала» (<http://www.magazines.russ.ru/authors/k/ekonovalov/>), тоже может быть назван в числе представителей «сетевой» литературы.

Проявляют активность в Интернете и многие другие ярославские стихотворцы, но они не столь известны в сетевом сообществе. Пребывание в «РуЛинете» либо носит для них эпизодический характер, либо речь идет о сайтах со свободной публикацией, о которых говорить далее бы не хотелось. Что касается «сетевой» прозы, то, увы, тут Ярославлю похвастать нечем. Прозы в Сети в целом гораздо меньше, чем поэзии, и она менее востребована, поскольку виртуальное восприятие в большей степени, чем бумажное, ориентировано на беглость и краткость. Вдобавок публикация крупной прозы на целом ряде сайтов сопряжена с техническими трудностями. С другой стороны, видимо, и сами ярославские прозаики не горят желанием донести свои произведения до сетевой аудитории. Это же касается и других жанров, в целом еще беднее представленных в «РуЛинете».

В последней части настоящей статьи речь пойдет не столько о «виртуальной», сколько о «реальной» ярославской литературе. И путеводителем по ней станет уже упомянутый «Журнальный зал» как важное мерило для сравнительного анализа и серьезного разговора на тему «who is who» в ярославской литературе. Разговор такой, как представляется, назрел, поскольку без понимания, что хорошо, а что не очень, кто признан в серьезной литературе, а кто пока нет, — повторюсь, без такого понимания и читатели путаются, и начинающие авторы теряют всякие ориентиры. В результате портится вкус, следовательно, страдает и литературное будущее всего ярославского региона.

Настоящее же таково, что почти все наиболее талантливые и широко признанные авторы (как уже названные, так и нижеследующие) почти неизвестны на своей малой родине. Часто у них нет даже возможности выступить со своими стихами, не говоря уже о презентации новых книг. На местные литературные площадки приглашаются, по большей части, совсем другие люди, которые, по-видимому, и считаются цветом ярославской литературы. Поэтому такой разговор назрел вдвойне.

Но прежде хочется сделать важное замечание. У автора настоящей статьи, как у всякого читающего человека, есть субъективные предпочтения, литературные и человеческие. Но никакого влияния эти предпочтения на дальнейший разговор оказывать не будут. Речь пойдет лишь о том, как ярославские авторы представлены в «Журнальном зале», а это — вещь объективная.

Единственное, необходимо отделить этих ярославских авторов от тех, в чьей жизни Ярославская область осталась лишь эпизодом или ушла в далекое прошлое. Поэтому среди нижеследующих стихотворцев не окажется, например, родившегося в Рыбинске Юрия Кублановского, который большую часть жизни прожил в Москве, не говоря уж об эмиграции. Также не упоминается Марианна Гейде, несколько лет прожившая в Переславле-Залесском, или Андрей Нитченко, который некоторое время учился в аспирантуре ЯГПУ и жил в Ярославле. Оба эти автора давно уехали из Ярославской области.

Среди тех же, кто до сих пор живет в Ярославле, нельзя не назвать Александра Белякова (<http://magazines.russ.ru/authors/b/abelyakov/>). Поразительно, что постоянный автор «Зна-

мени», «Юности» и «Дружбы народов» на протяжении чуть не двадцати лет, выпустивший шесть поэтических сборников (четыре из них в московских издательствах) и многими воспринимаемый как один из самых интересных современных русскоязычных поэтов, почти безвестен у себя дома. Можно по-разному относиться к минималистской, концентрированной и игровой поэтике Белякова, с опорой на позднего Мандельштама, Георгия Иванова, неподцензурных советских поэтов, но игнорировать автора такого уровня нельзя. А именно это, увы, происходит в нашем славном городе.

Константин Кравцов (<http://magazines.russ.ru/authors/k/kkravtsov/>) тоже не избалован вниманием ярославских культуртрегеров и любителей словесности. Показательно, что он — первый автор из названных, кто является членом местного отделения одного из писательских союзов. Он автор «Знамени» и «Октября», других толстых литературных журналов, четырех книг стихотворений. Будучи священнослужителем, в своих прозрачных и глубоких стихах он не выглядит догматиком, поэзия и религия в них идут рука об руку, порой творчески споря друг с другом. Но кто в Ярославле знает эти стихи? Все книги поэта изданы в Москве, там их раскупают, читают, о них спорят. Стоит ли удивляться тому, что несколько лет назад Константин Кравцов и сам уехал в Москву.

Рыбинский поэт Сергей Хомутов (<http://magazines.russ.ru/authors/h/homutov/>), пожалуй, первый из названных авторов, кто известен на Ярославщине. Он автор более чем двадцати поэтических сборников, публиковался в журналах «Новый мир» и «День и ночь», член Союза писателей России. Тем не менее, автору настоящей статьи так ни разу и не удалось послушать выступление Сергея Хомутова на какой-либо из поэтических площадок Ярославля. Как и выступление другого рыбинца, поэта и переводчика Максима Калинина (<http://magazines.russ.ru/authors/k/mkalinin/>), также широко представленного в «Журнальном зале», постоянного автора журналов «Октябрь», «Урал», «Иностранная литература», члена Союза российских писателей.

Если уважаемые читатели думают, что сейчас я перечислю еще с десятка ярославских авторов, триумфально шествующих по страницам знаменитых «толстяков», то уважаемые читатели ошибаются. Все остальные поэты Ярославля и области представлены в «Журнальном зале» довольно скромно.

Скажем, такого заметного и широко известного ярославской публике стихотворца, как Е. Гусев, а также составителя скандальной поэтической антологии В. Пономаренко там нет вообще. На то могут быть, конечно, разные причины. Возможно, упомянутые авторы не настолько амбициозны, чтобы стремиться быть там опубликованными, — и это весьма похвально. Возможно, так увлечены творчеством, что на все остальное времени просто не остается. Разумеется, и сами толстые журналы небезгрешны в своих предпочтениях. Но факт остается фактом, а выводы из него делать читателям.

В целом, столь же скромно пока представлены в изданиях «Журнального зала» и некоторые молодые, но опять-таки весьма заметные ярославские авторы. Будем считать, что у них все впереди, я им искренне желаю успеха, который, как представляется, в первую очередь продукт внутреннего сосредоточенного труда, а не регулярных чтений со сцены стихов сомнительного качества, предводительства в литературных студиях или членских корочек. Впрочем, молодая ярославская поэзия заслуживает отдельного разговора, благо предмет имеется.

Из ярославских прозаиков на страницах «Журнального зала» более-менее серьезно представлены также немногие. Одна из них, постоянный автор «Нового мира» Наталья Ключарева (<http://magazines.russ.ru/authors/k/kluchareva/>), уже несколько лет живет в Москве. Начав со стихов, она в последние годы перешла на прозу и весьма успешно. Так, первый ее роман «Россия: общий вагон» оказался в списке претендентов на премию «Национальный бестселлер» и переведен на десять европейских языков. К настоящему моменту издано, кажется, еще три ее прозаические книги, в том числе одна — для детей.

Известный ярославский прозаик Евгений Кузнецов представлен в ЖЗ лишь недавней публикацией в «Континенте» (<http://magazines.russ.ru/authors/k/evkuznetsov/>). Но сразу два его романа замечены членами престижных российских литературных премий: один из них, «Быт Бога», в 2005 году вошел в лонг-лист премии «Русский Букер», а другой, «Жизнь, живи!», в 2011 году вошел в лонг-лист премии «Ясная Поляна».

Остальные ярославские прозаики не балуют своим вниманием «толстяков» — или наоборот. Одна из причин этого — отсутствие до недавнего времени в Ярославской области собственного общепризнанного литературного журнала. Что касается столичных изданий, то они прозу вообще берут плохо, тем более провинциальных писателей.

Ярославская эссеистика и мемуаристика в «Журнальном зале» не представлена никак, а равно и другие прозаические жанры. Та же безрадостная картина и с ярославскими драматургами, которых, по всей видимости, нет вообще. Впрочем, драматургию сейчас, как известно, литературные журналы тоже не печатают.

Наконец, ярославская критика представлена в «Журнальном зале» всего одним человеком, но каким — Евгением Ермолиным, заместителем главного редактора журнала «Континент» (<http://magazines.russ.ru/authors/e/ermolin/>), одним из самых влиятельных современных критиков. Именно его дуальное высказывание десятилетней давности взято эпиграфом к настоящей статье. Упоминанием Евгения Анатольевича и хочется ее завершить.

Если же мне будет позволено в заключение высказать свой ответ на сформулированный в эпиграфе судьбоносный вопрос, то — сейчас в Ярославле литература есть. По крайней мере, поэзия. А соглашаться со мной или нет — решать ее читателям и слушателям.

Евгений КОНОВАЛОВ

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

«Эх, дороги...»

К 100-летию со дня рождения поэта
Льва Ошанина

«**П**усть всегда будет... — СОЛНЦЕ!! Пусть всегда будет... — НЕБО!! Пусть всегда будет... — МАМА!! Пусть всегда буду — Я-А-А!!!!» — радостным смехом залился «я-аа», наверное, четырехлетний, наконец-то угадав по изменившемуся окончанию нужный ответ. Впрочем, иногда мне кажется, что «небо» я тоже угадал. Оно ведь так просто, логично, естественно: солнце — и небо, мама — и я. Кажется, не раз и не два меня забавляла мама этой игрой, которая так легко заучилась назубок, что я начинал весело кричать ответ раньше, чем мама успевала закончить вопрос. Став чуть постарше, я уже запомнил и остальные слова, которые просто невероятно соответствовали обстановке:

*Солнечный круг,
Небо вокруг —
Это рисунок мальчишки.
Нарисовал он на листке...*

И мальчишка — это был, конечно же, я сам или точно такой же мой двойник, рисующий на листочке бумаги: солнце — и небо, маму — и себя. И вслед за ним я корябал на листочке бумаги не так давно освоенные буквы: «ПУСТЬ ВСЕГДА...». А рядом мама (ужасно красивая темно-волосая мама, которой не было еще и тридцати) писала что-то подобное на большущем плакате — вечно учителям рисования приходится летом заниматься оформлением школы.

Запомнившаяся песенка тоже немного отдавала бодрым плакатом, но при этом еще и каким-то чистосердечным простодушием, снимавшим всякое подозрение на фальшь. Ну кто возразит против солнца, неба и мамы?

Правда, универсальность структуры с многократным повтором не могла не спровоцировать на создание пародий. Кажется, почти сразу я начал выдавать что-то типа: «Пусть всегда будет... — кошка! Пусть всегда будет... — мышка!». Впрочем, вряд ли это замышлялось как

пародия. Просто на моем рисунке и в моем мире всегда было место и кошке, и собаке, а себя я ощущал почти соавтором песни*.

Не помню, мама ли назвала имя поэта — Лев Ошанин — или оно встретилось мне в журнале рядом с текстом песни, но я знал уже в детстве, что это именно его стихи**. Через некоторое время в мою жизнь вошли величественно-протяжные строки, совсем непохожие на «Пусть всегда будет солнце»: «Издалека до-олго / течет река Волга» в исполнении Людмилы Зыкиной или хорошо сидящей компании. Новые строки удивительно походили на саму реку, как раз из нашего ярославского «далека» медленно-величаво несущую свои воды куда-то к югу. Добавились и, пожалуй, больше всего затронувшие меня (уже школьника) «Эх, дороги! Пыль да туман».

Что такое дороги, я знал хорошо. Это и заросшие травой колеи, ведущие к заброшенной сенокосной поляне в лесу. Это и наполненные будто бы специально изготовленной, щедро отмерянной теплой пылью из мелкого-мелкого песочка полевые дороги за пригородной деревенькой Конюшино, где мы нередко проводили выходные. Это и невероятно липкая в дождь ярославская глина, и оренбургский («историческая родина» моих родителей) чернозем, наматывавшиеся пудовыми гирями на сапоги и многопудовыми — на колеса машин. В ушах в ритм шагам каждый раз неотступно звучало: «Вьется пыль под сапогами, степями, полями, а кругом бушует пламя, да пули свистят...» И хотя ни пламени, ни пуль вокруг не наблюдалось, все замечательно соответствовало настроению похода. Настолько замечательно, что я, помнится, был удивлен, осознав однажды, что песня-то не современная, а создана в годы той самой Великой Отечественной, по имени ни разу не названной. Тревоги, выстрелы, пули — песня о любой войне последних двух столетий. А мать, ждущая сыновей в сосновом краю, — это вообще вечное. Вот только сапоги, под которыми вьется пыль, недавно отменили в военной форме, заменив ботинками.

Но я-то свою срочную службу в армии пробегал еще в сапогах. Как громко топала наша немногочисленная (всего-то три машины и народу соответственно) 10-я рота Дважды орденосной пожарной охраны города-героя Москвы, старательно выпекая по дороге в столовую:

*В ночной тиши и в блеске ДНЯ
От Сахалина до Арбата
Шагают рыцари огНЯ —
Необходимы-е ребята.*

*Во и-мя мирного огНЯ,
Огня, который дружен с нами,
Покой и сон людей ХРА-НЯ,
Мы укрощаем зло-ое пламя!*

...

Нет, «Марш пожарных» явно не относился к числу шедевров Льва Ивановича. Зато поэт был признанным шефом и другом пожарных, не оставляя их своим вниманием. Однажды и в нашей части было объявлено, что в клубе скоро состоится встреча с поэтом Львом Ошаниным.

* Зато несомненно пародийный характер имели вирши, имевшие популярность в младшие школьные времена: «Солнечный круг, / Немцы вокруг. / Наши пошли в наступленье. / Гитлер упал, / Ногу сломал / и на прощанье сказал: / «Пусть всегда будет водка, колбаса и селедка! / Если этого мало, пусть еще будет сало, / Огурцы и помидоры. / Вот какие мы обжоры!».

** А вот песня «Просто я работаю волшебником» была услышана мною по телевизору и навсегда осталась связанной с обликом улыбчивого молодого певца Э. Хиля, покорившего меня настолько, что мне и в голову не пришло выяснять автора текста (представляю, как утомительно выглядел шестилетний клоп, напевавший: «Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам...»). Что песня написана на стихи Ошанина, я случайно узнал через несколько десятилетий.

Мне повезло, вполне мог ведь оказаться в наряде, карауля ротное помещение или чистя картошку на кухне: моя карьера «рыцаря огня» как-то с самого начала не задалась*. Но вот мы — солдатики-срочники, офицеры да прапорщики — уже сидим в зрительном зале, ожидая появления на сцене настоящего, да к тому же всем известного, поэта.

Поэт появился в элегантном дорогом кожаном пиджаке. Темные очки (тогда я не знал про его сильнейшую близорукость), благородная седина... Честно говоря, я был несколько разочарован. Не чувствовалось в этом облике ни «дорог — пыль да туман», ни текущей Волги, ни солнечного круга. Пожалуй, этот успешный облик хорошо соответствовал автору «Гимна демократической молодежи» или знаменитого «Ленин — всегда живой, Ленин — всегда с тобой». Однако, что этот идеологически выверенный официоз — тоже творчество Ошанина, я тогда не знал.

Начавшееся выступление не то чтобы оставило меня совсем равнодушным, но... Но знаменитым текстам, которые я и без того знал назубок, не хватало (кроме, пожалуй, «Дорог») музыкального сопровождения, да и голос Зыкиной не помешал бы. Новые стихи, прочитанные автором, сильного впечатления тоже не произвели. Но я знал, что в творчестве Ошанина есть, как минимум, еще одна главка, которой мне очень хотелось бы коснуться, и я ждал ее.

За полгода до призыва на срочную я случайно услышал по радио передачу про «Дворовый цикл». Как удивительно удалось передать уже далеко немолодому поэту чувство детской-подростковой-юношеской влюбленности, неожиданно и даже непонятно преобразяющей привычный двор, где обитают «старики, что стучат в домино»! Но вот прошла «из булочной с булкой» знакомая давным-давно, с игр в песочнице, девочка, и все начало странно и прекрасно меняться. Нежное, бережное чувство, расставания и встречи, все, что «венком сомнений и надежд переплелось» (этот оборот казался бы искусственным и вычурным, если бы не звучал из уст подростка), оказалось удивительно созвучно моей юности, и я долго и тщетно надеялся услышать хоть что-то из этого цикла.

Увы, сам поэт их не вспомнил. Однако он вдруг сделал паузу, кашлянул и сказал:

— Может быть, у кого вопросы будут? Пожалуйста, присылайте записки.

Кажется, я ждал такого развития событий. Огрызок карандаша припрятан в отвороте шапки, листок бумаги — в кармане брюк: «Пожалуйста, прочитайте что-нибудь из "Дворового цикла". Спасибо за стихи!». Теперь надо как-то передать. Сижу, как назло, в середине. Спереди ряд занят солдатами 33-й роты, за что-то люто ненавидящими нашу, сбоку — «дед», которому исполнение любой просьбы «молодого» чревато потерей авторитета. Но вот за ним — интеллигентнейший младший сержант Эдик Лукьянов. Не обращая внимания на тычки «деда», тянусь через него к Эдику.

— Товарищ младший сержант... записку на сцену... передайте, пожалуйста...

Эдик организует кого-то из «воинов», и записка достигает заветной цели. Более того, она оказывается... единственной в тысячном зале. То ли по этой причине, то ли действительно Льву Ошанину было очень радостно вспомнить ту пору своей жизни, но поэт долго и оживленно рассказывал про создание цикла, про молодых Иосифа Кобзона и Майю Кристаллинскую, для которых «Дворовый цикл» стал «путевкой в жизнь», и еще много о чем, чего не удержала моя память. Я был просто счастлив. К тому же на целую неделю я стал гордостью своей роты. Наши «рыцари огня», свысока поглядывая на солдат других подразделений, лениво сообщали:

— Да у нас даже такой зачморенный боец, как Овсянников, легко может записку знаменитому поэту Ошанину написать.

Такова была моя первая и последняя «живая» встреча с поэтом. Десятилетие спустя, когда я уже работал в музее, я вдруг узнал, что известный на всю страну поэт — наш зем-

* Меня, как медлительного ротозея сомнительных физических кондиций, опасались брать на боевое дежурство, приспособив для ведения ротной документации, чередуемой с мытьем полов.



Семья дворян Ошаниных на даче (Лёва во втором ряду крайний слева, на руках у брата Александра).
Ярославская губ., Рыбинск. 1913

ляк, уроженец Рыбинска, что он регулярно приезжает в город. Однако я занимался другими направлениями работы. Зато иногда радовали приятные открытия, когда выяснялось, что уже давно нравившаяся или впервые услышанная песня написана на стихи Льва Ошанина.

Лишь много позднее, знакомясь с материалами, переданными после кончины Льва Ивановича его дочерью Татьяной Успенской-Ошаниной, слушая впечатления коллег, общавшихся с ней, видя те выставки, которые они делали, передо мною постепенно вырисовывалась фигура живого человека и талантливого поэта. Его судьбу надо было бы придумать для героя романа или фильма, если бы жизнь не сыграла ее на самом деле.

* * *

Итак, Лев Иванович Ошанин родился 17 (30) мая 1912 года в городе Рыбинске Ярославской губернии. Он стал младшим среди семи детей в дворянской семье, чья родословная вела свое начало от некоего венецианского гостя XIV века. Впрочем, особого богатства дворянство рыбинским Ошаниным не принесло. После скоропостижной кончины отца, поверенного городского суда Ивана Александровича, мать, Мария Николаевна, была вынуждена устраивать благотворительные концерты — помогло музыкальное образование. В 1917-м семья и вовсе переехала в Ростов Великий, где Мария Николаевна возглавила первый в городе детский сад.

Зато дворянское происхождение аукнулось поэту через двадцать лет. «Классовый подход» на практике был почти сродни расизму: святая вера в идеалы коммунизма и беззаветная готовность включиться в его строительство могли быть легко перечеркнуты «неправильным» происхождением. Избавиться от такого клейма было непросто.



Лев Ошанин в детском возрасте. Ярославская губ.,
Рыбинск. 1915



Л. И. Ошанин в юношеском возрасте. Москва.
1929—1932

В 1922 году Ошанины переехали в Москву. После окончания восьмилетки, несмотря на сильнейшую близорукость, Лева Ошанин пошел в самые что ни на есть пролетарии — токарем на чугунолитейный завод; его первым «университетом» стал рабочий литературный кружок «Закал». Начинаящий писатель (его первой книгой стала повесть о школьных годах «Этажи», изданная в 1930) вступил в правовернейший РАПП, а его стихи начали публиковаться в «Комсомольской правде», «Огоньке», «Молодой гвардии»...

Обмануть судьбу не могло ничего, даже отъезд в 1932 году на строительство города Хибиногорска в заполярной тундре. Он работал на апатитовой фабрике, затем был директором клуба горняков, корреспондентом газеты «Кировский рабочий». Однако дворянское происхождение «выплыло» и здесь: по доносу Ошанина изгнали из комсомола и уволили из газеты.

Ужасно? Да нет, для середины 1930-х годов почти ничего — отделался легким испугом. Вернувшись в столицу, молодой писатель в 1936 году поступил в Литературный институт имени А. М. Горького, который пришлось оставить в 1939-м после рождения двоих детей. Тогда же стали появляться и его первые песни. До сих пор нередко можно услышать танго «Если любишь — найди» на музыку К. Листова (1939), а 22 июня 1941 года на призывных пунктах гремело написанное еще под впечатлением от Польского похода Красной армии и положенное на музыку З. Компанейца (1940):

*Ордена не даром, да,
Нам страна вручила,
Помнит это каждый наш боец.
Мы готовы к бою,
Товарищ Ворошилов,
Мы готовы к бою, Сталин — наш отец!*

В годы войны, несмотря на слабое зрение, поэт сумел добиться того, что регулярно ездил на передовую, выступал перед солдатами, работал во фронтовых газетах. Особенно частым гостем Ошанин был на Карельском фронте.

*Кружится, кружится, кружится вьюга над нами,
Стынет над нами полярная белая мгла.
В этих просторах снегами, глухими снегами,
Белыми скалами линия фронта легла...*

В годы войны пришло и официальное признание: 7 ноября 1941 Ошанин стал членом Союза писателей, в 1944-м — был принят в коммунистическую партию. В 1950 году — удостоен Государственной премии СССР.

Лев Ошанин никогда не прекращал быть «просто — поэтом», а в 1950-х годах пробовал свои силы и в создании молодежных пьес (часто вместе с женой — Еленой Успенской). И все же главным, почти заслонившим остальное творчество писателя, стала песня. Как говорил сам Ошанин: «Конечно, больше знают песни, потому что уж если песня получилась и оторвалась, то она летит и не знает никаких преград, и потому она закрывает как бы все остальное...». Удивительно разнообразие песен на стихи Ошанина. Свой вклад в это, разумеется, внесли и композиторы, и исполнители. Ошанинский текст звучал по-разному в устах таких ярких исполнителей, как Валентина Толкунова и Анна Герман, Иосиф Кобзон и Муслим Магомаев, Татьяна Рузавина с Сергеем Таюшевым... Но ведь не разница в творческом темпераменте композиторов определила столь разное звучание почти одновременно написанных песен конца войны, как «Эх, дороги» (музыка А. Новикова) и «Ехал я из Берлина» (музыка И. Дунаевского). И содержание, да и сама музыка, заложенная в ошанинских стихах, предопределили протяжно-лиричное звучание первой из них и мажорно-залихватское — второй.

Даже комсомольско-коммунистические творения, во второй половине XX века редко у кого наделенные художественностью, у Ошанина звучат достаточно ярко. Взять хотя бы «Красную гвоздику» (музыка А. Островского), «Гимн демократической молодежи» (музыка А. Новикова) и особенно «Песню о тревожной молодости» (музыка А. Пахмутовой).

На мой взгляд, лирика Ошанина достигла своих высот в его знаменитом «Дворовом цикле» и менее известных творениях — например, «Сумерки» (музыка И. Якушенко). А сколько цитат из его песен превратились в поговорки, в устойчивые выражения, будь то «комсомольцы — беспокойные сердца», «люди в белых халатах» или даже «а за окном — то дождь, то снег...»! Песни буквально разлетались по стране, становясь народными. Надо сказать, что и сам Лев Иванович всегда радостно делился своим творчеством. Не перечесать его поездок по стране: от курильского острова Шикотан до Ташкента и Кишинева, от БАМа до Самотлора, от Кавказа до ярославской Карабихи. В библиотеке поэта, хранящейся сейчас в Рыбинском музее-заповеднике, десятки книг, подаренных ему и именитыми коллегами — Юлией Друниной, Марком Лисянским, Андреем Дементьевым, Инной Лиснянской, Риммой Казаковой, Давидом Кугультиновым, зарубежными писателями (есть даже фотоснимок с надписью на арабском языке) и провинциальными литераторами, так или иначе знакомыми с признанным мастером.

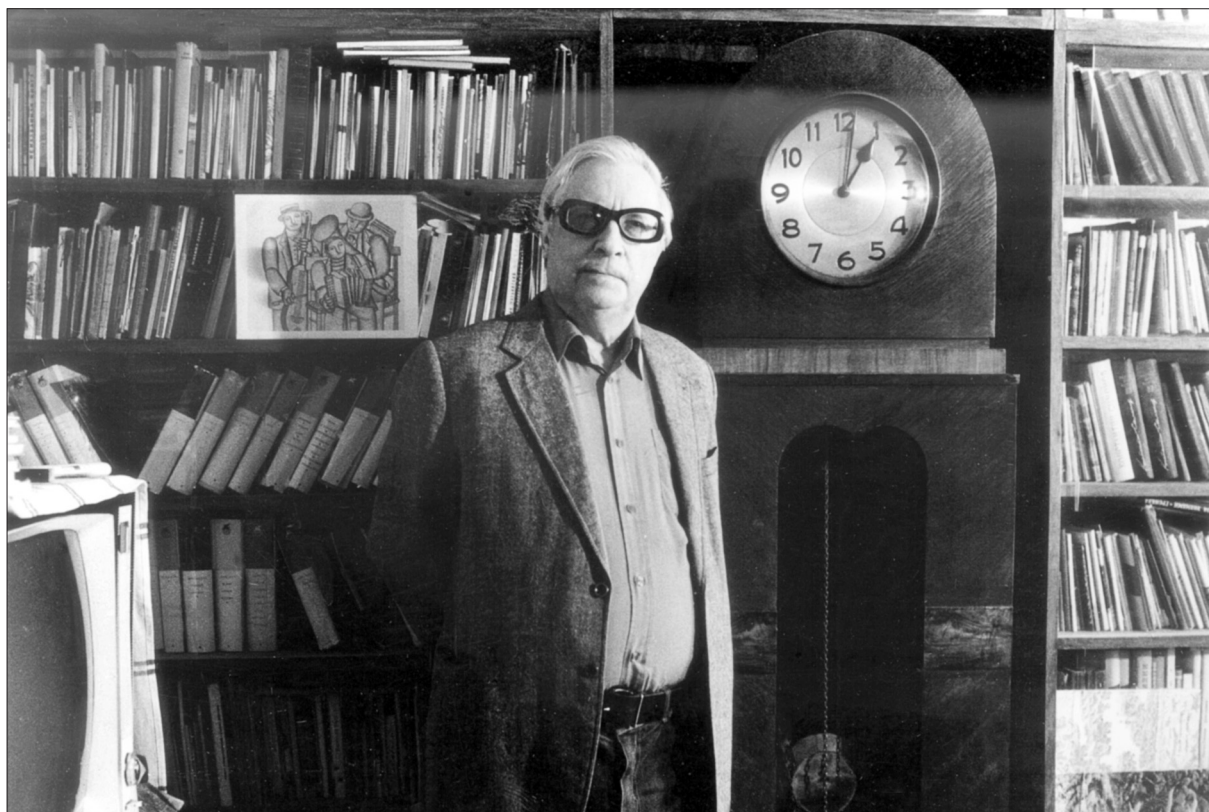
Популярнейший в 1970-х годах советский шлягер со словами «Ярославия — древнерусская сторона» тоже написан на стихи Ошанина (музыка П. Аедоницкого). Как я уже упоминал, поэт нередко гостил на Ярославской земле. Почти ежегодно приезжал в родной Рыбинск, где у него было немало не просто поклонников творчества (в таковых ходило полстраны), но и настоящих друзей. Это и поэт Сергей Хомутов, супруги Светлана Вейде и Дмитрий Романов, директор моторостроительного завода Павел Дерунов и руководитель НИИ «Гюйс» Геннадий Гладков, сотрудница того же НИИ Диана Лебедева. При помощи местных краеведов во главе с Владимиром Шпрангером поэт отыскал дом, где прошли первые годы его жизни. В каждый его приезд в Рыбинске проходили выступле-



Л. И. Ошанин с композитором Э. Колмановским. Москва. 1950-е



Поэт читает стихи путеукладчикам БАМа. Якутская АССР, Беркакит. 1977



Л. И. Ошанин на фоне домашней библиотеки. Москва. 1970-е



Л. И. Ошанин с участниками юбилейного концерта, посвященного 80-летию поэта. Москва. 1992



Л. И. Ошанин. 1995

ния, а в непростом 1992 году город помог поэту в проведении юбилейного вечера, с успехом прошедшего в Колонном зале Дома Союзов. В 1984 году Лев Иванович Ошанин стал почетным гражданином Рыбинска.

До самого конца жизни поэт сохранял силу духа и творческую энергию. Поэтому, несмотря на преклонный возраст Льва Ивановича, его смерть в самом конце 1996 года для рыбинцев оказалась неожиданным ударом.

В Рыбинске как-то сразу нашлись неравнодушные, а главное, инициативные люди, поставившие задачу увековечить память замечательного земляка. Через несколько лет после кончины Ошанина они объединились в благотворительный фонд «Солнечный круг», почетным председателем которого стала дочь поэта Татьяна Успенская-Ошанина. Значительная часть вещей Льва Ивановича была передана его наследниками в собрание Рыбинского музея-заповедника, став впоследствии основой для нескольких выставок, посвященных его жизни и творчеству. К 90-летию поэта 30 мая 2002 года на доме, где родился Л. И. Ошанин, установили мемориальную доску. А одна из улиц города стала носить его имя.

Второго августа 2003 года ко Дню города на Волжской набережной был установлен памятник Л. И. Ошанину. По-своему символично, что его автор, Махмуд Нурматов, приехал в начале 1990-х в волжский город из Таджикистана, где нередко бывал Лев Иванович. Маленький немногословный таджик, «жигули-копейку» которого не оставлял без внимания ни один гаишник, ушел с головой в увлекшую его работу. Больше полугода он создавал эскизы, затем делал гипсовую модель, работая без договора и без финансирования. Судьба бронзового монумента решалась непросто, долго подбирали и место для него. В итоге он встал на смотровой площадке на берегу реки Волги. Скульптор применил не так уж часто встречающийся прием, поставив статую на очень низкий подиум-плит, практически «на землю». Такая доступность памятника, очень хорошо соответствующая характеру Ошанина, импонирует и зрителю. Именно сюда, как правило, несут цветы молодожены, здесь фотографируются туристы (потереть «на счастье» ботинок поэта уже стало традицией).

...Повесив на ограждение набережной плащ, стоит бронзовый поэт, сложив руки на груди и глядя туда, где «Издавека долго течет река Волга». Именно эти знаменитые строчки Льва Ошанина, по словам скульптора, вдохновили его установить памятник у реки, воспетой поэтом. Можно вспомнить и другие строки той же песни:

*Здесь мой причал
И здесь мои друзья —
Все, без чего на свете жить нельзя...*

Сергей ОВСЯННИКОВ,
заместитель директора Рыбинского музея-заповедника,
кандидат искусствоведения

Фото из фондов Рыбинского музея-заповедника.
Публикуются впервые

«Судьба мне подарила, что могла»

К 95-летию со дня рождения поэта Николая Якушева

В декабре 2011 года ярославские любители поэзии, культурная общественность отмечают очередной юбилей Николая Михайловича Якушева. Во второй половине прошлого века это имя было своеобразным символом поэзии Рыбинска. В городе его знали все, а поэтическое признание Якушева выходило далеко за пределы Ярославской области. Николай Михайлович оставил не только добрую память о себе, но и свои мудрые, талантливые книги, которые и сейчас пользуются вниманием тех, кому небезразлична поэзия.

Перечитывая статьи, написанные мной к предыдущим юбилейным датам старшего друга и наставника, понимаю теперь некоторую односторонность моего взгляда на поэтическую судьбу этого необычайно яркого человека. Если бы я не был более десяти лет близко знаком с Николаем Якушевым, возможно, повторил бы то, что писал в предисловии к книге стихов и дневников поэта «Жил-был я» (1994), сводя все только к трагедии одной из жертв сталинских репрессий.

Тогда, на волне всяческих разоблачений, многое представлялось проще, да и не все документы были прочитаны, в частности, его переписка. А дневники начинались только с 1971 года... В числе репрессированных оказались многие писатели: и Николай Заболоцкий, и Анатолий Жигулин, и Варлам Шаламов, и Борис Ручьев... Но их судьбы сложились по-иному. Если бы еще Якушев не был реабилитирован или погиб в лагерях, тогда — другое дело. Но поэт остался жив и вернулся в литературу познавшим то, *что не познали другие*, в хорошем смысле этой фразы: если не самые лучшие его стихи, то одни из лучших связаны с теми жизненными переживаниями.

Николай Якушев сумел преодолеть душевный кризис, о чем говорят и строки его объемного цикла «У семидесятой параллели», опубликованного впервые в период «хрущевской оттепели».

*Я плохо верю в дружбу тех,
кто от удач ослеп,*

кому легко
дается смех
и достается хлеб.

.....
Надежной дружбой дорожа,
я крепко верю в тех,
чья раскрывается душа
от добрых слов «на всех».
На всех — костер,
на всех — вода
и ужин, как ни скуп...
Окурок друга никогда
не обжигает губ.

Пусть ветер бьет
и крутит снег
свирепых декабрей,
сквозь них прошедший человек —
правдивей и добрей.

(«Годовые кольца», 1964)

Или другое стихотворение из этого сборника, посвященное познавшему те же испытания поэту и другу Борису Ручьеву:

Мы не верим,
единоверцы,
что состаримся наконец,
что сегодня
на срезе сердца
пятьдесят годовых колец.

.....
Но в какую б
глухую замять,
задыхаясь, идти ни пришлось —
узелков не вязали на память,
не копили змеиную злость.

И самое пронзительное:

Мы вернулись.
Не убитые
ни цингою, ни трудом,
не с дешевою обидою
вспоминаем мы о том.

По-особенному больно нам
было, может быть, всегда,
что на шапке у конвойного
наша красная звезда.

В этих стихах нет бодрячества, их наполняет осмысленная тяжесть случившегося. Преодоление, конечно, давалось нелегко.

Все в снегу —
в густой скрипучей вате,

*как и в том провьюженном краю...
Вот опять мне папирос не хватит,
чтоб припомнить молодость свою, —*

говорит Якушев в стихотворении, посвященном другому репрессированному другу-поэту Владимиру Ковалеву.

Но было непреклонное стремление подняться над прошлым и доказать свою состоятельность:

*И что с того,
что путь был очень труден?
Нам выпала особенная честь:
прожить всю жизнь
с высоким словом «будет»,
кончая день
коротким словом «есть!»*

(«Фотография друга», 1956)

И все же цель этого очерка — сказать не только о жизненной драме Николая Якушева, но и о судьбе провинциального поэта, который по своему масштабу не был провинциалом.

Осознание того, что его предназначение — поэзия, не покидали Якушева с юных лет. Пытался он писать даже в лагере, о чем говорит в стихотворении «Стихи из сожженной тетради»:

*Стихи из сожженной тетради
не выдалось мне уберечь —
при обыске их надзиратель
торжественно выбросил в печь.*

*И видно, не веря идее
целебного свойства огня,
лечил графомана «в кондее»,
«вытряхивал дурь» из меня.*

Несколько лагерных стихотворений сохранились в памяти поэта и затем вошли в его книги. А после освобождения творческая жизнь вновь захватила Николая Якушева всерьез. Уже в 1955 году, как вспоминает он сам в автобиографии, послал стихи в печать и с этого времени стал издаваться. Печатался в газетах, сборниках, журналах областных и московских. В 1959 году вышла книга его стихов «Высокий берег», о которой не стоит говорить подробно, это типичная для того времени первая книга. По ней нельзя было определенно сказать о творческих возможностях автора, как, впрочем, и по второй маленькой книжице «Старт» (1962). Хотя оба издания были замечены читателями и критикой.

О неординарном таланте поэта, о крепнущем собственном голосе можно судить уже серьезно по его третьему сборнику — «Годовые кольца» (1964). Повод для этого дает и то, что к тому времени Николай Якушев был принят в Союз писателей СССР (1963). Книгу еще нельзя назвать ровной, в ней есть стихи на злобу дня, слабые по замыслу. Навязанная в те времена «рабочая тема» буквально выдавливалась из авторов. И вот попадают в сборник стихи: «На субботнике», «В городе светает», «Город будет». То же самое было с идеологическими установками и попытками поэта не отстать от времени в стихотворениях о Ленине, Марксе, партии. Но основа книги — крепкая, образная лирика. Кроме стихов из цикла «У семидесятой параллели», в ней немало стихотворений философской направленности, о природе, о любви. Вот характерные строки:

*Гомер был слеп,
Бетховен глух...
А жизнь — и в шорохах
и в звездах.
Но что им зрение и слух,
когда в них мир
входил, как воздух.*

Другие строки удивительно точно отражают состояние природы в закатный час:

*Еще не вечер,
но уже не полдень —
лиловый сумрак бродит по лесам.
Закат во всех подробностях
исполнен
как бы дотошной кистью палешан.*

*Обнажены в короткий час отлива,
блестят тонкозернистые пески,
а наверху,
над кромкою обрыва,
березы приподнялись на носки.*

(«Рожновский мыс»)

Стихи настоящего мастера, знающего цену эпитету и глаголу, хочется цитировать и цитировать:

*Говори, говори...
Почему-то все чаще и чаще
нужен мне бормоток
твоих детски картавых речей.
Потому и бреду
сквозь зеленое кружево чащи,
чтоб услышать твой голос,
лесной не приметный ручей.*

*Здесь, под сводами крон,
как в глухой, потаенной пещере,
ты по каплям сочишься,
корням и корягам в обход.
Из-под крестиков мха
ты пробьешься наружу — я верю
в беспокойную силу
упрямых подпочвенных вод.*

Умение найти точные определения и тончайшие детали — «фирменный знак» Якушева. Обозначив книгу «Годовые кольца» как точку отсчета творческой зрелости Николая Якушева, добавлю к вышеприведенным строки из следующей книги «Стихи» (1967):

*Всю ночь,
от страха еле живы,
искали птицы тишины,*

*а молний вздувшиеся жилы
до синевы напряжены.*

*От злого грохота тупея,
зверье покинуло леса.
Как репетиция Помпеи,
шла первобытная гроза.*

Во всех трех приведенных отрывках поэт предстает истинным художником слова.

Главной же книгой Николая Якушева стал уже упомянутый сборник «Стихи», можно сказать, юбилейный — поэту накануне, в 1966 году, исполнилось пятьдесят. Он в расцвете творческих сил, окончил Высшие литературные курсы, публикуется в журналах, всесоюзном «Дне поэзии». Признан корифеями советской поэзии: Ярославом Смеляковым, Сергеем Поделковым, Егором Исаевым, дружит с Анатолием Жигулиным, Владимиром Костровым, Николаем Старшиновым, Николаем Рубцовым. Но к своим пятидесяти Якушев по-прежнему остается талантливым провинциалом, ни одной книги в Москве у него не вышло.

Писателю из глубинки крайне трудно было в те годы пробиться в столичные издательства. Вполне обоснованно сформировалось мнение, что, если ты не вырвался на жительство в столицу, всесоюзно известным писателем никогда не станешь. Конечно, имели место и другие варианты: частые наезды в издательства, поиск покровителей в Москве. У Якушева все поначалу складывалось вроде бы удачно. В автобиографии, очевидно, затребованной в какие-то литературные инстанции, он пишет: «...должна выйти книга под условным названием “Группа крови” в издательстве “Молодая гвардия”». Возможность московских изданий постоянно упоминается и в переписке Николая Якушева с другом, крупным советским поэтом Анатолием Жигулиным, опубликованной в книге «...Попробуй выстоять в тени: Дневники. Переписка. Воспоминания», составителем которой выступила Т. А. Пирогова (Ярославль, 2006). Но на каком-то этапе выход и этой, и других книг «срывается»...

Вернемся к сборнику «Стихи». Часть произведений в него отобрана из предыдущих книг. Два стихотворения датированы долагерными 1934 и 1935 годами, но назвать их незрелыми нельзя, в них уже чувствуется почерк будущего Якушева:

*За окнами цвело
и розовым и белым.
Бессильное стекло
зари сдержать не смело.*

1934



Встреча с читателями. Поэт подписывает новую книгу «Стихи». 1967



Н. М. Якушев с женой Конкордией и сыновьями Ярославом и Артемом

Или:

*Падал снег.
Я хотел быть резким.
Я хотел засвистеть — и не мог.
И окошко твое с занавеской,
отраженное, блекло у ног.*

1935

Есть стихи 1947, 1948, 1949, 1950 годов, то есть написанные в лагере, возможно, из той самой «сожженной тетради». Стихотворение, датированное 1935 и 1949 годами, «Десятый вальс» — о юношеской любви, посвящено Е. К. — Евгении Колесниковой, девушке, которую он помнил всю жизнь:

*Смешно,
что я полжизни берегу
тебя такой,
как в первый день потери.
Что жизнь прошла —
поверить я могу,
что ты прошла —
я не могу поверить.*

Ей же, очевидно, посвящены и еще несколько стихотворений, которые можно отнести к достойным образцам любовной лирики.

Во всех книгах Якушева немало сюжетных стихов — емких, образных, психологически точных поэтических зарисовок человеческой, да и не только человеческой жизни: «Баллада о потерянном имени», «В дальний край зеленый улета...» («Крушение легенды»), «Фотография друга», «Дорога», «Умерла моя мама...», «Кинохроника», «Проводы», «Убили волка» и другие.

*Будет утро.
Весна на зеленой планете,
и хорошие песни,
и добрые люди.
Будет так,
что и горя не станет на свете,
лишь тебя
никогда уже больше не будет.*

*Никогда...
Не помочь никакими слезами.
Сыновья, сыновья,
видно, все мы такие —
матерей мы целуем
в толпе на вокзале,
о любви матерям говорим
на могиле.*

(«Умерла моя мама...»)

*Да, здесь был бой!
Отчаянные парни
в атаку шли
сто двадцать дней подряд.
И жаль, мешал увидеть
накомарник,
какие лица были у ребят.
.....
И что с того,
что путь был очень труден?
Нам выпала особенная честь:
прожить всю жизнь
с высоким словом «будет»,
кончая день
коротким словом «есть!»*

(«Фотография друга»)

В книге «Стихи» собраны и другие яркие стихотворения, которые не только талантливы, но и во многом определяют жизненные установки поэта, его пристальный и неравнодушный взгляд на наш непростой мир: «Не верю песне...», «В окно вагона, словно в прошлое...», «Всю ночь от страха еле живы...», «Был горизонт натянут, как струна...», «Таких я видел и в Москве и в Рыбинске...». Последнее, запоминающееся сразу, крайне актуально и сейчас, спустя полвека:

*Таких я видел
и в Москве и в Рыбинске —*

*несут себя
на каблучках точеных...
Смотрю на них,
раскрашенных, как вывески,
а вижу тех,
военных лет девчонок.*

*С глазами их,
испуганно огромными.
С морщинками,
все новыми и новыми.
Их часто оставляли похоронные —
в одном году —
сиротами и вдовами.*

*Кто будет спорить?
Нынешние краше их —
им и стихи
и песни адресованы.
У тех —
слезой ресницы были крашены
и горьким горем
губы подрисованы.*

Это стихотворение о матерях, теперь уже бабушках и прабабушках нынешних раскрашенных девчонок. В подавляющем большинстве стихов Якушева соединяются два достоинства: содержание и художественное исполнение, значимость темы органично усиливалась тем, как выражен замысел стихотворения. Конечно, в вышеупомянутый сборник вошли и стихи из цикла «У семидесятой параллели».

Книга «Стихи», казалось бы, открывала дальнейшие возможности для выхода к широкому читателю. Но по стечению обстоятельств неожиданно последовали трагические события в жизни поэта. К этому времени Якушеву было уже тесно в районном городе, где практически он находился в отдалении от большой литературной жизни. Сопоставляя две поэтические судьбы — Анатолия Жигулина и Николая Якушева, — наглядно видишь, как первый искал путь к творческой реализации в столице, а второй не имел возможности даже сделать подобную попытку. Жигулин с невероятными сложностями, но вырвался в Москву, заняв со временем литературные должности, необходимые для приобретения связей и прямого выхода на издательства. Что скрывать, секретарь Союза писателей или редактор крупного журнала, и даже заведующий отделом в издательстве, имели в то время большие преимущества перед другими, не случайно и родилось такое определение, как «секретарская литература». Якушев перебраться в Москву не мог в силу своего характера и житейских обстоятельств, сложившихся во второй половине 1960-х годов. Первый был свободен от бытового бремени, у второго — жена, два малолетних сына. Куда с таким багажом? А постоянное безденежье не позволяло выехать в столицу даже на день. Но главное, я думаю, все-таки крылось в другом — в независимом характере Якушева. Он не умел и не хотел приспособливаться, унижаться, хитрить, расталкивать других локтями. А в столичной литературной среде без этого выжить почти невозможно.

Постепенно Якушев осознает, что книга в Москве так и не выйдет. Это можно понять по его переписке с Жигулиным, который сообщал другу о своих успехах. А тот в ответ только попросил о ходатайстве или сам посылал, по сути, бесполезные и часто безответные письма в центральные издательства, где годами лежали его рукописи. Да и тон

Адресат стихотворения был понятен. Между восторженными отзывами Жигулина о стихах Якушева сначала из Воронежа, а потом из столицы в начале 1960-х («Никакого отказа не будет! Через год-два у тебя появится в Москве книга. Если хочешь — две!»; «Стихи твои — отличные... Их уже вся Москва знает...» — это о стихотворении «Начиная с околичностей...») и последними письмами было много просьб со стороны Якушева и обещаний Жигулина, касающихся посильной помощи в продвижении рукописей в «Молодой гвардии» и «Советском писателе». Рассчитывать тогда Якушеву, кроме друга, было не на кого.

За два года проживания в Москве в середине 1960-х во время учебы на Высших литературных курсах Николай Якушев достаточно увидел и понял. Изрядно пообщался с «З. З.», «Зиновием», как они в переписке с Жигулиным шутливо называли «зеленого змия», близко познакомился со многими известными собратями. Конечно, поэтическая вольница захлестывает большинство провинциалов, штурмующих Олимп на ВЛК и в Литинституте. Главное, вовремя останавливаться, совмещать неформальное общение с работой. Но это в идеале, когда душа спокойна и жизнь не столь изломана разочарованиями.

В конце 1960-х доверчивый характер сыграл и вовсе злую шутку с поэтом. С писательского съезда, на который был приглашен, Якушев привез в Рыбинск закрытое письмо А. Солженицына, обращенное к коллегам, и дал почитать его некоторым «друзьям». Письмо же стали размножать, и недремлющее око КГБ быстро нашло виновника. Последовали репрессии: увольнение с моторостроительного завода, где он тогда работал в отделе научной организации труда, грозило исключение из Союза писателей. Якушев попал в долгую опалу. Все чаще поэта посещают мысли о смерти, поскольку уходят из жизни друзья и покровители: Ярослав Смеляков, Борис Ручьев — те, кого он любил и ценил.

На первый взгляд, он был по-прежнему бодр и творчески активен. Его любили читатели, тянулась к местному метру молодежь. Но это только казалось. Именно когда рассматривалось персональное дело Якушева на собрании Ярославской писательской организации, закончившееся не исключением из СП, а только строгим выговором, он и начал вести дневник. По записям можно понять его тогдашнее состояние. Вот что Николай Михайлович пишет 28 марта 1971 года: «В дом пришла нищета. Мы залезли в долги, из которых неизвестно, как будем выпутываться. Кора (Конкордия Евгеньевна — жена. — С. Х.), чтобы хоть как-то облегчить положение семьи, нанялась мыть лестницу и лестничные площадки в доме. Старший инженер-экономист, по совместительству — уборщица. Здорово! Ребята, конечно, переживают это очень болезненно. Когда собираемся все вместе — в доме тишина, как при покойнике. И ясно понимаю, что покойник — я...»

Устроился работать грузчиком, больше никуда не брали, но эта работа оказалась не по силам. Некоторое облегчение принесла изданная в 1973 году небольшая книжка «Вторая половина дня». В нее вошли в основном старые стихи, но есть и несколько новых, очевидно, написанных в конце 1960-х — начале 1970-х. В них отражено душевное смятение того периода:

*Среди всего иного-прочего
тревожит часто мой покой:
внук крепостного,
сын рабочего,
а сам-то,
сам я кто такой?*

*Не хлебороб и не строитель,
в больших не числился умах.*

*Так кто же ты?
Всего лишь «житель»,
нелепый делатель бумаг?*

Самое значительное стихотворение сборника — от которого и пошло его название:

*Пока что
все как нужно у меня,
хоть по годам
давно уже не утро...
Как говорят
почти спокойно, мудро —
идет вторая половина дня.*

*Судьба мне подарила,
что могла.
Ни ясным небом,
ни тяжелым хлебом,
ни униженьем, ни бедой,
ни гневом —
ничем меня судьба не обошла.*

Нервное, предельно откровенное, с одной стороны, философское, а с другой — почти декларация, заканчивается оно горькими правдивыми строчками:

*Что мне
вторая половина дня
и приближение неизбежной даты?
Я не страшусь.
Давным-давно когда-то
уже однажды не было меня.
Идет вторая половина дня.
И, может быть,
страшней всего на свете,
что строчки,
как взрослеющие дети,
уходят безвозвратно от меня.*

В этом же сборнике напечатано и посвящение собрату, с которым поэт близко сошелся в Москве, Николаю Рубцову. «Коле Рубцову», как ни грешно об этом говорить, повезло в поэзии больше, он смог в метаниях между Москвой и Вологдой выстрадать и донести до читателя то, чем жила его душа и чем она была больна, с почти гениальной проникновенностью, что поставило его в первый ряд поэтов конца прошлого столетия...

Якушев устроился работать редактором кинопроката на нищенскую зарплату, но все-таки хоть так. О том, как все происходило дальше, говорит запись в дневнике 4 марта 1976 года: «...Время уходит, а я по-прежнему трачу его так, как будто в запасе еще лет 20. Размениваюсь на пустяки: газетные статейки, какие-то вегетарианские стишки». А две недели спустя, 19 марта этого же года, поэт попадает в больницу с обширным инфарктом.

К 60-летию — пенсионному возрасту, как тогда было принято, Верхне-Волжское издательство выпускает шестую и последнюю прижизненную книгу Николая Якушева «Курганы» (1976). Он пишет об этой подготовленной еще два года назад рукописи в письме



Н. М. Якушев. Конец 1970-х — начало 1980-х

Жигулину так: «Вначале мне дали 10 листов — юбилейная ведь! Потом урезали до 7. А перед Новым годом пришлось забрать рукопись, чтобы выбросить еще 1500 строк — оставили всего 5 листов...». Мысли о столетней книге его по-прежнему не оставляют: «Книжка очень нужна по многим причинам — понимаешь сам, очередь моя для “утирания бороды” недалеко уже. (Это есть пословица: “Пожито, попито — пора и бороду утирать”.) И уходить без книжки московской — обидно».

В книге «Курганы» новых стихотворений совсем немного, да они и не определяют содержание книги. Издательство пошло по легкому пути, выбрало проверенные стихи, а измученный неудачами и болезнями автор не противился этому. Юбилейная галочка была поставлена, какой-никакой гонорар на бедность получен, а дальнейшее пока представлялось туманно. И все-таки он продолжал работать, появились новые замыслы. В конце 1970-х Николай Якушев берется за прозу, отчасти автобиографическую. Трудно сказать, что должно было из этого выйти в целом, но первую книгу он написал. Она о детстве, периоде начальных лет Советской власти, в окончательной редак-

ции называлась «В конце двенадцатого лета». Ее сначала одобрили в Верхне-Волжском издательстве, а потом зарубили, чем больно ударили по надеждам и планам. Повесть все-таки удалось издать, уже после смерти поэта, в середине 1980-х, напечатана она на двух языках в советско-болгарском журнале «Дружба».

В 1982 году Якушев начинает готовить очередной сборник стихов. Творчество опять захватывает его, поскольку есть заверения Верхне-Волжского издательства, что повесть выйдет в 1983-м, а итоговая книга стихотворений — в 1985 году. «Теперь только работать и работать (главное — работа), этому и следует посвятить последние годы жизни», — пишет он в дневнике 21 февраля 1981 года. Увы, как уже я говорил выше, отклонение повести издательством фактически добило Николая Михайловича. В дневниковых записях он все чаще вспоминает годы юности, старых друзей, свой арест и последующие события, то есть живет прошлым. Поэт еще выступает, подрабатывает рецензиями на рукописи для издательства, много общается с молодыми рыбинскими литераторами. Изредка получает письма от старых друзей и знакомых: академика Н. Желтухина, поэтов С. Поделкова, Д. Самойлова.

Рукопись новой книги стихов Якушев отвез в издательство в сентябре 1982 года. «Прошел месяц со времени последней записи. Ничего не изменилось, все, как было — ем, сплю, читаю, что попадется. Не пишу и, кажется, ничего больше писать не буду. Зачем? Хотя очень хотел бы писать что-то вроде раздумий о прожитом: “Жил-был я”. (20 февраля 1983)». Это была последняя запись в дневнике, сделанная за два месяца до смерти, а книга с таким названием вышла в 1994 году в издательстве «Рыбинское подворье». Она вклю-

чала в себя стихи и дневниковые записи поэта, его раздумья о прожитом, прочитанном, выстраданном. За нее поэту посмертно была присуждена первая областная литературная премия имени Л. Н. Трефолева.

Но еще раньше, в 1985 году, вышла небольшая книжечка Николая Якушева «Лирика». Она включала в себя и неопубликованные произведения, в частности, вышеприведенное стихотворение, обращенное к бывшему другу Анатолию Жигулину («Жизнь прошла не под звуки победного марша...»). Здесь же откровенные: «Может быть, я не так уж и нужен...», «Не знаю, сколько ты ждала...», «Апрель... И почва подопрела...», «Хорошо, что потеряна жизнь, а не совесть...», «В больнице». А также горькая, отчаянная «Ода подлецам», над которой можно было поставить множество посвящений, закачивающаяся строчками:

*Случалось, что я брел по бездорожью,
не понимая в жизни ни черта.
Но, знаете, меж правдою и ложью
всегда гнездо свивает клевета.
Она людское расторгает братство,
запутав все начала и концы.
Вы помогли мне в жизни разобраться,
спасибо вам за это, подлецы!*

Весь гонорар от сборника «Лирика» ушел на памятник, который торжественно открыли на могиле поэта. Казалось, что после смерти судьба Николая Якушева будет более благосклонна к нему. Наследники с помощью друзей пытались все-таки издать его книгу в Москве, но это ни к чему не привело. Пока была жива вдова поэта, Конкордия Евгеньевна, пережившая его на 16 лет, сделать удалось много. Ярko отметили 70-летие и 80-летие Якушева, установили на доме, где он жил в последние годы, мемориальную доску, выпустили книгу в Рыбинске, сняли фильм о жизни и творчестве поэта, даже улицу хотели назвать его именем. Но, в итоге, назвали только городское литобъединение.

При составлении книги «Жил-был я» в архиве поэта нашлись и неопубликованные стихи. В одном из лучших стихотворений этого сборника Николай Якушев емко и мудро отразил всю свою жизнь:

*Мальчик,
играющий разноцветными раковинами
на берегу Великого океана,
узник,
ожидаящий без всякой вины
приговора сурового тирана,
юноша,
впервые окрыленный любовью,
неудачник,
счастливый только во сне,
музыкант,
заплативший острою болью
за сладкую отраву элегии Массне.
Схоласт,
извлекающий из древних фолиантов
пыльные истины о судьбах мира,
пьяница,
пропивающий остатки таланта*

*за грязною стойкой вонючего трактира.
Маленький каменщик
великой стройки,
отшельник,
презирающий шум бытия,
несчастный,
умирающий на тюремной койке...
Как странно,
что все это — Я.*

Несмотря на все пережитые жизненные тяготы, творческая судьба Якушева удалась. Именно с него началась современная поэзия в Рыбинске, городе многих талантливых литераторов. Его любят и читают, на краеведческих чтениях поэту-земляку посвящаются многочисленные доклады, проводятся ежегодные Дни якушевской поэзии. А в памяти тех, кто знал его, Николай Михайлович остается личностью яркой, вольнолюбивой, воплотившей в себе качества настоящего творца, мыслителя, отдавшего всю свою жизнь служению русской поэзии, родному слову.

Сергей ХОМУТОВ,
член Союза писателей России

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Евгений ЕРМОЛИН



Родился в 1959 г. в деревне Хачела Архангельской обл. Сын поморского поэта Анатолия Навагина. Закончил факультет журналистики МГУ. Дебютировал как поэт. Первая литературно-критическая публикация — в журнале «Литературное обозрение» (1980). С 1981 г. живет в Ярославле и работает в местной прессе. С 1989-го преподает в ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, ныне профессор, заведующий кафедрой журналистики. Толстожурнальный критик, публиковался в «Континенте», «Новом мире», «Дружбе народов», «Знамени», «Октябре» и др. журналах. Работает в традиции русской религиозно-философской критики, христианский либерал-демократ, персоналист. Научные труды — в сфере истории русской культуры, ярославского краеведения, истории памяти и мифокритики. Член Академии русской современной словесности и Литературной академии национальной премии «Большая книга». Заместитель главного редактора журнала «Континент», редактор интернет-проекта «Континента». Лауреат литературных премий «Луч света — Антибукер» (2000), журналов «Октябрь» и «Дружба народов», отмечен званием «Станционный смотритель» как лучший критик России (2010). Член Союза российских писателей.

Ярославская аномалия

Молодая проза Верхневолжья, начало XXI века

Мало кем замечен факт, бросающийся, однако, в глаза: в начале нового века ярко, заметно заявили о себе на общероссийском уровне сразу несколько молодых

прозаиков-ярославцев, составивших своего рода ярославскую литературную аномалию.

Всего один пример внешней, скажем так, фиксации этого явления: пять лет назад остроглазый московский критик Лев Данилкин в дюжине тех, кого он назвал «юниорами» в ак-

туальной российской словесности в масштабе страны и зарубежья, упомянул сразу двух ярославцев: Наталью Ключареву и Сергея Вербицкого. Правда, никаких выводов из этого он не пытался сделать.

Спустя год-другой список мог бы быть расширен за счет Марины Кошкиной, Анны Лавриненко, а потом я бы к ним добавил Андрея Донцова, Елену Георгиевскую, Бориса Гречина, Юлию Коробову.

Итак, по году рождения. 1972: Вербицкий. 1980: Георгиевская. 1981: Гречин, Ключарева. 1984: Лавриненко. 1985: Кошкина. 1991: Коробова...

Отмечу, что далеко не всякий российский мегаполис может похвалиться таким списком молодых писательских имен. Скажем, Петербург, на мой взгляд, не может, хотя тамошняя литературная когорта и прирастает помаленьку за счет притока извне (то Александром Карасевым, то Моше Шаниным).

Отчасти сравнение выдерживает далекий Абакан. Оттуда маститый уже Роман Сенчин, а также Сергей Чередниченко, Андрей Белозеров, Алексей Леснянский — это довольно интересная плеяда. А больше ничего похожего за чертой Москвы мне, честно говоря, и не припомнить. Может, кто подскажет?

Заметим, что филфак ярославского педуниверситета как питомник талантов едва ли не обгоняет прославленный Литинститут, так сказать, по очкам гамбургского счета. На филфаке учились или учатся Георгиевская, Донцов, Ключарева, Коробова, Кошкина. (Не говоря уж о поэтах Алексее Бокареве, Надежде Папорковой, Андрее Нитченко, Александре Антонове, о которых разговор пойдет в другой раз.) Здесь же, на инязе и в институте педагогики, подвизался Гречин.

Многие (но не все) ярославцы участвовали в форумах молодых писателей России в Липках под эгидой фонда Сергея Филатова, а Вербицкий и Георгиевская издали свои книги при помощи фонда.

Разумеется, далеко не все они постоянно обитают в пределах Ярославской земли. В наш динамичный век эта сугубая оседлость художника, писателя выглядит даже странно и должна быть мотивирована большими социальными обязательствами. Сюжет жизни в начале XXI века все очевиднее становится сюжетом большого путешествия.

Интересно, что у ярославской молодой прозы в основном женское лицо. Впрочем, я бы не стал из этого делать никаких далеко идущих выводов. Интереснее, что у молодых прозаиков мы в разных поворотах узнаем реалии Ярославля, иногда Рыбинска. Хотя это тоже частность.

* * *

За последние годы наиболее успешно проявила себя и снискала самое очевидное признание в литературном мире и за его пределами Наталья Ключарева. На текущий момент она — самый известный в стране прозаик из Ярославля (если быть точным, то она делит время между Москвой и Ярославлем).

Начинала Ключарева как поэт, и я в совсем недавние, но уже далеко убежавшие годы говорил о ней как об авторе с сугубо острым чувством современности, что проявилось, в частности, в активном освоении ею экспрессионистских средств, тогда для нашей местной поэзии небывалых.

Довольно рано, отнюдь не в зрелые года, Ключарева обратилась к суровой прозе. Молодая писательница в 2006 году дебютировала в журнале «Новый мир». Ее первый роман «Россия: общий вагон» — это панорама русской жизни начала века, увиденная глазами юного странника, идеалиста и правдолюбца, студента Никиты. «Мутными глазами общего вагона на него смотрела страна». Люди, которые встречаются Никите на пути, являют непарадные, непраздничные, негламурные лики родины. Их истории — это истории беды и несправедливости, политые слезами и кровью.

Другой ряд знакомых Никиты представляет людей, которые воспринимают действительность не страдательно, а рефлексивно, пытаются дать антитезу моральному разбою и духовному опустошению, царящим на Русской равнине. Некоторые критики усомнились даже, что такие люди бывают в нынешней России. Но почему бы и не быть в ней заложнику чести Юнкеру или нестандартному патриоту Рошину, который почему-то не пытается уличать в негодяйстве внешних врагов, а болеет душой за пороки и язвы родины? Да даже и мальчик Иван Вырываев, который пишет «предупредительный» роман о том, к чему мо-

жет привести экологическая беззаботность, — почему бы ему не быть в нашей все-таки не совсем-таки пока примитивной и не окончательно бессовестной стране?

Впечатляет и финальная гротескно-гиперболическая кульминация романа, где автор изобразила социальный эксцесс, рецидив русского бунта по поводу приснопамятной зурабовской монетизации льгот, с походом стариков на Кремль.

Роман имел широкий резонанс. О нем весьма комплиментарно отзывались и литературный критик-зоил Виктор Топоров, и столь несходные меж собой по творческим ориентирам и политическим взглядам Мария Арбатова и Эдуард Лимонов. Да даже и я.

Характерным образом рассуждал, например, старающийся держать дистанцию критик Николай Александров: «Здесь многое по-настоящему удивляет — и внимание к случайным голосам тех, кто и ездит обычно общим вагоном (описание общего вагона — открывает повествование), и какое-то целомудренное отсутствие цинизма при том, что автор безо всякой брезгливости, без тошнотворного морализаторства говорит о вещах грязных, страшных, неприглядных, уродливых и говорит в словах и терминах соответствующих. Говорит с юмором, но без ненависти, а с прямой, открытой, лишенной позы и претензий любовью. Здесь не кажется надуманной, искусственной и история любви впечатлительного юноши Никиты, падающего от жизненных впечатлений в обморок, и брутальной, загадочной девочки Яси. Здесь цитаты и ссылки на классиков не кажутся вычурными, а описание вечера поэтов-маргиналов действительно смешно. Наконец, здесь вполне живая, ненатужная, невымученная языковая стихия, раскованная, свободная, что само по себе уже редкость. И все эти достоинства примиряют с несколько искусственным и вялым финалом». По поводу финала с критиком можно, кстати, и поспорить.

А критик Сергей Костырко заметил: «Роман Ключаревой я бы назвал своеобразной стилизованной рефлексией на темы русской революции в отечественной литературе XX века, а его революционный пафос — формой эстетического позиционирования в современной литературе с помощью политических символов».

Опубликованный в следующем году рассказ Ключаревой «Один год в Раю» был отмечен Казаковской премией, которая присуждается за лучший рассказ года. Рассказ представляет вариант социальной альтернативы мейнстримной бессмыслице бытия, тип дауншифтинга, — из городской клоаки в заброшенную деревню. Мне показалось, что он перегружен символикой. Хотя... богатство смыслов — это ведь не бедность и убогость оных, что встречается в нашей словесности довольно часто.

Второй роман Ключаревой, «SOS», посвящен душевным метаниям юного художника. Герой успешно заявил о себе в Москве, вошел в моду, но карьерный рост и финансовое благополучие его почему-то не радуют. Возвращение в родной город, в котором угадывается, заметим, Ярославль, становится для персонажа средством обретения нового опыта и творческой миссии. Критик Майя Кучерская писала: «...в этой книге не стесняются пафоса, всерьез спрашивая друг друга, например: «Ну и для чего же ты живешь?» И в ответ слыша: «Я оскорблен за людей, что они такие. Недостойны звания человека... Я хочу преобразить их». Героям Ключаревой говорить такое не стыдно, потому что они верят в то, что говорят, а еще потому, что они совсем юные, эти ребята: художник Гео, его приятель Юрьев, прекрасная девушка Юля, ныне жена Юрьева, в прошлом любимая девушка Гео, им брошенная и от отчаяния севшая было на иглу. Всем им слегка за двадцать. Все они в состоянии говорить о смысле жизни без кривой усмешки. Это лучшее, что есть в книге «SOS», и главное,



что удалось Наталье Ключаревой, — передать их юношеский трепет, запечатлеть смертную напряженность их существования. Словом, передать всю боль и трагичность юности. Когда не разговаривают, а хрипло кричат, когда звонят друг другу ночью, просто чтобы сказать, как все достало, когда забывают нажать на тормоз, а от отчаяния, что он уехал, соглашаются уколаться. Когда чудится, что на месте любимой девушки никогда уже, никогда не будет другой. За эту необыкновенно точно переданную обнаженность их чувств, за их святую нервность и яростную чистоту помыслов прощаешь Наталье Ключаревой все формальные неловкости. Неубедительность отдельных ходов, обрывочность сюжетных линий и даже неумение довести своего героя до душевного перелома без химии».

Роман противоречивый, временами очень спорный, где о чем-то сказано наспех, а о чем-то слишком уж однолинейно. Но Кучерская права: это живая и волнующая вещь, богатая содержательностью.

Наконец, нельзя не сказать о предпоследней книге Ключаревой (самая недавняя у нее — детская: «В Африку, куда же еще?»).

«Деревня дураков» вошла в 2011 году в шорт-лист премии «Ясная Поляна» (обойдя роман еще одного ярославца, Евгения Кузнецова, «Жизнь, живи!», который, честно говоря, лично мне кажется не менее значительным — но жюри премии решило иначе). Снова молодой герой. Снова странствие по России и в глубь себя. Снова путь из города с его дешевыми соблазнами в маргинальные края, какими стала теперь русская деревня. Книга веселая, трогательная, озорная и драматическая.

Согласно тонко разобравшему повесть критику Владимиру Цыбульскому, книжка Ключаревой — «о неизменной тупости российского бытия. И о существовании в нем светлых душ. Тех, литературный свет которых виден невооруженным глазом: Митя, деревенские старики, счастливые каждым лучиком и каплей росы, батюшка Константин, спасающий алкоголичку Любку, ее брошенного сына Костю и местного шофера проповедью хотя бы пить не каждый день. Тупость бытия в вымирающих деревнях — она вечная. Российская, советская и снова российская. Этот мир неизменен. Если что в нем и создавалось, то только через насилие. <...> Он все тот же. На че-

ловека не рассчитан. Инвалид должен ездить в райцентр каждый год, чтобы доказать, что у него не выросли ноги. Учителя заискивают перед районным начальством, чтоб не закрыли школу. Приезжие из Европы волонтеры, что ухаживают за душевнобольными, живут с просроченными визами и в страхе, что их выселят и не дадут спасать тех, кто тут никому не нужен. Людей насилуют, как и прежде. Но от изнасилований теперь не родятся даже колхозы. Сделать хоть что-то в мире жестоких привычек и распахнутых душ могут одни одиночки. Приезжие инородцы или отечественные вечные юродивые и блаженные. Если не нищие духом, то уж неимущие точно. <...> В деревнях дураков по уму жить не получается. Здесь хоть что-то оживает, лишь когда вопреки уму и от светлой души». Критик резюмирует: «И в повести «Деревня дураков», и в очерках ищет Ключарева русского духа и «чувства Родины». А находит только одно чувство, на котором, по ее убеждению, и может устоять нынешняя Россия. И это чувство — стыд».

Да, господа, проза Ключаревой что-то такое будит в привычных к отечественным непотребствам душах. Есть в ней эта высокая нота, эта туго натянутая струна идеализма. Ключарева пишет о России одиночек, искателей правды и веры, России странников, изгоев и отщепенцев, о той «бродячей Руси», на которой, может быть, и держался извечно русский мир (не на бесчеловечной же, как правило, государственности и не на самодовольно-толстобрюхом красноречии!). «Юродивый-мученик, мудрое дитя, убиенный царевич», — так, архетипически, определил героя Ключаревой Виктор Иванів. Герои ищут русский ковчег — но, кажется, логикой развития авторской мысли от книги к книге убеждаются, что он не дан въяве и не обретается где-то в сельской глуши. Эта Россия духа уходит в неназываемые пространства личного опыта, в таинство веры, в ментальные окрестности Беловодья, где русскую душу не достанут ни жандарм, ни чекист, ни штатный патриот на окладе с премиальными.

* * *

Само сложилось так, что идеализм, юношеское неприятие повсеместного, привычного цинизма, рвотный рефлекс при встрече с соци-

альной и духовной неправдой отличают и в целом очень разную прозу молодых ярославцев. В этом смысле Ключарева с ее книгами — правило, а не исключение.

Таков и общий генеральный вектор новой, молодой прозы XXI века. Мне уже приходилось говорить о том, что искренность и простота — это, пожалуй, доминанта стиля молодой литературы. Это сразу бросается в глаза — и это резко отделяет новых писателей от их непосредственных предшественников, литераторов конца минувшего века, когда признаком хорошего тона считалась способность удивить читателя всякими понтами и наворотами.

Новое качество новой литературы не связано напрямую с просто неискушенностью, неопытностью нового поколения. Кажется, причина в другом. Быть может, именно так сегодня и запечатлелся в литературе тот факт, что для молодого современника является наиболее естественным состояние творческой свободы. Как воздух. Ему не нужно этим маяться, не нужно бороться за свою свободу, не нужно ее отстаивать, не нужно — главное — искать специальные средства для того, чтобы дать знать о своем несовпадении с социальным и моральным официозом... Новое писательское поколение — это, в сущности, первое вполне свободное поколение в России. Свободное от государственного принуждения, от контроля и цензуры, от соцзаказа и политприказа — причем практически с рождения. Или уж, во всяком случае, с отрочества. Оно, это поколение, лишь теоретически представляет себе, какой роковой проблемой для серьезного русского писателя была свобода высказывания.

В нынешних молодых, в их судьбе и опыте, должны бы сбыться ожидания и надежды, которые не позволяли отчаиваться многим лучшим русским людям, поколениям искателей воли и правды. Сбылись ли, сбудутся ли эти надежды? Хватит ли этих атмосферических явлений, позволяющих дышать и говорить без спроса, без оглядки, хотя б на длину их жизни?.. Это другие вопросы. И на них, возможно, еще рано отвечать.

Но прежде спросим: вправе ли мы в принципе ждать от молодых писателей мобилизации, вправе ли настаивать на необходимости и неизбежности ангажемента? Лет десять назад саму постановку такого вопроса сочли бы незаконной. Но та эпоха ушла и не вернется.

А вопрос остался. И я отношу себя к тем, кто отвечает на него утвердительно. Разумеется, речь не идет о литературной барщине, о работе «на чужого дядю». Я о другом. Большой писатель без большого проекта, без важной темы и глобальной задачи, без миссии, далеко выходящей за пределы личного игрового каприза, — немыслим. Такого не бывает.

Эпоха испытывает — размывом границ между добром и злом, подменой важнейших понятий, разгулом своекорыстия, торжеством человеческого примитива. Стоит ли удивляться, что есть — и растет — неудовлетворенность тем прозябанием, тем убожеством, к которым скатилась русская жизнь в начале XXI века? Она часто характерна именно для молодежи. И ее-то выражают молодые художники слова.

Литература сегодня, как это бывало в России всегда, начиная с середины XVIII века, строит альтернативу русской реальности. Литература создает Россию. Писатель снова призван создавать родину, как умеет и как ее понимает, — создать смысловое поле высокого напряжения — с тем, чтобы заразить, так сказать, значительностью своего опыта читателей, с тем, чтобы пробудить в них чаяние иной, более высокой, благородной, достойной жизни. Пересоздать реальность, вернув понятию «Россия» высокий смысл, вернув России значимость духовного средоточия ойкумены.

Молодые писатели заново открывают для себя необходимость и неизбежность миссии. Возможно — по крайней мере, хотелось бы в это верить — заново складывается чаемое духовное пространство серьезной актуальной напряженности. Мне кажется, оно быстро радикализируется. Сфокусировать действительность в узловых точках современного бытия, сгустить до предела, до экстракта чушь и бред, тоску и веру, абсурд и смысл; заострить конфликт — вот самые реальные и наиболее убедительные способы выйти к такой содержательной глубине, к такой емкости духовного опыта, которые сами по себе встречаются нечасто, стихийно не возникают.

* * *

Жесткое видение драматизма жизни и предельное заострение ситуаций характеризует прозу феноменально одаренной Марины Кош-

киной. Сила Кошкиной — в образной пластике и — особенно — в эффектном сюжетостроении. Лепка характера в каскаде острых ситуаций.

В повестях «Химеры» и «Без слез» она повествует о тревожных, бродячих, изломанных юных душах, вслепую, в окрестной тьме, в городской пустыне, ищущих себя, свое. Они экспериментируют над собой и над другими, страшно ошибаются — и лишь иногда и обретают нечто неотменимое. Эта тревожная неопределенность создает поле напряженности в повестях Кошкиной. Но в них есть и живое сочувствие автора мятущимся героям. Есть то, что (знаю не понаслышке) вызывает у читателя живое волнение и слезы. Впрочем, мне рассказали и о священнике, который усиленно рекомендовал своей пастве читать повесть «Без слез», которая, кстати, отмечена третьим местом в номинации крупной прозы премии «Дебют». На счету Кошкиной также поощрительный диплом премии «Эврика». Немало писали о ней критики, с похвалой отзывался один из самых известных в стране педагогов Евгений Ямбург.

Герой Кошкиной открыт самым простым вопросам: «Я не отличаю добра от зла. Хорошее от плохого. Черное от белого. Не на кого мне равняться! Не на кого! Где тот эталон, которому можно подражать? Его нет! Почему нельзя убивать людей? Посадят! А других причин нет. Воровать можно, лишь бы не поймали. У меня вообще есть моральные ценности или нет? Где они? Отсутствуют. Потому что я совершенно одна. Кому подражать? На кого равняться? Нет идеалов. Нет образцов».

Увы, родители и деды, «предки», молодым не помощники. Такой вывод напрашивается, когда читаешь эту прозу. Замечено: у большинства молодых авторов герои — безотцовщина в прямом смысле, сироты, или сироты при живых родителях. Отцов, с которыми могли вести свои споры дети, просто нет. Они устранены из возможного поля дискуссии. Даже при формальном наличии. Обыватели, ничтожества, подкаблучники. Да и матери не лучше. Герой повести «Химеры» называет мать не иначе, как «эта женщина».

Кошкина хорошо начала в 2005—2006 гг., а потом взяла паузу. Пока она ее держит, хотя скорей всего ярославский читатель в не-

далеком будущем познакомится с ее уже написанными, но еще не опубликованными вещами.

* * *

Лирико-исповедальная проза (с тем или иным отлетом, при той или иной дистанции между героем и автором) кажется мне наиболее значимой и ценной в том случае, если нам предъявлен герой большого взыскания, герой идеалистической складки, алчущий и страждущий... По-своему эту драму несовпадения идеала и реальности воплощает в своей прозе Борис Гречин. Написал он немало (шесть повестей и пять романов, а может, уже и больше), пишет неровно, многие его тексты можно найти в Интернете, как и статьи о нем ярославцев Л. Дубакова и Е. Смоленской. Почти всегда в центре повествования у Гречина — искатель и мечтатель не от мира сего или духовный лидер, гуру, высоко летающий на своих белых крыльях, но плохо разбирающийся в земных делах и увядающий от ядовитых испарений земли. Еще один ракурс прозы Гречина — возвышенно-романтическая любовь, нечто такое в духе ранних немецких романтиков, неосвязаемо-прекрасное.

Отчасти это сближает Гречина и Анну Лавриненко. Ее героини тоже молоды и тоже любят. Позволю себе привести отличную характеристику дебютной повести Лавриненко «Восемь дней до рассвета», принадлежащую нашему живому классику Владимиру Макаину: «Казалось бы, что обычнее! Девушка и парень одинокие и обыкновенные в современном городе... Как принято сейчас говорить, не востребовавшие, они придумали себе любовь, легкую влюбленность друг в друга. Для этого они однажды сбежали... И чувство возникло. Хрупкое и каждую минуту готовое рассыпаться, исчезнуть, аннигилироваться само собой. Как-никак оба помнят, что началось с придумки и самообмана... Но точно так же они помнят, что каждый из них одинок, что оба они некрасивы и невостребованны. И что ничего, кроме этого договорного чувства, у них в жизни пока что нет. Читающий вдруг понимает, что он подвешен на волоске вместе с их чувством. Жаль их!.. Заодно и самому тревожно. И неуютно от их хрупкости... а что, если вся-

кое взаимное чувство в нашей жизни отчасти договорное?...».

Повесть была напечатана в журнале «Знамя» в 2007 году, получила резонанс. Потом у Лавриненко были еще три повести в разных журналах. Новое качество в них рождается с некоторым трудом, хотя ниже достигнутого уровня автор, пожалуй, не опускается.

* * *

Особый и яркий случай в современной молодой прозе — творчество Елены Георгиевской. Ее «послужной список» впечатляет. Это и лонг-лист «Дебюта» (2006), и шорт-лист «Ильи-премии» (2006), премии имени Астафьева (2010). Она — лауреат премии журнала «Футурум Арт» (2006), «Вольный стрелок» (2010); в 2006 году получила грант имени Анны Хавинсон, стипендиат Министерства культуры РФ (2010). Публикации в журналах «Дети Ра», «Футурум Арт», «Литературная учеба», «Волга», «Волга — XXI век», «Нева», «Урал», «Слова» (Смоленск), а также — в интернет-журналах, коллективных сборниках. Плюс книги: «Луна высоко», «Диагноз отсутствия радости», «Место для шага вперед», «Хаим Мендл», «Вода и ветер», «Инстербург, до востребования», «Форма протеста» (издательство Franc-tireur USA, 2009), «Вода и ветер» (2009). Кажется, Георгиевская — единственная из нашего списка, кто закончил Литинститут.

И притом, как сама она о себе пишет от первого лица, «несмотря на довольно многочисленные для своего возраста публикации, ощущаю себя маргиналом. Нет, это не чувство собственной ущербности — это значит, что ты в гробу видал и классическую традицию, и модные тенденции. Ты можешь себе позволить пародировать их, допускать аллюзии и реминисценции, но от них независим».

Георгиевская — отчаянный и злой бунтарь. Категорический протестант. Непримиима к фальши, к компромиссам, к любой форме сделки с отвратительной реальностью. Ее бунт простирается далеко, и отнюдь не самые последние цели ее атаки — бытовой маразм, национальное чванство любого сорта, тупая провинциальная спесь или убогая политическая требуха. Богоборчество — вот ее крайний предел. В сущности, это даже неожидан-

но. Такого почти уже нет в нашей литературе. Хотя, пожалуй, понятно, что спровоцировано оно елеем и ладаном, питается воинствующим клерикализмом в духе о. Всеволода Чаплина. А суть его — война за свободу личности, против любых форм детерминации. (Разумеется, мы учтем для себя и заметим в скобках, что эту свободу подарил человечеству Христос. Так что, возможно, в итоге Он и наш автор поймут друг друга... Но обсуждение этих вероятностей уже не предмет для критика.)

Самые интимные темы Георгиевской косятся в одиночестве и отщепенстве, избранных ею как способ жизни художника. Еще одна ее автохарактеристика такова: «Человек без пола, возраста и национальной идентичности. Один мой знакомый сказал, что формальные привязки к чему-л., имена, значения и статусы — это такие большие знаки тире на пути к Пустоте».

Ее герой всем чужой. Ее темы связаны с изучением возможности любить в мире без любви, возможности надежной близости в мире повсеместного вероломства, возможности понимания в мире всеобщего отчуждения. И если сквозь риторику и патетику поношений, сквозь тотальность бунта выйти к этой тихой и отчаянной ноте, то поймешь, что Георгиевская — пожалуй, самый глубокий экзистенциально ориентированный автор в своем поколении русских прозаиков.

* * *

Я б сказал, альтернативная литературная стратегия у однофамильца великой и ужасной Дарьи Донцовой, Андрея Донцова. Его проза — все три книги — расхристанно-беззаботна, эротично-сатирична, остроумно-экзгибиционистична и нацелена на читательский успех. Каковым временами и пользуется. В рекламном стиле об его первом романе «Комплексе Ромео» (2008) в инете писали так: «Динамичный, аппетитный роман из недр питерской театральной тусовки, московского криминального дна, ярославской глубинки, тайских курортов и мужского эго». А сам роман один из сетевых критиков, Дж. Тарталья, не без оснований охарактеризовал так: это «длинная и временами запутанная история, высветившая в череде сценок-картинок не-

сколько лет из жизни Александра Мелькова, юноши 28 лет от роду, без определенных целей в жизни, источников дохода и места под солнцем. Что придает оттенок легкой шизофрении его криминально-порнографической истории, вобравшей в свою орбиту дневник путешественника, театральные записки, этюды из жизни питерской богемы, мемуары о деревенском детстве, трагифарс о русском бизнесе за рубежом, элементы детектива и социального романа о проблемах молодежи».

Странствия героев Донцова из постели в постель, мимо соблазнов большого города, не минуя почти ни один из них, — легкомысленны и ни к чему не обязывающи. Они реализуют принцип, выраженный автором по-английски, как бы эвфемизмом: Find-Fuck-Forget. То есть «поматросил и бросил». Или борются с этим принципом. Я так до конца и не понял.

Хотя нельзя сказать, что при этом автору не удается кое-что сказать про окружающую нас действительность в сатирико-очерковой манере. К тому же нужно отметить, что, двигаясь от «Комплекса Ромео» к «ТНЕ Офису» (2009) и к «Столичной: Первому сорокаградусному роману» (2010), автор набирает черт и свойств сатирической фантазмагии. И вообще вопиюще талантлив, ничего не скажешь.

* * *

Самый старший из тех, кто были открыты в Ярославле благодаря филатовскому форуму молодых писателей, — Сергей Вербицкий. Он поздно начал и вроде бы не очень успешно продолжает. По крайней мере, с публикациями у него далеко не все ладно. И это огорчает. Но дело в том, что одаренность Вербицкого — особого рода. Он литературный экспериментатор, упорный стилизатор, искатель новых возможностей литературной речи. В этом он напоми-

нает столь же далекого от читательских масс эзотерика Евгения Кузнецова...

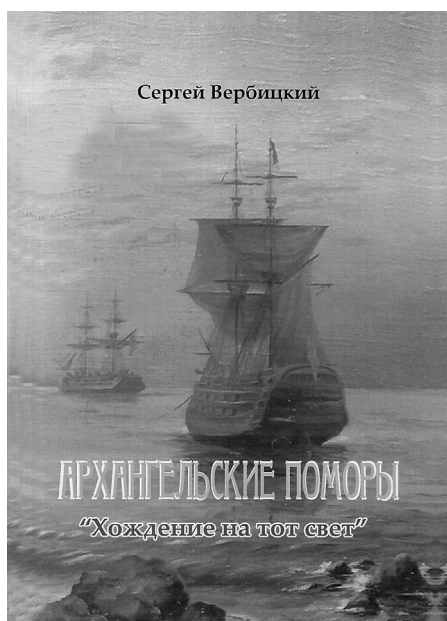
Так, например, выполнена довольно уже давняя, фирменная вещь Вербицкого «Архангельские поморы» — затейливое приключенческое повествование, адресованное вроде как детям, но при этом написанное языком, которым может насладиться далеко не всякий взрослый читатель. Но красиво же, как песня: «Восходит солнце, и радость в дом приходит. А на реке уж лед тронулся с места, пошел искать большую воду. Великое веселье в Архангельске-городе

в эту пору сотворяется. Народ посадский выходит на улицу, гулянье повсюду заводит, песни слышны, а гармонь, так та поет без умолку. Торопится река от панциря белого избавиться, в узких местах скопиться, и затор получается. Тужится река, тужится, да все зазря получается, только места прибрежные затопит и все деревеньки близлежащие. К маю все это безобразие заканчивается, вода замутится, желта становится, но к лету протечет и чиста будет».

И вот так пространно и красиво дальше, дальше,

дальше... Текст частично доступен в инете, на сайте интернет-журнала «Пролог», а целиком эта проза опубликована книжкой совсем недавно.

Покойная Татьяна Бек так напутствовала начинающего автора: «Сказы Сергея Вербицкого — это сильная, насыщенная, пряная проза, написанная с глубоким знанием быта, ремесел, этнографии и духа петровских времен. Нелегко новому писателю сказать свое — самобытное, а не эпигонское — слово в исторической литературе. Вербицкому — удалось. Его прозу хочется читать медленно, смакуя и пробуя каждое слово (и в основном повествовании, и в нестандартных комментариях) на зуб. Перед нами не кукольный театр давних времен, но живая жизнь, взрыхленная талантливым потомком заново... Труд, предпринима-



тый автором, огромен и вдохновен — густая, витиеватая, семантически выношенная стилизация. И здесь, как сказал бы поэт, «кончается искусство, но дышит почва и судьба».

Замышлял Вербицкий написать и роман об Иване Грозном, причем не иначе, как языком XVI века. Аутентично, так сказать. Но, кажется, удалось его от этой затеи отговорить. Хотя не уверен.

Во фрагментах видел я также другой его проект — психологически до предела детализированное повествование о мытарствах маленького человека в потемках современной жизни, наедине со смертью.

Проблема Вербицкого в том, что он погружается в свой замысел с головой и далеко не всегда в силах привнести в него какой-то обобщенный смысл, внятную идею извне.

Некоторый резонанс после выхода книжкой в Москве получила лишь его самая ранняя и простая история, «Морской лев» (2006), — о сверхсекретной советской атомной подводной лодке. Сюжет вполне фантастичен. Это своего рода историческая фантасмагория. Лодка была построена в 1990 году втайне от высшего руководства СССР гэбистами-противниками «перестройки и гласности». Здесь служат высококлассные специалисты, совершившие преступления и спасенные КГБ от наказания. Когда начинается антииракская операция мирового сообщества «Буря в пустыне», «Морской лев» направляется в Персидский залив. «Последнее чудо советской научной и технической мысли должно было обеспечить проведение в жизнь политической стратегии консервативных партийных функционеров из Комитета государ-

ственной безопасности и Министерства обороны, действующих независимо от государственной внешнеполитической деятельности Советского Союза и настроенных на выполнение подписанного с Ираком в 1971 году договора о дружбе и военной помощи, подтвердив тем самым свою приверженность старым коммунистическим идеалам советской эпохи». По приказу сверху «Морской лев» вступает в борьбу с натовским флотом и даже уничтожает американский авианосец, что едва не приводит к третьей мировой войне.

Ну, вот так. Безумие эпохи в одном флаконе.

* * *

Молодость — обещание. Обещание иной и, возможно, лучшей будущности. А если речь идет о молодом писателе, то обещаны и новые литературные горизонты, новые пространства опыта. Здесь я говорил в основном о тех авторах, чьи известность и признание уже вышли за пределы нашего края. Но я вспоминаю и об Анне Толкачевой из Углича, об ярославце Евгении Барышеве... А еще — о поэтах, разговор о которых впереди, но которые зато довольно широко представлены в двух первых номерах журнала. Хотя и не все. Молодое поэтическое пространство края — это Алексей Бокарев и Любовь Серикова, Евгений Коновалов и Надежда Кудричева, Надежда Папоркова и Ольга Люсова, Анастасия Орлова, Тимур Бикбулатов и Владислав Шашкин... Ориентиров здесь меньше, чем в прозе, и разобраться в них еще предстоит.

Время женщин

Женский исторический роман
на материале творчества Ирины Грицук-Галицкой

«Есть женщины в русских селеньях...» — так сказал в позапрошлом веке великий ярославский поэт. И ему сразу поверили, потому что легенды и устные рассказы о великих княгинях, воительницах и готовых на подвиг матерях и женах всегда были популярны на Руси. Достаточно вспомнить имена княгини Ольги, Анны Романовны (жена Владимира), Анны Ярославны (дочь Ярослава Мудрого, выданная замуж за короля Франции Генриха), княжны Добродеи-Зои (автор первого в истории врачевания медицинского трактата, написанного женщиной), Марфы Борецкой, Елизаветы Петровны, Катерины II (немка по происхождению, она сумела стать Великой императрицей) и т.д. Не менее известны имена Натальи Долгорукой, поехавшей вслед за мужем в ссылку в Сибирь, декабристок Е. Трубецкой и М. Волконской, совершивших тот же нравственный подвиг, аристократок Е. Будберг и А. Травиной, Е. Бакуниной и Е. Хитрово (внучатые племянницы М. Кутузова), самозабвенно трудившихся в госпиталях. Да мало ли еще известных и незаслуженно забытых женских имен можно вспомнить! Как отмечает доктор исторических наук, профессор Института этнологии и антропологии РАН Н.Л.Пушкарева: «Мы видим в десятивековой истории нашего Отече-

ства не только тех, кто были хранительницами домашнего очага, матерями и женами, но правительниц и летописиц, умных собеседниц и дальновидных дипломаток, бунтарок и щедрых меценаток. Исторические силуэты их порою яркие, а порою бледны из-за недостатка сохранившихся источников, но каждая женская судьба величественна и самобытна. Своими биографиями — и обычными, и нетипичными — они способствовали становлению феномена русской женской личности, которая стала в XX веке настоящей первооткрывательницей нового мира...».

И все-таки феномен женщины в истории пока еще мало освещен в художественной исторической прозе. Конечно, можно вспомнить повесть Н.М.Карамзина «Марфа-посадница», романы Д.Л.Мордовцева «Великий раскол» (образ царицы Софьи), Г.П.Данилевского «Княжна Тараканова», А.Ладинского «Ярославна, королева Франции», В.Пановой «Сказание об Ольге», В.Пикуля «Фаворит» (образ Екатерины II), Б.Васильева «Ольга, королева русов» и др. И все-таки история остается по преимуществу «мужской».

Казалось бы, кто может лучше сказать о женщине, чем женщина? На сегодняшний день словосочетание «женский исторический роман» уже никого не удивит, так как количество подобных произведений растет неуклонно. Читателям в большей или меньшей

степени известны имена Анны Малышевой, Натальи Павлицевой, Екатерины Чижовой, Елены Чудиновой, Эльвиры Барякиной, Елены Хаецкой, Натальи Гавриленко, Нины Молевой, Валентины Мельниковой и др. И хотя тематика их исторических романов разнообразна, тем не менее очевидны многие общие черты: в центре внимания писательниц оказываются в основном события отечественной средневековой истории, главным героем исторического романа является женщина, существенную роль играет любовный сюжет. Любовь становится главной силой, управляющей миром, а потому и главными темами выступают темы семьи, дома, матери, детства и т. д.

Кроме собственно исторического романа, в творчестве писательниц представлены такие разновидности исторического повествования, как исторический детектив («Чужак», «Светорада янтарная», «Королева в придачу» — исторические приключенческие романы из серии «Нормандская легенда» Натальи Гавриленко, пишущей под псевдонимами Наталья Образцова и Симона Вилар) и исторический любовный роман. На историческом материале написан (в соавторстве с автором триллеров Анатолием Ковалевым) и вышедший в 2010 г. роман Анны Малышевой «Авантюристка. Потерявшая имя», героями которого стали Александр I, Николай I, Бенкендорф, московский губернатор Ростопчин.

Несмотря на то, что общий уровень подобных романов невысок, есть среди них и исключения: в 2009 г. лауреатом литературной премии «Русский Букер» был признан исторический роман «Время женщин» петербургской писательницы Екатерины Чижовой (его действие разворачивается в начале 1960-х гг. в ленинградской коммуналке). Елена Хаецкая — обладатель 4 литературных премий в области фантастики: «Странник» (1998), «Бронзовая улитка» (1998), «Большой Зилант» (2000), «Меч Руматы» (2003).

Таким образом, действительно можно говорить о «гендерномотивированном женском коллективном сознании». Литературовед и критик Т. А. Ровенская, защитившая первую в России диссертацию, посвященную современному женскому литературному творчеству, пи-

шет: «Выступая как говорящий субъект творчества и осознанно опираясь на гендерный опыт, женщина-писательница, с одной стороны, разрушает свой социомифологизированный образ, с другой, воспроизводит окружающий мир, оперируя своим собственным видением его. Иными словами, он становится объектом ее конструирования и мифологизации».

* * *

Ирина Алексеевна Грицук-Галицкая, наверное, единственная ярославская писательница, которая постоянно обращается к историческому материалу. Она автор романа «Александр Невский — триста лет рабства», трилогии «Волнующие красотой» («Велесовы внуки», «Любовь и смерть Батыя», «Хан Федор Чермный»), которая создавалась в преддверии празднования 1000-летия города Ярославля и посвящена, по определению автора, русским женщинам XIII века. Она же автор «Мерянского романа», в котором предлагает собственную интерпретацию основания города Ярославля.

Самой обширной по материалу, конечно же, стала трилогия «Волнующие красотой», художественное пространство которой воистину безгранично: действие переносится то в Булгарию, то в Венгрию, то в Золотую Орду, не говоря уже о русских городах — Ярославле, Ростове, Новгороде, Рязани, Суздале и т. д. Столь широкое пространство заявлено писательницей уже в самом начале произведения, а потом по ходу развертывания сюжета прописывается все более детально, и не только благодаря перенесению действия во все новые локусы, но и за счет многочисленных рассказов и воспоминаний героев, пояснений повествователя и его исторических отступлений.

Так, едва появившись в романе, отец Федор рассказывает Бродьке о том, как великий князь владимирский Всеволод Большое Гнездо назначал уделы своим сыновьям, затем о некоторых событиях из жизни суздальского князя Ярослава — о его «потехе» с новгородскими жителями, о так называемой Липицкой битве с другими русскими князьями — Константином, Мстиславом и Владимиром Псковским. До этого момента Ярослав в романе представал

как оставшийся старшим князь, думающий постоянно о единении русских земель, так как все это время он был показан нам с точки зрения Василия — искренне восхищавшегося им. И только слова матери Василия — Марии Ольговны о том, что он «и малого отряда не отрядил в помощь брату Юрию» для борьбы с татарами, открывают нам его личность с другой стороны. В рассказе же отца Федора князь Ярослав, которого он сам определяет как «немудрого», становится практически отрицательным героем — изменяет жене, устраивает *потеху* с новгородцами, не пропуская в город ни людей, ни обозы с товарами, в финале оказывается в центре семейной ссоры, переросшей в кровопролитную битву. Оценка этих действий князя дана и обычным холопом Бродькой: «...получается: русские на русских ратью идут и клянутся убивать русских!»; «Отче, получается, князь свои дела урядили, а народу сколько погубили! Разве Бог им на то благоволение свое дает?».

При этом нельзя сказать, что роман перенасыщен историческими фактами, ссылками на летописные источники. Писательница как будто «сверху» оглядывает создаваемое ею историческое полотно и отбирает только наиболее известные факты. Почти во всех летописях есть упоминания о пире братьев в шатре или речах осторожного боярина Творимира — о них говорится и в романе, но так же скупое, констатирующее, как и в летописи. Часть же менее известных подробностей, например, о хвастовстве Ратибора, обещавшего седлами закидать Ростиславичей, или о речи одного из бояр Юрия Всеволодовича, говорившего «Не было того ни при прадедехъ, ни при дедех, ни при отце нашемъ, оже бы кто вшелъ ратью в сильную землю Суздальскую, оже вышелъ целъ», в тексте опускается.

Летописцы сообщают много интересных фактов о составе и количестве войск с обеих сторон, количестве стягов и т. д., в романе же приводится только одна подробность — количество погибших суздальцев (9 233). Заметим, что в летописи такой точной цифры, конечно же, нет: тверская летопись говорит о «множестве избитых, ум человеческий не может представить, не только на побоище груды мерт-

вых, но и по многим местам лежали тела...», «И тако за грехы наша Богъ въложи недоумение въ нас, и погыбе много бещисла людии; и бысть въплъ и плачь и печаль по городомъ и по селомъ». Понятно, что такая предельная точность (количество погибших) придает убедительность словам отца Федора, который сам участвовал в этой битве и, конечно же, хоронил погибших, но вполне возможно, что он сам придумал ее, чтобы поразить воображение Бродьки — хотя он и не преувеличивает исторические данные (историки говорят о 21 000 воинов, бившихся на стороне Всеволодовичей).

Надо также отметить и то, что в романе происходит своеобразная «подмена» причинно-следственных отношений между историческими событиями. Отец Федор так объясняет причину действий князя Ярослава: «Женился он, а не прошло и года, как охладел Ярослав к молодой жене и окружил себя наложницами. Княгиня его в Новгород к отцу, князю Мстиславу, посылает гонца своего и пишет батюшке, чтоб забрал он ее от мужа неверного. А Ярослав взял да перекрыл пути на Новгород... тешился. Сам, почитай, родной брат великого князя Георгия. Ему никто не указ». Между тем очевидно, что важнейшими причинами Липицкой битвы были не ссора князя с женой, а давняя вражда новгородцев и владимирских князей, а также усобица между самими владимиро-суздальскими князьями. Этот комплекс причин понятен внимательному читателю, но героями «проговариваются» только более частные мотивы действий князей, которые скорее можно назвать поводами, но, с другой стороны, они и более очевидны для участника событий.

Те же черты — изложение не всех исторических фактов, новая детерминированность событий, «облегченность» исторических описательных вставок и в то же время «гасящий» ее эпический размах — характерны и для рассказа об отношениях между татарскими князьями: он начинается с Чингисхана, охарактеризованы старшие его сыновья (Джучи, Чагатай, Угедей), есть упоминания о женах (Борте, Хулан-хатун), приводятся формулировки законов из Ясы Чингисхана, но часть фактов (например, о покорении Чингисханом Северного Китая, о его реформах, даже о его

имени — Темуджин) опущена. Поведение же татаро-монгольских правителей во многом определяется их отношениями с женщинами. Так, подробно рассматривается версия о том, что Джучи — незаконнорожденный сын, так как мать его Борте, старшая супруга Чингисхана, в молодости была похищена племенем меркитов, Джучи же родился после ее возвращения из плена (историки тоже считают, что есть серьезные основания для того, чтобы считать, что настоящим отцом Джучи был меркитский нойон Чильгир-Боху).

Изменение характера причинно-следственных отношений между событиями обосновано самой идеей произведения, необходимостью установления в нем собственно романских связей между событиями. В самом названии произведения мы видим отсылку к книге Л. Н. Гумилева «Древняя Русь и Великая степь», где в главе о забвении монголами древних обычаев рассказывается история хана керантов Маркуза и его жены Кутуктай-херикун (ее имя и переводится как «волнующая своей красотой»), которая отомстила за смерть мужа, убив вероломно на пиру несколько князей.

Однако если поведение героини этой легенды ничем не отличается от нравов того времени, ярославская писательница, описывая события русской истории, последовательно противопоставляет женщин — русских княгинь, болгарскую воительницу, мерянку Верлюку — мужчинам. Она опускает рассказ о том, как русские князья управляют своими землями, но подробно говорит о княжеских потехах, об отношениях с женами и наложницами. Не только Батый, но и русские князья восхищаются красотой и силой их духа, в чем-то для них непостижимой: воительница Самарканда, зная, что все жены, выгнанные воинами хана Джучи нагими в поле, обречены на смерть, сначала отчаянно рубится с татарами, а потом убивает тех женщин, что находятся рядом с ней — тем самым даруя им легкую смерть; жена рязанского князя Федора отважно кидается с крыши терема с сыном на руках, зная, что Батый прельстился ее красотой. Не побоявшись мести Ярослава, Марина Ольговна, вдова ярославского князя Всеволода, дает

нелестную, но справедливую оценку поведения князя: *«Видит Бог, что у меня была своя корысть. Великим князем захотел быть, смерти брата жаждал... Тризну справили, а тело брата больше года в Ростове лежит... Вот что я тебе скажу, будет у тебя нужда в воях, в Ярославль за подмогой не посылай! Не будет моего благословения»*.

Да и управлять своими землями русские князья без княгинь не могут. Достаточно вспомнить ростовскую княгиню Марию Михайловну, спасшую и детей, и княжеское добро от татар в лесах: *«В заботах о восстановлении города из пепла проходили дни княгини Марии Михайловны»*. На фоне нравственных подвигов этих женщин почти теряются «деяния» князей, постоянно ссорящихся, а то и предающих друг друга, подвластных всем возможным искушениям, постоянно грешащих на страницах романа, а потом замаливающих свои грехи. Ответственность — перед семьей, родом, жителями княжества, русской землей — с точки зрения писательницы, черта, характеризующая в XIII веке скорее женщин.

Перед нами действительно женский исторический роман: и потому, что авторское сознание можно охарактеризовать как ризоматическое (Жиль Делёз характеризует этот тип через отсутствие четкой структурированности), что вообще свойственно для феминной литературы. Грицук-Галицкая вроде бы и старается упорядочить разнообразный фактический исторический материал через реализацию сверхидеи Женского начала (определяя тем самым отличие русских князей от татар; один из героев даже скажет, что русские сильны тем, что любят землю, это дает им силы). Она близка к тому, чтобы сформулировать еще одну причину татаро-монгольского нашествия — это «очарование» татар красотой русских женщин. Кроме того, писательница показывает, что грехи человеческие всегда искупают женщины, Богородица.

И все-таки художественное пространство романа открытое, текучее, изменяющееся, с трудом поддающееся какому-то структурированию. Герои все время оказываются за пределами дома, вне семьи и родной земли. Такое ощущение, что перед нами бескрайняя степь,

хотя действие часто происходит и в городе, но герои постоянно бегут за его пределы, на волю: мечется между Ростовом и Ярославлем Бродька, бегут из Ярославля в разное время Верлиока и отец Федор. Как будто всё на Руси двинулось в путь. Можно выделить даже несколько ведущих разнонаправленных векторов, ведущих, например, татар на Русь и в Европу, как завещали им предки. В их желании завоевать новые земли есть и историческая необходимость, но, как ни странно, в романе Грицук-Галицкой Батый идет на Русь прежде всего для того, чтобы обрести новую возлюбленную.

С другой стороны, все явнее обозначается обратное движение — русских князей в Орду, впервые этот вектор проявляется, когда ханы Гаюк и Бури после открывшейся позорной для монголов сделки высылаются в Каракорум. Потом по этому пути пройдут князь Федор Чермный, потом — за пределами романа — князь Ярослав Всеволодович. Для Гаюка это путь позора: *«...когда рядовых воинов отправляют из действующей орды к родному очагу, это означает только одно — позор семьи и рода. Такого человека ждала участь арата степной отары до конца его жизни»*.

Для русских князей, на первый взгляд, это тоже дорога к позору, но в то же время после посещения Золотой Орды они и их подданные могут получить отсрочку смерти (на что они все и надеются). Движение же Джучи и Батыя на Русь и в Европу — путь смерти: в романе Батый умрет от секиры венгра. Путь позора для русских князей обернется искуплением грехов, обретением, пусть призрачной, но свободы, власти и, в конечном итоге, семьи.

Путь домой и к дому в романе заявлен только одним вариантом — исканиями Верлиоки. Она спешит в земли отцов, она единственная, кто помнит о силе и власти родной земли (русским князьям еще только предстоит сделать это открытие для себя): «В земле дедыпрадеды лежат, из земли всякое слово слышат, всякое движение видят, всякий помысел ведают. Не забыть, не заспать, не прогнать сущего»; «Я твоя до скончания века, Мать-Чудиха, до последнего вздоха, и урок свой помню». Сначала может показаться, что она просто пробирается на свою малую родину, и только потом мы по-

нимаем правоту слов новгородца Колчко: «Известное дело, куда направилась эта волховка. В страну Биармию... сейчас со всех земель туда собирается чужь белоглазая. В наших новгородских краях особенно заметно. По дорогам не идут, а всё по краю леса да по болотине». Тот же «голос земли, голос отцов» слышит и старец Голуб, приносящий жертвы великому Укко. А вот для русских князей этот голос родной земли зазвучит только в финале. Однако непонятны в этом случае слова игумена Игнатия, говорящего, что надо заглушить в душе власть женщины. Это власть женского начала, с его точки зрения, подавляет голос родной земли, делает русских князей слабыми при столкновении с врагами (утверждение, противоречащее тому, что было приведено ранее и самой идее произведения). Однако эти векторы, организующие художественное пространство романа, долгое время не очевидны для читателя. Ощущение спонтанного, хаотичного движения персонажей усиливается и фрагментарностью повествования.

Таким образом, женский исторический роман, как мы видим, «прописался» и на ярославской земле. Тем более отрадно, что это книги о Женщинах в истории. Можно даже сказать, что книги Грицук-Галицкой — более серьезная, чем многие другие, заявка на хорошую историческую прозу. В то же время стремление романистки, с одной стороны, работать только с широко известными фактами, а с другой — свободно интерпретировать их не может являться характеристикой качественного текста. Сама идея господства в истории Женского начала интересна, но реализуется она порой достаточно прямолинейно, линии персонажей, сплетающиеся в единое повествование, часто не дополняют, а дублируют друг друга (речь, пожалуй, может идти только о смене материала). В последнее время история все больше превращается в занимательное приключение (см. жанровый подзаголовок произведения — историко-приключенческий роман), хотя она достойна более серьезного подхода.

Маргарита ПОНОМАРЕВА,
кандидат филологических наук

«Мы — за читающую Россию»

Презентация первого номера нового литературно-художественного журнала «Мера» прошла 27 сентября в Ярославской областной универсальной научной библиотеке имени Н. А. Некрасова в рамках проводимой в регионе акции «Мы — за читающую Россию!».

Почти в полном составе на презентации присутствовала редакционная коллегия журнала. Главный редактор издания председатель Ярославского отделения Союза писателей России Герберт Васильевич Кемоклидзе, представляя «Меру», обратился к истории ярославской периодики, начало которой положил известный на всю Россию журнал «Уединенный пошехонец». От лица всех писателей региона он выразил благодарность правительству Ярославской области за финансовую поддержку проекта.

Заместитель главного редактора журнала член Союза писателей России Ольга Николаевна Скибинская отметила, что авторами первого номера стали поэты и прозаики из Ярославля, Рыбинска, Переславля, Гаврилов-Яма и Ростова, подробно остановилась на дизайнерском решении журнала, дала краткий анонс некоторых будущих публикаций, однако все тайны ближайших номеров раскрывать не стала.

«Счастливым событием в литературной жизни Ярославля и счастливым событием лично для себя» назвал выход областного журнала член редколлегии Евгений Ана-

тольевич Ермолин, член Союза российских писателей, академик Академии русской современной словесности и Литературной академии национальной премии «Большая книга». Он назвал журнал стимулом для творчества, объединяющим читателей и писателей, а сам журнал — клубом, объединяющим различных людей, главной идеей которого является качественный отбор. Поэзию нового издания представил Владимир Юрьевич Перцев, председатель правления Ярославской организации Союза за российских писателей.

Обсуждение журнала «Мера» прошло заинтересованно, неравнодушно. «Свободным микрофоном» воспользовались прозаик Ирина Алексеевна Грицук, поэты Евгений Павлович Гусев и Тамара Михайловна Рыкова. Библиотекари, студенты, филологи ЯГПУ им. К. Д. Ушинского и ЯрГУ им. П. Г. Демидова задавали вопросы редколлегии, выражали свои пожелания.

Журнал «Мера» не будет поступать в свободную продажу. Более 200 страниц поэзии и прозы известных и начинающих ярославских писателей, а также публикации по литературному краеведению, критика, публицистика, литературоведческие обзоры ждут своих читателей в библиотеках Ярославля и области, куда уже передана часть тиража.

Электронная презентация нового журнала прошла в ЯГПУ в рамках традицион-



Презентация журнала «Мера» в Ярославской областной научной библиотеке им. Н. А. Некрасова

ных ежегодных Васильевских чтений. Издание также было представлено в библиотеках Ростова Великого, Данилова, Углича, на Дне города Рыбинска, на заседании ярославского литературного объединения «Меридиан». На презентации журнала в Доме-музее Максима Богдановича, прошедшей в рамках межрегионального поэти-

ческого фестиваля «Логорифмы», присутствовали не только ярославцы, но и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска.

О выходе в Ярославской области нового литературно-художественного журнала своим читателям сообщили «Литературная газета» и местные средства массовой информации.

От Ярославля до Пекина рукой подать

Филологи Пекинского университета готовят к изданию «хронику русской литературы конца XX века (1980 — 2000)», куда в числе других российских писателей было решено включить и ярославского прозаика Юрия Серафимовича Бородинкина.

Пекинский государственный университет — самый известный среди иностранцев китайский вуз. Он был основан в 1898 году как Императорский университет. Среди выпускников или профессоров этого вуза значатся довольно громкие имена: китайский «Максим Горький» — писатель Лу Синь, а также вождь китайского коммунизма Мао Цзедун (именно здесь зародилось коммунистическое движение Китая в начале прошлого столетия). Современный вуз — альма-матер компьютеров IBM: эта марка принадлежит компании Lenovo, созданной группой китайских ученых Пекинского университета в 1984 году. Кроме высоких технологий, университет обучает студентов медицине и гуманитарным специальностям, в том числе по китайскому языку и литературе, международным отношениям, праву, истории, менеджменту, административному управлению, искусству, английскому языку, философии, социологии, журналистике и др. Университетская библиотека насчитывает более 5 млн. книг, свыше 7 тыс. китайских и иностранных журналов. По площади это самая большая библиотека среди вузовских библиотек Азии. Сегодня в Пекинском университете учатся более 30 тысяч сту-

дентов, из них 2 тысячи иностранных учащихся. Продолжает укрепляться сотрудничество с Россией.

В готовящееся издание, своего рода литературную энциклопедию, кроме биографической справки о писателе включаются аннотации к наиболее известным его произведениям. Ю. С. Бородинкин, ныне член Высшего творческого совета Правления Союза писателей России, более двадцати лет возглавлял ярославскую писательскую организацию. Читателям он знаком как автор повестей и рассказов, главными героями которых являются те, кто живет и трудится на земле. Вдохновение прозаик черпает у своих земляков — землепашцев, плотников, кузнецов — жителей Костромского края, где прошли детские и школьные годы писателя. Здесь он находил и находит сюжеты и прообразы героев своих будущих произведений.

В китайское издание будут включены аннотации к двум произведениям Ю. С. Бородинкина — «Кологривский волок» и «Солнце под крышей». Роман «Кологривский волок» впервые был опубликован в журнале «Москва» в 1981-м. В том же году он вышел отдельной книгой в издательстве «Молодая гвардия», в дальнейшем выдержал несколько переизданий в самых престижных советских издательствах, включая «Художественную литературу». Это произведение было удостоено Первой премии Союза писателей СССР и ВЦСПС. Повесть «Солнце под крышей» впервые увидела свет на страницах журнала «Наш современник», тоже в 1981 году. В авторском сборнике повестей и

рассказов, выпущенном Верхне-Волжским книжным издательством, это произведение было опубликовано в 1982 году.

С новой повестью Юрия Бородкина, «Третьего не миновать», ярославцы познакомились в первом номере нашего журнала.

Голоса русской провинции

Девятые международные Васильевские чтения 2011 года в Ярославле традиционно открылись научной конференцией «Голоса русской провинции». С докладами, посвященными творчеству ярославского поэта Константина Васильева, выступили гости — профессор кафедры русской литературы XX — XXI вв. МГУ, доктор филологических наук С. И. Кормилов и профессор кафедры русской и зарубежной литературы и методики МГПИ, доктор филологических наук, член Союза писателей России О. И. Федотов. Результаты своих исследований представили также академик Академии русской современной словесности Е. А. Ермолин, профессор, доктор филологических наук Т. Г. Кучина, кандидат филологических наук М. Г. Пономарева и др.

Выступление кандидата филологических наук Д. Л. Карпова было посвящено памяти ярославского литературоведа и педагога Николая Николаевича Пайкова, одного из основных организаторов Васильевских чтений.

Из года в год расширяется география участников Васильевских чтений, объединяющих литературоведов, поэтов, артистов и просто любителей русской словесности. О работе конференции рассказали местные телеканалы и областное радио в цикле передач «Голоса русской провинции».

Неотъемлемой частью Васильевских чтений является живое поэтическое слово, звучащее со сцены во второй день литературного форума. Во Дворце культуры им. А. М. Добрынина была представлена композиция «Памяти Константина Васильева». На экране ожили уже ушедшие от нас Константин Васильев, Николай Пайков, Анатолий Соколовский, Николай Гоголев и Василий Галюдкин. Звучали стихи Васильева и песни на его слова. Помимо поэтов, зрителей порадовали и другие та-

лантливые «голоса русской провинции»: музыканты Антон Катерин и Настя Вишневская. Была представлена недавно вышедшая книга Константина Васильева «Россия. Блок. Двенадцать».

В рамках литературно-художественной части прошла презентация первого поэтического сборника «Чем жива душа» по итогам конкурса 2010 года, в который вошли подборки стихотворений лауреатов и финалистов конкурса.

Были также подведены итоги второго поэтического конкурса «Чем жива душа», собравшего поэтов из Ярославля, Углича, Рыбинска, Москвы, Вятки, Вологды, Курска, Челябинска и Армавира. Этот конкурс показал, что молодые поэты из разных регионов России обладают большим творческим потенциалом. Подлинным открытием стала двадцатичетырехлетняя Наталья Панишева из Вятки.

Лауреатами поэтического конкурса стали Наталья Панишева из Вятки (гран-при и диплом за лучшее стихотворение), Наталья Козвонина из Вятки (диплом I степени), Надежда Кудричева из Ярославля и Евгения Коробкова из Челябинска (диплом II степени), Роман Рубанов из Курской области, Анна Толкачева из Углича и Тимур Бикбулатов из Ярославля (диплом III степени). Специальные дипломы получили: Евгения Коробкова из Челябинска, она же увезла и диплом зрительских симпатий, Лариса Керчина из Москвы, Елена Иващенко из Рыбинска, Николай Вихарев из Ярославля. Хочется верить, что Васильевские чтения и публикация в готовящемся втором выпуске сборника «Чем жива душа...» станут для многих поэтов важной опорой на их творческом пути.

Решение вынесло жюри, состоящее из ярославских поэтов: Тамары Рыковой, Александра Беякова, Владимира Се-

рова и лауреата прошлогоднего конкурса Надежды Папорковой, во главе с литературным критиком Евгением Ермолиным.

Праздник поэзии завершился по традиции «свободным микрофоном», где на равных выступали и лауреаты, и члены жюри, и зрители.

Потомок героя Плевны

Уходящий 2011 год оказался юбилейным для старейших писателей земли Ярославской. Сто семьдесят лет со дня рождения поэта-самоучки Ивана Захаровича Сурикова — самый солидный юбилей.

Свое 90-летие отметили бы поэты Павел Павлович Голосов, Юрий Аркадьевич Ефремов, а также поэт и литературовед Вячеслав Вацлавович Рымашевский. Участники войны, они не дожили до своего юбилея, оставив о себе светлую память.

Живший в Рыбинске прозаик Михаил Александрович Рапов (1912—1978) отметил бы в первый день 2012 года свой столетний юбилей.

Род Раповых ведет свое начало от графа Жан Рапа де Кольмара, который служил генерал-адъютантом Наполеона Бонапарта и получил при Бородинской битве свое 26-е по счету ранение. Его внук Никола бежал от революции 1848 года в Россию и сменил здесь фамилию на Рапов. Он служил царю, участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 годов и стал героем Плевны. Его имя высечено в этом городе на памятном монументе.

Михаил Рапов родился в Рыбинске, окончил городскую школу №1, а затем с отличием Рыбинский авиационный институт. До 1942 года работал конструктором, а потом в течение 30 лет преподавал в Рыбинском авиационном техникуме. Мать маленького Миши, учительница русского языка и литературы, привила сыну любовь к стихам и прозе. Стихи он начал писать еще в школе, но славу впоследствии ему принесло не поэтическое творчество, а вышедшие в 1954 году две первые части исторического романа «Зори над Русью».

Начальные строки «Зорь» были написаны Михаилом Раповым 8 сентября 1940 года, то есть в день 560-летия битвы на поле Куликовом. Полностью роман был опубликован в

1958 году. «Повесть лет, приведших Русь на Куликово поле» — так определил писатель тему и характер своего главного произведения. Сразу после выхода книги Михаил Рапов был принят в Союз писателей СССР.

В 1965 году увидела свет книга Михаила Рапова «Каменные сказы», в которой писатель интересно и увлекательно рассказывал о сокровищах древней русской архитектуры родного края. Любовь автора к зодчеству была заметна уже в «Зорях над Русью», но непосредственное отражение нашла именно в «Каменных сказах». Ярославль, Углич, Ростов, Тутаев — по этим местам Михаилу Рапову довелось не раз пройтись с записной книжкой и фотоаппаратом. Триста один памятник архитектуры, семнадцать ансамблей бывших монастырей и крепостей, сорок восемь зданий, имеющих художественную ценность, описаны автором. Обращаясь к читателям, писатель призывал: «Умейте видеть! Много еще жемчужин рассыпано по земле Ярославской и по всей древней и новой земле русской!»

В 1966-м Михаил Александрович, переживавший за состояние древних архитектурных шедевров, стал учредителем и первым председателем Рыбинского городского Общества охраны памятников истории и культуры. Он был делегатом I Всероссийского учредительного съезда ВООПИК. По инициативе М. Рапова во второй половине шестидесятых годов начались работы по восстановлению глав и шпиля рыбинского Спасо-Преображенского собора.

В 1968 году вышел труд Михаила Рапова «Рыбинск» — очерки о современном городе с экскурсом в его историю. Книга стала первым путеводителем по городу. В ней соединились глубокие знания старины, инженерного дела и яркий литературный дар писателя.

В течение многих лет Михаил Рапов работал над повестью «Зимогоры». В 1974 году она вышла в Верхне-Волжском книжном издательстве. В книге рассказывается о жизни волжских бурлаков, столицей которых до революции считался Рыбинск. «Зимогорами» их называли потому, что уделом этих людей был тяжелый труд летом и безработица зимой. Повесть написана с глубоким знанием быта простонародья и разгульных купцов Рыбинска. Во многом благодаря перу Рапова возродилась старая бурлацкая слава Рыбинска, где через три года после выпуска книги был поставлен памятник бурлаку.

Последние годы жизни Михаил Рапов провел в Москве у своего сына, Олега Михайловича Рапова, крупного историка, доктора наук и профессора кафедры истории России до XIX века в МГУ им. М. В. Ломоносова. Михаил Александрович скончался 12 мая 1978 года после инфаркта и был похоронен на Хованском кладбище столицы.

В честь Рапова названа одна из улиц Рыбинска, а на доме, где он жил, установлена мемориальная доска. Рыбинская газета «Анфас» написала о М. Рапове: «Такие люди, как автор романа «Зори над Русью», «Зимогоров» и «Каменных сказов», появляются в городе раз в столетие — в лучшем случае. До сих пор его очерки и книги о Рыбинске остаются непревзойденными среди множества другой краеведческой литературы последнего сорокалетия».

Дело Михаила Александровича продолжает его внучка Злата Рапова — президент Международного Союза писателей «Новый современник», победитель конкурса «Золотое перо Руси-2007», шестикратный лауреат международных литературных конкурсов, главный редактор газеты «Современная литература», член редколлегии журнала «The Yonge Street Review». Ее перу принадлежат 9 книг и более 300 статей научного, научно-популярного и публицистического жанров.

Памяти Валерия Замыслова

Ярославская культура понесла непоправимую утрату: ушел из жизни известный писатель Валерий Александрович Замыслов.

Валерий Александрович родился в 1937 году в Горьковской области, но почти вся его творческая жизнь связана с Ярославским краем: с 1949 года писатель жил в Ярославской области.

Город Ростов Великий провожал Валерия Александровича в его последний путь в начале сентября 2011 года. В этом городе был его дом, здесь писатель работал, здесь его знал каждый человек, имеющий хоть какое-то отношение к культуре. В. А. Замыслов был почетным гражданином Ростова Великого, а 2007 год был объявлен в Ростове Великом годом Замыслова.

Главные романы и повести В. А. Замыслова посвящены исторической тематике: «Набат над Москвой», «Иван Болотников», «На дыбу и плаху», «Ростов Великий», «Святая Русь» (трехтомник), «Елена Арзамаская», «Грешные праведники», «Ярослав Мудрый», «Град Ярославль», «Иван Сусанин» и многие другие. Писатель глубоко понимал,

что без знания истории своей страны невозможно постигнуть ее настоящее и построить разумное будущее. И он много сделал для того, чтобы российская история стала предметом нашей гордости за свою страну.

Многие годы Валерий Александрович был главным редактором литературно-краеведческого журнала «Русь». Этот журнал был напутствован в жизнь А. И. Солженицыным, и В. А. Замыслов сделал все, чтобы журнал был востребован читателями.

Тяжело осознавать, что ушел из жизни прекрасный писатель, заслуженный работник культуры РФ, кавалер Ордена Дружбы. Но остались его литературные произведения, в которых звучит его голос, его интонация. И еще его заповедь нам: быть достойными лучших сынов и дочерей своего народа.

В архиве В. А. Замыслова остались неопубликованные произведения. Мы постараемся, чтобы какие-то из них увидели свет в одном из ближайших номеров журнала. Это будет наш долг памяти Валерию Александровичу Замыслову.

«Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письма...»

О коллекции ранних книжных памятников
XIII—XVI веков Ярославского музея-заповедника

В истории тысячелетнего Ярославля много славных страниц. Важные события и имена выдающихся людей, которыми гордится город, внесены в анналы, но этот словесный штамп можно понимать и буквально. «Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письма», — писал Иван Бунин. Среди самых больших ценностей, которыми обладает Ярославль, — книжные коллекции города, и в древних манускриптах заключена историческая память народа.

Крупнейшее собрание ранних книжных памятников находится в Ярославском музее-заповеднике, одном из старейших музеев страны. Его предшественниками были музей при Обществе для исследования Ярославской губернии в естественно-историческом отношении, открывшийся в 1865 г., и Древлехранилище, созданное в 1895 г. при Ярославской губернской ученой архивной комиссии. Красноречивое и точное название музея — Древлехранилище — отражает цели его устроителей, главная из которых — сохранение памяти о минувшем. Один из создателей музея, Илларион Александрович Тихомиров, призывал ярославцев: «...шлите и несите в комиссию все, что кому не нужно, что устарело, вышло из моды... в ней все найдет себе место и соответствующую оценку. Портрет поместится в портретную галерею с надлежащей надписью на ярлыке; какой-нибудь стол, стул, скамья, прятки, комод, шифоньерка, диван и т. п. —

встанут, где следует ... рукопись, дневник, письма, хозяйственные записки, стихи; календари, святцы, книги... — все разместится, все найдет приют, и все расскажет свою скромную историю любознательному исследователю».

Истории, которые хранят книжные памятники, волнующи и многоречивы.

Первыми поступлениями в книжную коллекцию Древлехранилища стали пожертвования горожан и учреждений Ярославля, а также научных обществ России. В фонде редких книг Ярославского музея-заповедника хранится «Инвентарная книга библиотеки Ярославского Древлехранилища»; под № 1 в ней записан первый выпуск «Историко-юридических материалов, извлеченных из актовых книг губерний Витебской и Могилевской» 1871 г. издания, присланный в дар из Витебского центрального архива. С этой записи началась история самого ценного в российской провинции книжного собрания. После революции в фонды музея поступили три, возможно, самые крупные библиотеки Ярославля: И. А. Вахромеева, Ярославского архиерейского дома и Ярославской духовной семинарии. С сожалением следует отметить, что сохранились эти книжные собрания не полностью, в 1920-е гг. многое было утрачено.

Любая коллекция имеет редкостный экспонат, который определяет ее ценность, но очень сложно выделить уникам, который может служить знаком книжного фонда Ярославского музея-заповедника. Историческая, научная, художественная значимость книжного ассортимента музея заключена не только



Молитвослов. XIII в.

в его количественных характеристиках, в его редкостях, в высочайшей художественной ценности раритетов, но и в информативности коллекции. Собрание музея составилось из книг, которые читали, покупали, продавали, обменивали, вкладывали в храмы, — т. е., которые бытовали на территории Ярославского края. Книг, не связанных с ярославскими реалиями, в музее очень мало. Региональное происхождение коллекции имеет особую ценность для историков, т. к. превращает ее из книжной диковинки в исторический источник.

О прошлом книги, насчитывающей несколько веков, рассказывают записи на ее страницах. Человек купил книгу, заплатил за нее немалые деньги (книги в древности стоили недешево) и оставил запись на форзацах или на нижнем поле листов, в которой указал цену книги, где или у кого он ее приобрел, в какую церковь или монастырь вложил. Нередко такая запись заканчивается припиской с проклятием тому, кто на книгу покусится и захочет украсть. А какие великолепные образцы «великого и могучего языка» содержат эти записи, сколько в них красоты и точности! Изучая записи на книгах, историки могут делать

выводы о читательской аудитории, о ценах на книги, о стоимости их переплетов. Анализ книжного репертуара раскрывает духовные запросы и поиски человека Древней Руси и нового времени, показывает, как менялись или, наоборот, сохранялись в неизменности понятия о государственном устройстве, нормах поведения, о семье, о прекрасном — обо всем, что волновало читателя в прошлом и что интересует современных специалистов и любителей отечественной истории.

В собрании музея можно выделить четыре большие группы книжных памятников: 1) книги рукописные; 2) книги, напечатанные кириллическим шрифтом; 3) книги гражданской печати; 4) книги на иностранных языках.

Раннюю книжную историю края для нас сохранили книги рукописные. История русской рукописной книги начинается со знаменитой «Новгородской Псалтыри», древнейшей русской книги. Аналогов в русской письменности она не имеет. «Новгородская псалтырь» — это церы, т. е. деревянные дощечки с углублением, заполненным воском, на котором стилосом (писалом) процарапан текст 75-го и 76-го псалмов, а также фрагмент 67-го псалма. Книга

датируется десятилетиями годами XI столетия (около 1015 г.) и хранится в Новгороде Великом; найдена в 2000 г. археологами Новгородской экспедиции, которой руководит академик В. Л. Янин. В Ярославле нет пока подобных находок, но хочется надеяться, что археологические раскопки в древнейшей части города будут продолжены, и кто знает...

Самая древняя книга в коллекции музея — «Пандекты» Никона Черногорца — на двести лет младше «Новгородской Псалтыри» и относится к началу XIII века. Пандекты — это предназначенный для монашеского чтения свод выписок из творений отцов церкви, постановлений церковных соборов и других книг. Данные выписки распределены по главам. Создатель «Пандектов» Никон жил в XI веке и был монахом монастыря Богородицы на Черной Горе в Сирии. Известна еще одна составленная им компиляция — «Тактикон». Как указывает Д. М. Буланин в «Словаре книжников и книжности Древней Руси»: «Пандекты должны были заменить монахам труднодоступные источники этого сочинения... В Древней Руси компиляции Никона Черногорца пользовались исключительной популярностью — в редком сборнике, в редком оригинальном средневековом сочинении нет выписок из «Пандектов» или «Тактикона». Ярославский список «Пандектов» — это самый ранний сохранившийся список перевода труда Никона Черногорца на славянский язык.

XIII веком датируются еще две музейные рукописи, каждая из которых также имеет мировое значение. К домонгольской эпохе относится знаменитое Спасское Евангелие, созданное в ростовском скриптории. В Ростове Великом книгописная мастерская работала при архиерейской кафедре или при княжеском дворе. Создана она была ростовским епископом Кириллом I, занимавшим ростовскую кафедру в 1216—1230 гг. Весьма вероятно, что работа мастерской была поддержана просвещенным ростовским князем Константином Всеволодовичем, а впоследствии его сыном Василько. После монгольского нашествия скрипторий продолжил работу. В 1230—1262 гг. епископом ростовским был Кирилл II. Автор Лаврентьевской летописи пишет о ростовских епископах Кирилле I и Кирилле II как об «исполненных книжного учения» владыках. Известный палеограф А. А. Турилов подчерки-

вал продолжительность работы ростовского книгописного центра и отмечал разнообразие репертуара этой мастерской. Ученый доказал, что ростовский скрипторий имел широкие международные связи, один из его писцов работал также в Сербии и, возможно, на Афоне. Сейчас известно 12 кодексов, выполненных в этом крупнейшем центре древнерусской культуры в течение первой половины XIII века.

Замечательным памятником работы ростовского скриптория является Спасское Евангелие. Свое название книга получила по месту хранения в Спасском монастыре Ярославля. Исследователи по-разному определяли время создания книги: от конца XII до начала XIV века. Но, вероятно, прав А. А. Турилов, который считает, что для Спасского Евангелия вполне вероятно датировка около 1224 г., времени освящения Преображенского собора Спасского монастыря. Книга украшена двумя миниатюрами великолепного письма, множеством инициалов (буквиц). Сейчас Евангелие реставрируется в ВХНРЦ имени И. Э. Грабаря. Научная реставрация памятника, предпринятая впервые, обещает интересные открытия в истории создания книги.

Деятельность скриптория продолжалась во второй половине XIII и в XIV веках, при этом в Ростове не только переписывали книги, но и сохранялась и развивалась литературная традиция, о чем писал в своем фундаментальном труде «Искусство книги в Древней Руси. Рукописная книга Северо-Восточной Руси XII — начала XV веков» чл.-корр. РАН Г. И. Вздорнов: «Ростов был ...единственным городом Залесья, сохранившим многочисленные книги, в частности древние летописные тексты, и он стал подлинным литературным центром Залесской земли».

В разряд самых ценных книжных памятников не только города, но и всего славянского мира входит Сборник молитв второй половины XIII века, так называемый «Ярославский молитвослов». Эта уникальная книга хранит в себе единственный известный список молитвы против дьявола. Чешский ученый В. Конзал считает, что автором этой молитвы был один из солунских братьев, архиепископ Великоморавский Мефодий, брат создателя славянской азбуки Константина-Кирилла. Кроме того, в книге содержатся самые ранние списки молитв выдающегося писателя Древней Руси Кирил-



Миниатюры Федоровского Евангелия. 1321—1327.
Феодор Стратилат (слева) и евангелист Иоанн с Прохором

ла Туровского, творчество которого, по словам известного ученого, доктора филологических наук О. В. Творогова, «явилось одним из наивысших достижений литературы XII в.». По мнению специалистов, книга создана в Южной Руси.

Е. В. Сеницына, изучавшая историю книжных собраний Ростова и Ярославля, считает, что все три книги происходят из библиотеки Ярославского Спасского монастыря. Следует учитывать, что нет источников, указывающих на нахождение книг в монастырской книгохранильнице в XIII веке, но ничто не свидетельствует и против этого предположения. Когда книги попали в монастырь, сказать невозможно, но в монастырских описях XVIII столетия они упомянуты. Если осмелиться предположить, что, начиная с раннего средневековья, история книг и монастыря едины, то эти три памятника ярко свидетельствуют об уже развитой книжной традиции города в XIII веке. Ее возникновение, конечно, следует отнести к более раннему времени.

В XI—XII веках в городе существовали многочисленные храмы, которым книги были необходимы для отправления богослужений, по-

этому, по мнению Г. И. Вздорнова, ярославские рукописи исчислялись десятками. В XIII столетии развитие книжной культуры Ярославля связано, вероятно, с именем князя Константина Всеволодовича Мудрого. При нем началось каменное строительство в городе, были приглашены мастера из Южной Руси. В. Н. Татищев характеризует князя Константина как высокообразованного человека, библиофила: «Великий был охотник к чтанию книг и научен был многим наукам; того ради имел при себе и людей ученых, многие древние книги греческие ценою высокою купил и велел переводить на русский язык, многие дела древних князей собрал и сам писал, також и другие с ним трудились. Он имел одних греческих книг более 1000, которых частью покупал, частью патриархи, ведая его любомудрие, в дар присылали» (Татищев В. Н. История российская с самых древнейших времен. Неусыпными трудами через тридцать лет собранная и описанная покойным тайным советником и астраханским губернатором, Васильем Никитичем Татищевым. [М.], 1774. Кн. 3. С. 416).

Княжеская библиотека хранилась, как предполагает Г. И. Вздорнов, в Ростове, а затем была перемещена во Владимир, но, несомненно, князь украшал книгами, иконами и ярославские церкви. То, что после стольких веков, войн и пожаров до нас дошли три рукописи XIII века, красноречиво свидетельствует о былом, утраченном книжном богатстве города. Подтверждает этот вывод и найденное археологами на территории Рубленого города писало. С виду это скромный металлический стержень, но, прислушавшись к его тихому голосу, мы узнаем, что в Ярославле, как и в Новгороде Великом, использовали для письма бересту, обучали грамоте детей, а потому грамотных людей в городе, вероятно, было немало.

Музейные пергаменные кодексы позволяют утверждать, что Ярославль XIII века — город с высокими духовными потребностями; в нем жили творившие красоту, мыслящие, стремившиеся к постижению вечных истин люди. Как показали раскопки на Стрелке, особым великолепием убранства отличался Успенский собор Ярославля. Храм украшали витражи, для пола использовалась разноцветная поливная плитка. Вспомним, что в первой трети XIII века создана икона «Богородица Великая Панагия», а около 1300 г. — икона «Архангел Михаил», обнаруженные в Ярославле в 1920-е гг., ныне украшающие Третьяковскую галерею. Богословская глубина образов, мощь художественного воплощения заставляют предположить существование в городе элитарного круга заказчиков и исполнителей. Возможно, исполнители приезжали из других городов — приглашались лучшие мастера эпохи, т. е. уровень заказчика высоко поднимался над усредненностью. Кто были эти заказчики: князья ярославские и ростовские, кто-то из их свиты, церковные ли власти — сколько вопросов, и как мало нам сохранила история ответов на них.

Можно с уверенностью говорить, что основа этого культурного подъема — быстрое экономическое развитие города, о котором свидетельствуют материалы раскопок на Стрелке.

Сотрудники археологической экспедиции Института археологии РАН, которой руководит А. В. Энговатова, заново открыли для нас древний Ярославль (см. книгу: Археология древнего Ярославля: загадки и открытия. М., 2010), показали нам повседневный мир благополучного города. Ярославль накануне монгольского вторжения — это город с развитыми ремеслами: кузнечным, кожевенным, столярным, ткацким и другими. По Волге шла активная торговля с южными русскими землями и с Востоком. У города существовали связи с Византией и Сирией. Пока нет ответа на вопрос, как ярославские купцы торговали с восточными странами, сами или через посредников, но предметы восточной роскоши по волжскому пути достигали Ярославля. Например, из Сирии привезены стеклянные кубки, которые в древности ценились чрезвычайно высоко. О достатке ярославцев говорит обилие стеклянных украшений. Свой досуг жители города посвящали игре в шашки и шахматы. Культурный и экономический рост Ярославля был прерван монгольским штурмом, разрушением города и истреблением его жителей.

Следующее XIV столетие, как и вторая половина предшествующего века, — время мрачного, гнетущего ига. В. О. Ключевский в статье «Значение Преподобного Сергия для русского народа и государства» писал об ужасах той эпохи: «Это было одно из тех народных бедствий, которые приносят не только материальное, но и нравственное разорение, надолго повергая народ в мертвенное оцепенение». И в эти иссушавшие душу времена создается такой шедевр книгописания, как Федоровское Евангелие 1321—1327 гг., книга высокого, утонченного, изысканного мастерства, книга-загадка.

По словам известного искусствоведа Э. С. Смирновой, Федоровское Евангелие выполнено во всю полноту художественной мощи. Книга относится к типу Евангелий-апракос¹. У исследователей нет единого мнения о времени и месте создания книги, о ее заказчике. Неповторим почерк писца, художественный

¹ Существует два типа евангельских книг: 1) Евангелие-тетр, в котором текст расположен в соответствии с текстами евангелистов: от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, 2) Евангелие-апракос, в котором тексты расположены по дням недели, соответствуя ежедневным богослужебным чтениям, начиная со Святой недели.



Минея служебная. XV в.

стиль и приемы создателей миниатюр этого роскошного фолианта, и даже кожа на переплете книги совершенно особая. Реставраторы предполагают, что для переплета была использована шкура оленя, редчайший случай в русской книжной культуре. В 2007 г. закончена реставрация Федоровского Евангелия, которая длилась шесть лет. В ходе реставрационных мероприятий было выявлено, что миниатюры евангелистов, которые ранее считались позднейшими вставками, созданы одновременно с кодексом, но творческая манера мастера, их сотворившего, самобытна и не имеет аналогов в русском искусстве.

Все ранние книги написаны на *пергамене*. Бумагу на Руси стали использовать только в XIV веке, привозили ее из Франции, Италии, Голландии². Всего в музее 15 пергаменных кодексов XIII—XV веков: Синаксарь, Псалтырь, Евангелия и Минеи. У двенадцати из них особые переплеты — со шпонками в крышках. По-

добная технология не встречается на других книгах. Все книги со шпонками принадлежали библиотеке Ярославского Спасского монастыря.

Лауреат Государственной премии РСФСР, реставратор высшей категории Н. Л. Петрова обратила внимание на то, что эти книги на протяжении своей долгой жизни подвергались однотипной реставрации, т. е. в течение веков они хранились в одном месте, и можно смело предположить, что перед нами часть древнейшей библиотеки Спасского монастыря и, более того, что в этом монастыре в начале XV века действовала своя переплетная мастерская. Именно в это время были переписаны ярославские месячные Минеи. Однако едва ли крупный монастырь довольствовался только переплетной мастерской, вероятно, в обители в это время работал скрипторий, т. е. книгописная мастерская. Кто были ее мастера? Кто был настоятель монастыря в это время? Возможно, книгописцы и переплетчики пришли в

² Попытки собственного бумажного производства были предприняты в XVII в., но оказались неудачными. Первые бумажные мельницы начали работать в России в XVIII столетии. Одна из самых крупных бумажных фабрик XVIII—XIX вв. — Ярославская Большая мануфактура, которая наряду с ткацким производством занималась изготовлением бумаги.

Ярославль из Ростова Великого или его окрестностей, где книжные и литературные традиции сохранялись и развивались в XIV веке, возможно также, из других мест.

В Древней Руси наряду с книжными переписчиками из числа горожан или монахов работали артели книгописцев, подобно артелям иконописцев и мастеров стенного письма, которые существовали, переходя из монастыря в монастырь. Когда нужно было выполнить определенный заказ братии, мастера оставались в монастыре на время работы, а затем уходили в другую обитель. Насколько долговременной была работа мастерской в Спасском монастыре на рубеже XIV—XV веков, пока не представляется возможным ответить. Но некоторые предположения позволяют сделать запись на бумажной рукописи «Слова Григория Богослова, с толкованиями»: «В лето 6900 (1392 г.) при благоверном и христоробивем великом князи Василии Дмитриевичи самодержцы, и при благовернем великом князи Иване Васильевичи Ярославльском... совершишася сия книги глаголемыи Григорий Богослов толковыи, в обители святого вседержителя Спаса... в граде Ярославли, преподобно священно Варламом архимандритом Спасовы обители месяца марта в 9 день ... написание же смиренного и многогрешного инока Ефросина, пребывающего и житие имуща в обители великомученика Георгия, зовоме Белогостица». Таким образом, при архимандрите Варлааме в монастыре работал переписчик, приглашенный из Ростовского Белогостицкого монастыря, по имени Георгий, вероятно, были и другие мастера, в том числе переплетчики.

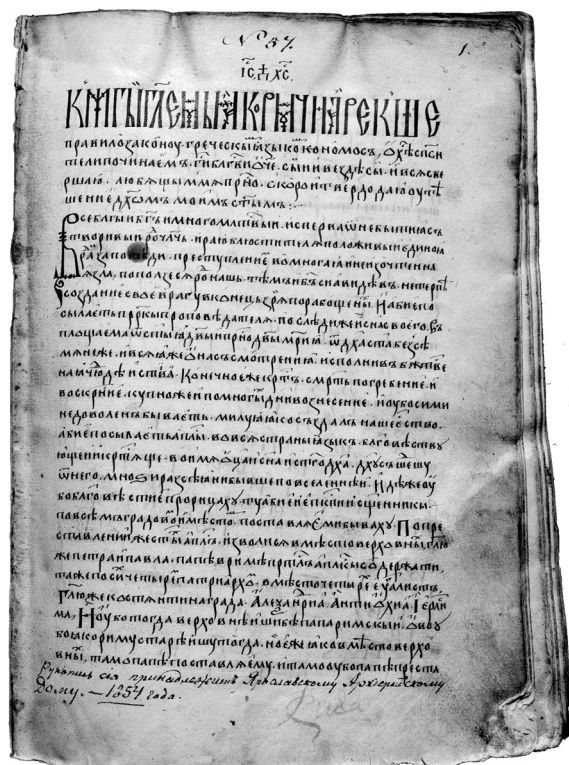
Совершенно особый период истории культуры Ярославского края — последняя четверть XV—XVI века. В эту эпоху во всех крупных городах края — Угличе, Ростове, Переславле, Ярославле — велось каменное строительство. Известный угличский историк и искусствовед А. Н. Горстка в книге «Палата угличского дворца» высказал очень интересное предположение, что при князе Андрее Васильевиче Большом существовала артель зодчих, которая «вела масштабные строительные работы как в самом Угличе, так и на территории его княжества, либо на землях, находящихся под его покровительством»: в Савино-Сторожевском, в Ферапонтове

и в Спасо-Каменном монастырях. В этой артели трудились и иностранные мастера. Например, в Ярославле работали итальянцы. Е. А. Анкудинова и А. Г. Мельник высказали обоснованное предположение, что строителем Преображенского собора Спасо-Ярославского монастыря был итальянец Иван Фрязин. Новые церкви украшались стенными росписями и иконами, в создании которых принимал участие Дионисий. Вероятно, и знаменитая палата Угличского кремля была расписана Дионисием... Но основой древнерусской культуры всегда являлась книга.

Музей хранит почти шесть десятков рукописей XV—XVI веков, среди них несколько высокопрофессиональных образцов каллиграфии и орнаментики. В это время в оформлении книг господствует балканский стиль, получивший свое развитие на Руси под влиянием южно-славянской книжной традиции. Заставки этого стиля отличает сложный плетеный орнамент, геометрически выверенный. Однако, как считают исследователи, орнаментика ярославских рукописей следует за лучшими образцами московской традиции (для создания собственного художественного стиля в городе не было творческих сил). Книгописанием занимались монахи Спасского и Толгского монастырей, что подтверждают записи. Музею принадлежит сборник, переписанный в 1461 г. в Спасском монастыре Сидором, о чем писец оставил в конце книги запись: «В лето 6969 (1461) ... края достигохом книги сия в обители великаго Спаса, в княжение благовернаго великаго князя Василия Васильевича и сына его благовернаго великаго князя Иоанна Васильевича при архиепископе Феодосии митрополите Всея Руси господину возлюбленному рачителю Господню архимандриту Трифону... грешный Сидор» (ЯМЗ–15480). И. В. Поздеева выявила Евангелие, переписанное Федором в 1508 г. в Толгском монастыре по благословению игумена Варсонофия и ныне хранящееся в Российской Национальной библиотеке.

В пространстве книжной культуры Ярославля XVI века выделяется архимандрит Спасского монастыря Иона, подаривший немалое число книг книгохранилищу монастыря³. При нем в Спасском монастыре велась переписка книг, о чем свидетельствует запись на сен-

³ Сохранилось несколько рукописей, вложенных в монастырь архимандритом Ионой, см.: Лукьянов В. В. Краткое описание коллекции рукописей Ярославского областного краеведческого музея. Ярославль, 1958. № 14, 16, 478, 484, 502, 751.



Кормчая. Рубеж XV—XVI вв.

тябрьской Минее 1535 г.: «Лета 7040 третьяго дописана бысть сия книга при самодержце и государе всей Русской земли великом князе Иване Васильевиче и при христороубивой великой княгине матери его Елене и при архиепископе Ростовском и Ярославском владыке Кириле, во обители милосерднаго Спаса и боголепнаго Преображения...повелением преподобнаго отца нашего архимандрита Ионы» (ЯМЗ–15204).

Книжная традиция Ростова Великого в XVI столетии поддерживалась многими просвещенными владыками. Высокообразованным человеком был первый митрополит Ростовский и Ярославский Варлаам (Рогов), писатель, композитор, библиофил. В собрании музея хранится несколько книг из его библиотеки, в том числе «Слова Григория Богослова», переписанные в XVI веке и украшенные великолепным орнаментом нововизантийского стиля. Книга была вложена митрополитом в книгохранилищу Спасского монастыря Ярославля. Митрополиту Варлааму принадлежал Служебник, переписанный великолепным полууставом, одетый в дорогой переплет. Его крышки обтянуты драгоценным итальянским рытым бархатом и украшены серебряными накладками.

Содержание сохранившихся рукописей XIV—XVI веков отражает круг монастырского чтения, что объясняется их происхождением. Среди них можно выделить книги, предназначенные для службы в храме, и книги для чтения. Большей частью книги второй группы, «душеполезные» или «душеспасительные», как их величали в записях, — это поучения Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Григория Богослова, творения Иоанна Дамаскина, Иоанна Лествичника, жития святых, сказания о построении церквей и монастырей.

К числу наиболее ценных книжных памятников этого времени принадлежит Кормчая рубежа XV—XVI веков, которая включает в свой состав список Русской Правды, первого свода законов Русского государства. Кормчая — это принятый из Византии русской церковью сборник церковных правил (канонов). В Древней Руси использовались разные редакции переводов Кормчей, в том числе дополненные текстом Русской Правды. Списков Русской Правды разной редакции сохранилось более 100, но в провинциальных книгохранилищах — всего два, один из них ярославский. Благодаря сотрудничеству Ярославского музея-заповедника и Центра новых информационных технологий ЯрГУ имени П.Г.Демидова осуществлено издание и монографическое исследование этого списка учеными Москвы и Санкт-Петербурга. Книга вышла в 2010 г. под названием «Ярославский список Правды Русской: Законодательство Ярослава Мудрого» сост. Н.А.Грязнова, Д.К.Морозов. Сотрудник Института истории РАН Е.В.Белякова, изучавшая состав и особенности ярославского списка Кормчей, пришла к выводу, что текст его «относится к созданной не позднее 60-х гг. XV в. редакции, известной в научной литературе как Новгородско-Софийская. Происхождение этой редакции и ее распространение связано с событиями русской истории XV в. — началом московской автокефалии. Возможно, что она создавалась там же, где велась работа и по формированию предшествующей русской редакции — в Ростове». На рубеже XV—XVI веков книга была переписана для библиотеки Ярославского Спасского монастыря, откуда поступила в музей.

Вторая половина XVI столетия отмечена возникновением книгопечатания в Москве и на Украине. Начало русского книгопечатания связано с работой типографии, основанной в 1553 г. по велению Ивана Грозного, в науке эта типография получила название Анонимной.

Типография выпустила семь книг: три Евангелия, Триодь постную и Триодь цветную, две Псалтыри, — ни одна из них не содержит указания на место и время выхода из печати. О ее деятельности, о работавших печатниках исследователям почти ничего не известно. В Ярославском музее хранятся два издания этой типографии: первая напечатанная в Москве книга — Евангелие 1553/54 г. и Евангелие 1558/59 г.

Русским первопечатником по праву считается Иван Федоров, который вместе с Петром Тимофеевым Мстиславцем в 1564 г. напечатал «Апостол». После изгнания из Москвы Иван Федоров и Петр Мстиславец уехали в великое княжество Литовское, в имение гетмана Ходкевича Заблудово, где они совместно напечатали Евангелие учительное, а затем их пути разошлись.

Иван Федоров перебрался во Львов и в 1574 г. напечатал первую украинскую книгу, которой, как и в Москве, стал «Апостол». Затем он основал типографию в Остроге, в имении киевского воеводы князя Константина Острожского, выдающегося политического деятеля, просветителя, мецената. В Остроге Иван Федоров осуществил главное дело своей жизни — издание полной Библии на русском языке. «Острожская Библия» Ивана Федорова — это вершина русской культуры XVI века, результат титанического труда первопечатника и его помощников. К сожалению, экземпляр «Острожской Библии» из книгохранилища Ярославского Архиерейского дома бесследно исчез в годы революции. В 1964 г. музей приобрел экземпляр другого острожского издания Ивана Федорова — «Нового Завета с Псалтырью» 1580 г. Книга некогда принадлежала одной из старообрядческих библиотек г. Данилова. Еще одно острожское издание Ивана Федорова — «Собрание вещей нужнейших» Тимофея Михайловича — поступило в музей в составе библиотеки Ярославской духовной семинарии. В мире сохранилось всего 18 экземпляров этого алфавитного указателя к Библии.

Петр Тимофеев Мстиславец после расставания с Иваном Федоровым отправился в Вильно, где открыл типографию. Из виленских изданий Петра Тимофеева Мстиславца музей обладает экземплярами Евангелия 1575 г. и Псалтыри 1576 г.

Учеником Ивана Федорова был Василий Михайлович Гарабурда, работавший в Вильно. В собрании музея имеется напечатанное Гарабурдой около 1580 г. «Евангелие учительное»,

однако качество изданий этого типографа значительно уступает книгам Ивана Федорова и Петра Тимофеева Мстиславца.

Печатных изданий XVI века в книгохранилищах Ярославской области выявлено 57 экземпляров, из них 43 единицы находятся в Ярославском музее-заповеднике. Среди них преобладают виленские и украинские издания, что свидетельствует о нехватке сил московской типографии для удовлетворения потребностей в книге. Из имеющихся в области изданий XVI века литовских — 25 экземпляров, украинских — 9 и московских — 24. Как видим, большое количество печатной продукции привозили в Московское царство из Литвы. И. В. Поздеева отметила, что литовские книги в течение одного года после выхода достигали пределов Русского государства, подтверждением чему служит запись на Евангелии 1575 г. из фонда Ярославского музея: «Лета 7084-го (1575/1576) положена бысть сия книга Евангелии тетри(так!) на престол во храм Ивана Преодоотечи (!) да Николы чудотворца на волжской берег рабъ Божии Никифоръ Григорьев сынъ, а прозвищем Богдан Самария. А не властоватися тою книгою ни попу, ни диякону, ни прихожаном, ни детем моим. А потписал сынъ его Григорей своею рукою».

После Смуты, с возобновлением деятельности Московского Печатного двора, картина изменится. В России XVII века ни литовские, ни украинские книги уже не могли конкурировать с московскими.

Книжная культура Древней Руси — бесценная часть исторического наследия. Значимость памятников прошлого не только в их информативности или эстетической ценности. Глубокие научные исследования отечественных древностей или погружение в магию их красоты и совершенства открывают нам многие тайны истории, позволяют видеть ее величие и трагизм, ее противоречия, услышать ликующие гимны и крики отчаяния наших предков.

Дошедшие до нас древности выполняют великую миссию сохранения исторической памяти страны, которая, как писал академик Д. С. Лихачев, «формирует нравственный климат, в котором живет народ».

Татьяна ГУЛИНА,
старший научный сотрудник
Ярославского музея-заповедника

На книжную полку



Беляков А. Ю. УГЛЕКИСЛЫЕ СНЫ. М.: Новое издательство, 2010. 132 с.

У поэта Александра Белякова за плечами Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова (специальность «Прикладная математика») и пять авторских сборников стихов: «Ковчег неуютя» (1992), «Зимовье» (1995), «Эра аэра» (1998), «Книга стихотворений» (2001), «Бесследные марши» (2006).

Новая, шестая книга представляет творчество поэта 2006—2009 гг.

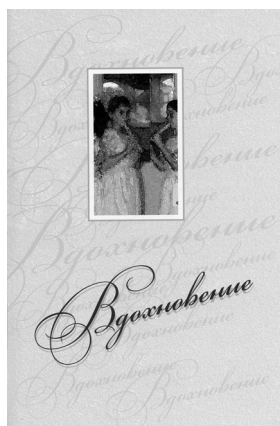


Бугров Е. В. БУХТЫ-БАРАХТЫ: поэзия. Ярославль: Ньюанс, 2010. 338 с.

Евгений Бугров представляет читателям свою третью книгу сатиры и юмора.

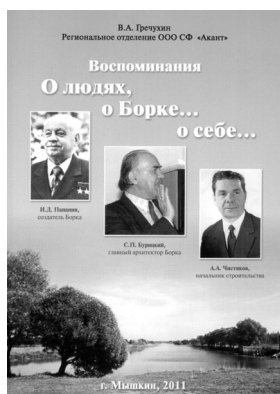
«Автор не только страдает физическим недугом, но и испытывает душевную боль. Тем более странным кажется, как из переносимых страданий произрастают такие веселые и даже озорные росточки, — пишет в предисловии к новому изданию член Союза писателей России Владимир Серов. — Острое перо сатиры направлено на язвы современной действительности — коррупцию, откаты, взятки, стяжательство, воровство...»

Басня, частушка, пародия, эпиграмма, юмореска, гротеск, фарс, сказка, — таков жанровый диапазон произведений Евгения Бугрова, представленных в этой книге.



ВДОХНОВЕНИЕ: сборник поэзии и прозы. Ярославль : ИПК «Индиго», 2011. 32 с.

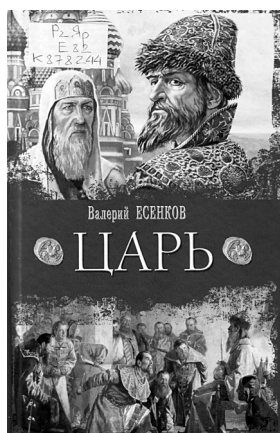
Этот сборник является итогом литературного конкурса, организованного Ярославским региональным отделением Союза российских писателей совместно с юношеской библиотекой имени Н. А. Некрасова города Ярославля. В нем представлены лучшие стихи и рассказы участников конкурса в возрасте от десяти до шестнадцати лет. Каждый автор интересен по-своему, у каждого есть свои особенности, но всех их объединяет интерес к литературному творчеству.



Гречухин В.А. ВОСПОМИНАНИЯ (о людях, о Борке... о себе...): очерк. Мышкин, 2011. 130 с.

Новое издание — это очерк, посвященный истории создания Борка — очага науки, культуры и цивилизованности в ярославской глубинке. Его автор, член Союза писателей России, краевед и журналист Владимир Гречухин, рассказывает не только о легендарном И. Д. Папанине, ученом и талантливом организаторе, но и о тех строителях, кто начал с первого камня и довел свою многолетнюю работу до создания благородного облика научного городка, о тех руководителях, в ком «папанинская созидательная неукротимость отразилась с прекрасной ясностью».

Книга иллюстрирована редкими фотографиями.



Есенков В.Н. ЦАРЬ: исторический роман. М.: АСТ : Астрель, 2010. 477 с.

Новый роман ярославского писателя-историка, вышедший в столице, рассказывает о временах правления российского царя Иоанна IV Грозного.

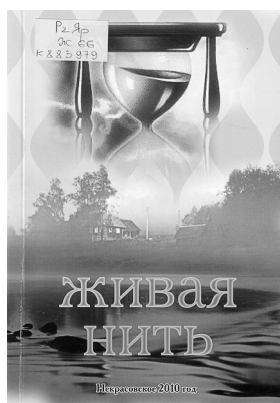
В центре внимания автора — события Ливонской войны и поход хана Девлет-Гирея на Москву, погром в Великом Новгороде и победа над крымскими татарами в битве при Молодах и, конечно, противостояние царя Иоанна и митрополита Филиппа, яростно осуждавшего опричный террор и кровавые несправедливые казни.

ЖИВАЯ НИТЬ: некрасовский альманах: стихи, проза. Ярославль: С-Принт, 2010. 204 с.

Литературный сборник, вышедший в год 796-летия поселка Некрасовское Ярославской области, посвящен также пятилетию местного творческого объединения «Откровение».

В книгу вошли поэтические и прозаические произведения как начинающих авторов, так и известных за пределами области. «Их лейтмотивом стало горячее чувство сопричастности ко всему, что происходит в окружающем мире. Красота родной природы, любовь, духовные ценности и понимание своего земного назначения — это живое, это вечное, — пишет в предисловии к сборнику заведующая сектором краеведческой литературы Некрасовской центральной библиотеки Татьяна Лосева. — А литературный талант имеет объединяющее значение для всех, кто умеет сопереживать и слышать звуки, наполненные особым смыслом».

Издание осуществлено при финансовой поддержке главы администрации сельского поселения Некрасовское В. А. Лосева, музея «Соляной остров», а также руководителей некрасовских предприятий и частных предпринимателей.



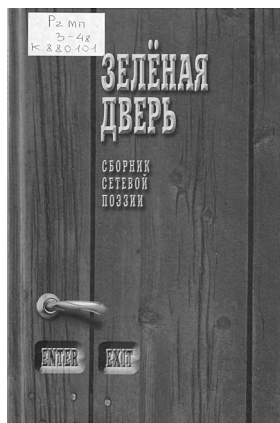
Зайцев П. ЗАПИСКИ ПОЙМЕННОГО ЖИТЕЛЯ. Рыбинск: Медиа-рост, 2011. 216 с.

Эта книга — уникальные художественные воспоминания бывшего молжанина. Книга состоит из двух частей. В первой — подробный рассказ о прежней красоте и удивительной природе Молого-Шекснинской пой-

мы вплоть до ее затопления водами Рыбинского водохранилища. Вторая посвящена обычаям и нравам живших там людей. Издание иллюстрировано рисунками еще одного мологжанина — Вячеслава Корнева.

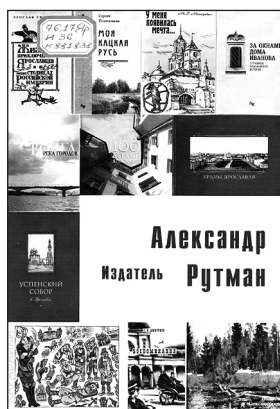
Редактором рукописи стал Ю. М. Кублановский. В 1990-х годах Юрию Михайловичу удалось опубликовать фрагмент этих воспоминаний в «Новом мире» и в «Нашем современнике». Полностью текст издается впервые.

Презентация книги прошла на заседании «Землячества мологжан», посвященном 70-летию начала затопления Рыбинского моря, и в Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова в Ярославле.



ЗЕЛЕНАЯ ДВЕРЬ : сборник сетевой поэзии. Ярославль: Ньюанс, 2010. 91 с.

В сборнике современной поэзии представлены победители и призеры поэтического конкурса «Зеленая дверь», проведенного на популярном сайте «Стихи.Ру», Александр Попов, Алексей Григорьев, Кристина Кокочева, Светлана Ширанкова, Павел Калинин, Анна Малюткина... Впрочем, ряд авторов предпочли сохранить анонимность, скрывшись за «никами» — таковыми они остались и за пределами виртуального пространства: Никола, Липовый мед, Северняка, Ливерий, Товарищ Мяузер и др.

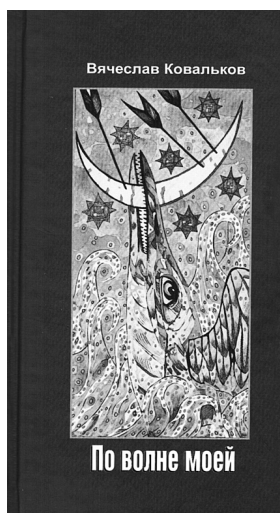


ИЗДАТЕЛЬ АЛЕКСАНДР РУТМАН: к 60-летию со дня рождения: каталог и материалы. Ярославль: РИЦ ИПК «Конверсия» — Высшая школа бизнеса, 2010. 48 с.

Издание содержит каталог книг, вышедших в свет в издательстве Александра Рутмана с 1994 по 2010 год, и материалы, посвященные вкладу А. М. Рутмана в раскрытие историко-культурного потенциала Ярославского края и повышение профессионального уровня книжной культуры в регионе.

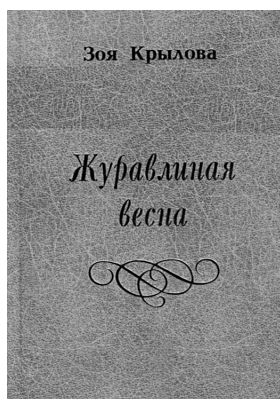
Среди авторов книг, выпущенных под логотипом этого издательства, именитые ученые, краеведы-любители, архивисты, библиотекари, музейщики, журналисты, писатели. Но основное внимание издатель всегда отдавал краеведению, благодаря чему многие «несгоревшие» рукописи стали книгами и нашли своего читателя. Лучшие из них отмечены наградами на общероссийском и международном уровне.

Издание осуществлено на средства гранта «Методология интегративных исследований российского универсума «Провинциальный исторический город»».



Ковальков В. А. ПО ВОЛНЕ МОЕЙ: стихи. Ярославль: ИПК «Индиго», 2010. 159 с.

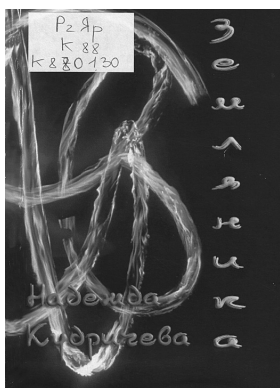
В новой книге ярославского поэта Вячеслава Ковалькова три раздела. Первый — «Я б тоже жил в Мологе» — включает в себя стихи, посвященные малой Родине автора, судьбам кровно связанных с ней людей. Второй раздел под названием «Шоколад шуршал фольгой» объединил любовную лирику. В третью часть включены если не поэмы, то вещи по объему несколько более крупные, чем привычный стих. Автор предпринял попытку поразмышлять об исконно русской стезе своего Отечества в поисках «светлого будущего», а также о «вечном двигателе» молодости, как неотъемлемой части жизни каждого человека.



Поэт избегает мрачных и блеклых красок. Картину бытия он рисует сочными выразительными мазками, зачастую подтрунивая над собой.

Крылова З. М. ЖУРАВЛИНАЯ ВЕСНА: стихи, песни. Рыбинск: Рыбинский Дом печати, 2010. 190 с.

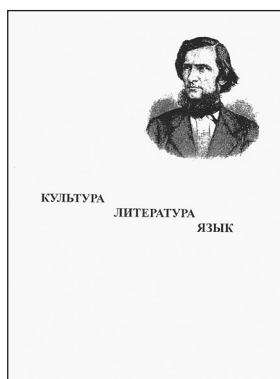
Это десятый авторский сборник стихов Зои Крыловой, члена Международной академии литературы и искусства «Фатьян», дипломанта городских, областных и всероссийских музыкально-поэтических конкурсов. «Отношения мужчины и женщины всегда были и будут неиссякаемой темой поэзии. И здесь Крылова достигает незаурядного мастерства, тонкого понимания этой заповедной сердечной сферы, — пишет в предисловии к новой книге член Союза писателей России Тамара Пирогова. — И читатели из самых разных уголков России откликаются на ее поэтические строки душевными письмами...»



Кудричева Н. ЗЕМЛЯНИКА: стихи. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. 123 с.

Это пятая книга стихов ярославской поэтессы, члена Союза писателей России Надежды Кудричевой.

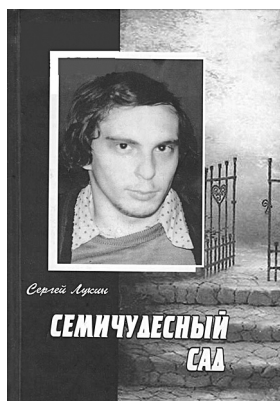
Новое издание не случайно открывается посвящением Марине Цветаевой. Мятая женская душа автора видна уже в названиях разделов сборника: «Шторм», «Перекасти-поле», «Снежность», «Стихолов» и др.



КУЛЬТУРА. ЛИТЕРАТУРА. ЯЗЫК: материалы конференции «Чтения Ушинского». Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2010. 357 с.

В основе статей сборника лежат доклады, прочитанные на традиционных Чтениях К. Д. Ушинского на факультете русской филологии и культуры Ярославского государственного педагогического университета. Авторы исследований обращаются к творчеству В. А. Жуковского и К. Н. Батюшкова, А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, Ф. М. Достоевского и Н. А. Некрасова, Н. С. Лескова и И. А. Бунина, Г. Иванова и Саши Соколова, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Алданова и С. Довлатова, М. Веллера и др.

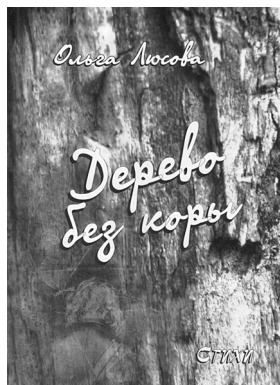
Однако тематика представленных работ не ограничивается рамками произведений признанных классиков отечественной литературы. Представители вузовской науки исследуют лексику восточных сакральных текстов и литературное мифотворчество начала XXI века (Дж. Р. Р. Толкиен и Дж. Роулинг), анализируют дореволюционные и современные краеведческие тексты, язык региональной прессы, способы передачи скрытой информации в политической речи и т. д.



Лукин С. В. СЕМИЧУДЕСНЫЙ САД: стихи. Ярославль: ИПК «Индиго», 2010. 203 с.

«Семичудесный сад» — первая и единственная книга ярославского поэта Сергея Лукина. Он покончил с собой в 1997 г., оставив после себя ворох

таких же, как он сам, непричесанных рукописей. Его стихи бережно хранили у себя на протяжении нескольких лет все, к кому они попадали тем или иным путем. Эти строки плохо вписывались в рамки того разливного идеологией времени. Чуть ли не на каждой его стихотворной строчке сидели жар-птицы, чуть ли не в каждом стихотворении стояли терема, струганные золотым топором. Где-то в эмпириях витал владелец семичудесного сада. А потому, звонко заявив о себе на страницах местной периодики, он так же быстро и исчез оттуда. А стихи писал, ибо он больше ничего не мог делать на земле...



Люсова О. Г. ДЕРЕВО БЕЗ КОРЫ: стихи. Ярославль: ИПК «Индиго», 2010. 123 с.

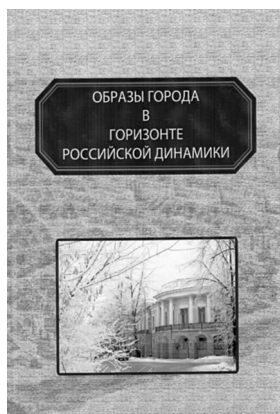
Это вторая книга Ольги Люсовой — яркого, самобытного поэта со своим мировидением, со своей манерой письма, участницы литературного объединения «Третья пятница». Ее имя хорошо известно не только в Ярославле, но и среди пишущей молодежи соседних Костромской и Вологодской областей.

ОБРАЗЫ ГОРОДА В ГОРИЗОНТЕ РОССИЙСКОЙ ДИНАМИКИ: материалы конференции. Ярославль: Издательство ЯГПУ, 2010. 460 с.

На конференции, организованной ЯГПУ им. К. Д. Ушинского и приуроченной к 1000-летию Ярославля, обсуждались храмовая культура русского провинциального города, театральные, музыкальные, художественные традиции, культурные мифы, противоречивая политическая история, научно-образовательная среда.

Участниками конференции стали философы, культурологи, историки, филологи, искусствоведы, архитекторы, педагоги, музеологи из Москвы, Ярославля, Архангельска, Астрахани, Белгорода, Вологды, Новгорода Великого, Омска, Перми, Рыбинска, Самары, Саратова, Углича и других городов.

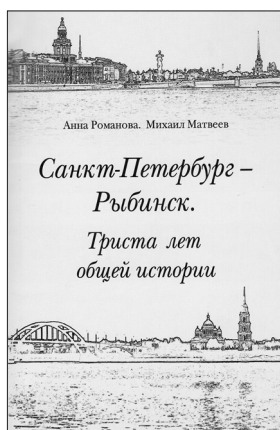
Тематика представленных материалов связана с формированием общенациональной идеи приобщения россиян к историческим корням как основе современной духовной жизни.



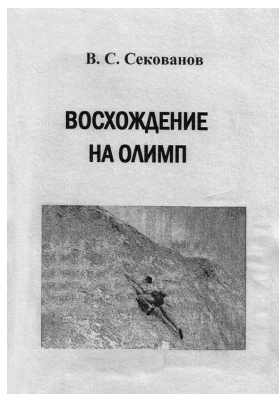
Романова А., Матвеев М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — РЫБИНСК. ТРИСТА ЛЕТ ОБЩЕЙ ИСТОРИИ. Рыбинск, 2010. 204 с.

По стилю и содержанию новая книга, первое издание в серии «Библиотека «Рыбинской среды»», принадлежит к разряду путеводителей. Но, возможно, впервые путеводитель приглашает в путешествие по двум городам сразу, причем по тем их маршрутам, которые связаны между собой судьбами людей, событиями, датами. Имена Федора Ушакова, Иоанна Кронштадтского, Серафима Вырицкого, ученых Ухтомского, Невского, Кондратьева и многих других тесно связаны и с Рыбинском, и с Санкт-Петербургом.

Авторы издания — редактор газеты «Рыбинская среда» журналист Анна Романова и поэт, переводчик, родившийся и выросший в Рыбинске, а ныне работающий в северной столице, Михаил Матвеев.

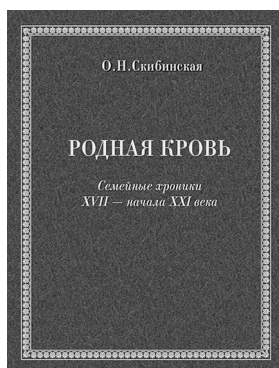


О книге положительно отозвался литературный критик, редактор отдела поэзии журнала «Новый мир» Павел Крючков, рецензии на новое издание опубликованы в местных СМИ, прозвучали по «Радио России» в программе Петра Алешковского «Читальный зал».



Секованов В. С. ЖИЗНЬ НА ОЛИМПЕ: художественно-документальная повесть о жизненном пути Андрея Николаевича Колмогорова. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. 318 с.

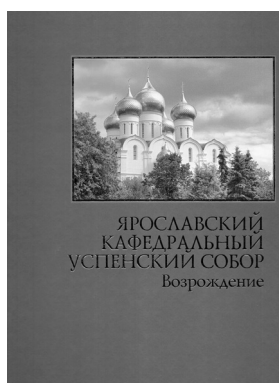
Автор книги, член Союза писателей России, заведующий кафедрой прикладной математики и информационных технологий Костромского государственного университета Валерий Секованов заканчивает этой книгой рассказ о судьбе замечательного ученого и педагога, одного из крупнейших математиков XX века А. Н. Колмогорова, который был начат в художественно-документальной повести «Гений из Туношны», продолжен в книгах «Гимназия Репман», «Школа жизни — Университет — Потылиха» и «Восхождение на Олимп».



Скибинская О. Н. РОДНАЯ КРОВЬ: Семейные хроники XVII — начала XXI века: Культурно-исторический очерк. Ярославль: Издатель Александр Рутман. 2010. 544 с.

Автором книги, членом Союза писателей России, членом Ярославского историко-родословного общества, поднят огромный пласт краеведческого материала, основанного на документах Архива РАН, Государственного архива Ярославской области, музейных и семейных архивов. Это одно из первых в Ярославской области детальных исследований, восстанавливающих более чем трехвековую родословную обычной ярославской семьи, чьи предки были не дворянами, не известными общественными деятелями, а простыми людьми — представителями податных сословий Ярославского, Романов-Борисоглебского, Рыбинского, Любимского, Даниловского уездов. Они любили, рожали детей, занимались кустарными промыслами, торговали, гибли за Отечество, возводили храмы, то есть не искали милостей у сильных мира сего, а зарабатывали хлеб насущный собственным нелегким трудом. Так в дореволюционной России формировался тот слой общества, который в начале XXI в. именуют «средним классом».

Презентация книги прошла в ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова, в центральных библиотеках Рыбинска, Гаврилов-Яма, Тутаева.



Скибинская О. Н. ЯРОСЛАВСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ УСПЕНСКИЙ СОБОР: ВОЗРОЖДЕНИЕ. Ярославль: Издатель Александр Рутман, 2010. 288 с.

В книге представлена современная хроника очень важного события в судьбе тысячелетнего города — возрождения кафедрального собора во имя Успения Пресвятой Богородицы, главного храма Ярославской земли. Возведенный в начале XXI века, собор открыл неизвестные ранее страницы прошлого, позволил прикоснуться к ранним тайнам первого русского города-крепости на Волге.

Единая хронология строительства храма спланировалась из сотен имен и судеб. Среди тех, кто сразу поддержал возведение в начале XXI века ново-

го храма, — общероссийские и региональные политические и духовные руководители, архитекторы, строители, а также деятели культуры, в том числе секретарь правления Союза писателей России, много лет возглавлявший ярославскую писательскую организацию, Ю. С. Бородкин и член Союза российских писателей Е. А. Ермолин.

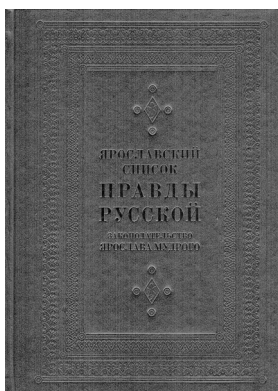


Смирнов В. СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ РЫБИНСКОЙ. Рыбинск: Издательство «РМП», 2010. 48 с.

Не каждый даже губернский город может похвастаться богато иллюстрированным историческим изданием для детей, а потому Рыбинску в этом плане повезло.

В занимательной форме доступным и простым языком ведется повествование о том, откуда есть пошла земля Рыбинская.

Книга адресована не только школьникам, но и детям младшего возраста. Замечательные иллюстрации Геннадия Соколова знакомят ребят с разными периодами, которые переживал город и его жители.



ЯРОСЛАВСКИЙ СПИСОК ПРАВДЫ РУССКОЙ: законодательство Ярослава Мудрого: сборник статей. Ярославль; Рыбинск: Рыбинский Дом печати, 2010. 271 с.

В книге собраны результаты первого систематического исследования Кормчей книги конца XV — начала XVI века из Ярославского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Впервые опубликованы Ярославский список Правды Русской и академический список Устава князя Ярослава о церковных судах. Над изданием работал большой коллектив — специалисты по древнерусским текстам из Москвы и Санкт-Петербурга, а также ярославские ученые.

Материал адаптирован для широкого круга читателей. Специально для данной книги был разработан шрифт, имитирующий рукописный шрифт конца XV века.

В 2011 г. это издание вышло в свет и на английском языке.

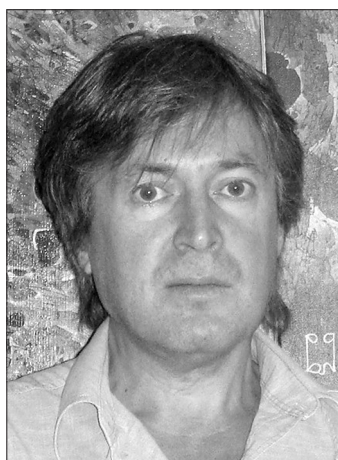


ЛОГОРИФМЫ: сборник произведений участников V межрегионального фестиваля современной поэзии. Ярославль: Художественно-публицистический альманах «Гамаюн», 2010. 79 с.

Сборник представляет избранные произведения участников межрегионального поэтического фестиваля, прошедшего в Ярославле 3—4 октября 2009 г. и посвященного 1000-летию древнего города: лауреатов — ярославцев Евгения Коновалова, Владимира Коркина, Насти Вишневской, а также дипломантов — Марии Марковой и Антона Черного (Вологда), Натальи Масленниковой (Ярославль), Елены Костюченко (Москва), Владимира Поварова (Ярославль), Алексея Корнеева (Москва), ярославцев Надежды Кудричевой, Андрея Стужева, Владимира Столбова и др.

В оформлении рубрики использованы материалы ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова

Случайные игры Василия Якупова



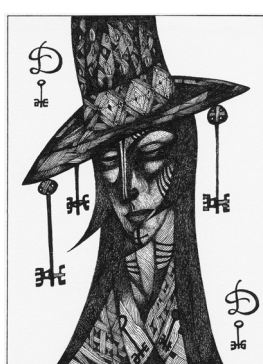
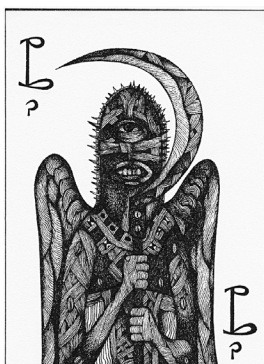
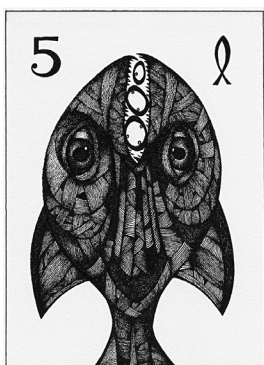
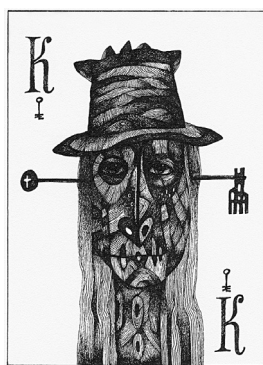
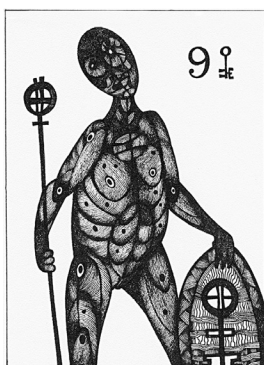
Василий Васильевич Якупов родился 6 июня 1964 г. в Ярославле, где и живет по сей день. Автор обложек к трем поэтическим сборникам Александра Белякова. Оформил две книги прозы Алексея Серова и две книги стихов Вячеслава Ковалькова. Эти несколько проектов — королевский подарок для авторов. Потому что книжной графики Василия Якупова почти не существует в природе. Он крайне редко иллюстрирует чьи-либо сочинения. Как признается сам художник, ему это не очень интересно. Причем качество текста принципиального значения не имеет. Книга, по мотивам которой придется работать, изначально воспринимается художником как преграда для воображения...

Летом 1996-го Бобби Фишер предъявил миру свои «случайные шахматы». Правила игры почти совпадали с классическими, но начальная расстановка фигур при ряде ограничений выбиралась случайным образом. По мнению Гарри Каспарова, изобретение Фишера резко увеличило разрыв между сильными и очень сильными игроками. Традиционные шахматы позволяли им почти на равных пройти дебютную стадию, усредняли возможности. Заучив свой вариант дебюта, крепкий мастер мог за счет этого какое-то время успешно противостоять хоть чемпиону мира. В «случайных шахматах» подобное в принципе невозможно. Вариантов дебюта слишком много, чтобы выучить наизусть хотя бы малую часть.

© А. Ю. Беляков, 2011

Василий Якупов — очень сильный игрок. Свое «заучивание дебютов» прошел экстерном — за полтора года. Ровно столько он был студентом Ярославского художественного училища. С тех пор прошло более двадцати лет. «Недоучка» уже давно сам по-своему составляет фигуры перед каждой партией. Показательным результатом таких «случайных игр» — с самим собой и собственным замыслом — стал большой графический цикл «Карты», созданный им в 2006—2007 годах.

Как у Фишера, здесь все не так, как в классике. Пять или шесть мастей, четыре джокера. И ни одна карта не похожа на другую. Мало кто знает, что в средневековье за каждой фигурой в азартной игре стоял легендарный исторический персонаж. Так в карточные короли вышли царь Давид, Александр Македонский, Юлий Цезарь и Карл Великий. В цикле Якупо-



Карты Таро

ва у августейших особ нет конкретных прототипов, но шлейфы аллюзий за ними тянутся. Один король носит помятый цилиндр и напоминает не помазанника божьего, а скорее «короля воров» Фейджина из «Оливера Твиста». Другой — то ли мусульманский пророк, то ли великий калиф. Компанию дополняют монгольский хан из русских былин и вождь африканского племени.

Надменно смотрит на мир дама в высоком клубке а'ля Нефертити и карнавальной маске в виде черного лебедя. Погружена в себя другая, а ключи, висящие на полях шляпы, кажется, еще больше отгораживают ее ото всех. Третья, загадочная восточная принцесса, смотрит вам в лицо с нежностью и тревогой. Бесстрастный лик четвертой дамы наполовину погружен в тень. В миндалевидных глазах пятой как будто отразились пески аравийских пустынь...

На картах достоинством ниже разворачивается парад фантастических существ и символических объектов. Масонская твердыня с оком провидения на башне, двуглавая рыба-пила из древнего бестиария, инопланетянин с биноклеобразной головой (привет Спилбергу), заводное яйцо на тоненьких ножках (как будто над ним дуэтом трудились Дали и Фаберже). Обитатели неведомых миров, рожденные свободным воображением художника.

Ангел смерти здесь определен в валеты, а в роли джокера — сама прародительница Ева. Яйцеголовый субъект с посохом и щитом напоминает андрогина на тропе войны. А может быть, это пророк нового механического мира или улучшенная версия голема? Сверлит взглядом зрителя то ли птица, то ли рыба (в зависимости от того, как смотреть). Медуза разрешает любоваться изысканным орнаментом своего тела. Богоматерь и Сын в конических венцах смотрят бесстрастно, а в руке младенца — ключ от бесконечности. О чем-то поет полуангел-полуцветок. Из тщательно прописанных художником орнаментальных фактур соткана голова птицы, — как будто это страница старинного зоологического атласа. Впрочем, обстоятельная объективность может быть обманчива. Поверхность древесного листа, покрытая... глазами, напоминает занавес из хичкоковского «Завороженного». Как будто сюрреалист и ботаник работали здесь рука об руку.



Азбука Василия Якупова

Эпохи ведут переключку, символы преображаются и смешиваются. Всюду творятся чудеса. У носатого деревянного человечка прямо из головы растет деревце. Божок с маленькими рожками похож на смоляное чучелко из сказки о Братце Кролике... Все о чем-то напоминает и ни с чем полностью не совпадает. Везде мы видим, как сказал бы философ Яков Друскин, небольшую погрешность в равновесии. Главный признак жизни. Фантазия работает, не позволяя расставить точки над «і», расшифровать образ до конца.

Зубастый монстр с хоботом становится иероглифом неведомого алфавита. Буйвол и косуля, сцепившись рогами, образуют еще один. И даже советские серп и молот здесь пригодились. Иероглифов в «Картах» хватает. Одни образованы контурами фигур, другие составляют самую плоть рисунков. Приглядевшись, замечаешь там и тут мельчайшие крестики, лепесточки, кольца, ромбы, треугольники. Иероглиф вездесущ. И это роднит якуповский цикл с картами Таро, которые, по одной из версий, произошли от виньеток Египетской Книги Мертвых.

Графика для Якупова — младшая, но равноправная сестра живописи. Просто у нее другие возможности и задачи. Те, что не разрешимы в крупных работах. В графике возможно повествование, которое разворачивается в циклах. Подобный серийный подход художник практиковал и в живописи. Но графический «сериял» может быть куда продолжительней. Скорость производства быстрее. Графика — камерный жанр, позволяющий воплощать амбициозные замыслы. В нем прельщает немедленная отдача, быстрый результат. В дни интенсивной работы над графическими циклами художнику удается делать до трех листов в день.

Что заставляет творца творить?

— Это трудно назвать способом гармонизации мира, — говорит Якупов. — Скорее, попыткой избежать безумия. Мир не столь хаотичен, но действующие в нем системы не имеют к тебе никакого отношения. Ты не чувствуешь себя социальной единицей. Брейгель для тебя реальней соседа за стеной, а твои единомышленники разбросаны во времени и пространстве...

Живущему вне систем приходится создавать свои. Что же это за системы? Художнику важен не видимый мир, а то, что стоит за ним. Изображение становится сакральным, как это было у архаического человека. Сам графический цикл обретает свойства развернутого символа веры — веры в красоту. Он возникает на смешанной почве разных эпох и культур.

В графическом цикле «Карты» Василий Якупов продолжает традицию средневековых аллегорических изображений, миниатюр для рукописных книг. Ему близко присущее их авторам ощущение детской восторженности перед тайнами мироздания. Монастырским художникам не нужно было объезжать весь мир, чтобы создавать свои фантастические бестиарии. Склонившись над пергаментом, автор ощущал себя демиургом — платоновским Созидателем, творческим началом Вселенной.

Среди других предпринятых Якуповым попыток создания собственных вселенных следует упомянуть графический цикл «Азбука», работы из которого также представлены на этих страницах, и проект «Календарь». Последний, к сожалению, так и не увидел своего полиграфического воплощения.

— Живопись стареет, как и все другие виды искусства, — считает Василий Якупов. —

Но есть великие художники-творцы. Они не умирали никогда. Их произведения — особый способ сохранения энергии во времени. Каждое их полотно — работающая силовая установка.

На вопрос об авторитетах художник в первую очередь называет Леонардо. Чаше других упоминает Вермеера, Веласкеса, Брейгеля-старшего. Вообще же не склонен составлять список своих пристрастий и влияний. Он получится слишком длинным. По словам Якупова, сейчас для него важны не конкретные имена, а то, что за ними стоит: культура, традиция, мироощущение.

И все-таки в живописи Василий Якупов — продолжатель великой традиции модернизма. Вслед за лучшими мастерами первой половины XX века ярославский художник не столько описывает мир, сколько его кодирует. Говоря о формировании системы координат для описания его универсума, нельзя обойтись без имен Василия Кандинского, Хуана Миро, Казимира Малевича, Павла Филонова. Пройдя период заочного ученичества у каждого из упомянутых мастеров, Якупов не дал ни одному из этих гигантов себя поднять. Но эта школа как будто помогла ему проявить свое, самоопределиваться.

С Кандинским нашего героя объединяет обостренное чувство абстрактной формы, без ухода, впрочем, в атомарность и геометричность. Умение Василия Якупова обнажить композиционный скелет, отбросить лишнее, отсутствие страха перед «нищим языком» заставляет вспомнить об открытиях Малевича. Структурное богатство живописной ткани, в которой одушевленные и неодушевленные объекты образуют нерасторжимое единство, роднит работы ярославца с полотнами Филонова. Периодическое обращение к технике русской иконописи — еще одна примета родства с этим мастером. Филоновская величавая мрачность сквозит и в серии якуповских голов. Если абстракции нередко становятся территорией радости, то здесь торжествует ужас, смягчаемый лишь таинственностью изображенного.

Стойкий интерес Василия Якупова к архаическим культурам — африканской, индийской, американской — еще один признак его тяготения к модернизму. Однако здесь родство с конкретными мастерами, скажем, тем

же Пикассо, неочевидно. Пожалуй, близость к миру Хуана Миро в некоторых работах Якупова более доказуема. В отличие от каталонского мастера наш герой никогда не доходит до той степени упрощения, когда изображение становится концептом. Следуя дорогой в детство, он повинуется собственной интуиции и путь к простоте завершает раньше, чем работа станет одним эффектным штрихом. Полотен-манифестов, новых «черных квадратов» у Василия Якупова нет. Он никогда не забывает, что «искусство» и «искусность» — слова одного корня. Почти религиозное отношение к живописи сочетается в художнике с осознанием того, что время манифестов прошло. Не перед кем и незачем манифестировать.

Траекторию творческого движения Якупова невозможно предугадать и очень трудно истолковать задним числом. Он, как будто намеренно, постоянно меняет курс, обращаясь то к одной, то к другой традиции. Потребность новых кодов и их интерпретаций, очевидно, является для художника насущной необходимостью, сердцевиной его творческого метода. Игра смыслов неизменного присутствует в его работах, а серьезность намерений автора гарантируется высоким уровнем техники, «цветущей сложностью» исполнения.

— Великие художники закрывают тему, и внутри нее уже бессмысленно находиться, — уверен Василий Якупов. — Но в то же самое время гении — часть традиции, с которой ты соприкасаешься. И вот эта традиция может стать для тебя несущей. Если ты уяснил, какую задачу решаешь, если вошел в какую-то традицию, образ мышления — будь то минимализм Миро или иконопись, — ты отталкиваешься уже не от изображения, а от собственного представления об этой традиции. Когда работа идет полным ходом, ты вступаешь в диалог с традицией.

Некоторые свои работы Якупов называет посвящениями. Обычно они возникают не из свежих визуальных впечатлений, а из пересматривания того, что уже известно и прочувствовано давно. Так были созданы два посвящения великому каталонцу Хуану Миро. Странные существа снуют в океане далекой планеты, невиданные растения восходят над ее поверхностью, атмосфера полна диковинных летающих объектов. А цикл «Острова», в пору назвать по-